РАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3

МАРТ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

★
ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА,
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-32034 П. 13. Гиз. 31028.
Заказ 432. • Тираж 15000.

Микаил—Серебряная дверь.

(Повесть.)

Всеволод Иванов.

Глава первая.

Неподалеку от почтово-телеграфного станка Тарюза басмачи остановились, заспорили: объезжать Тарюзу или напасть. Из всех предшествовавших событий они понимали, что выгоднее бежать в горы и искать проход к персидской границе. Понимал это и командир отряда Микаил, прозванный «Серебряная дверь». Но убеждать басмачей Микаилу было трудно, он чувствовал себя неимоверно усталым, ему надоело непрестанно блиставшее солнце, ему хотелось на родину, — и едва он так подумал, с губ его слетело «вряд ли», и вместе с этим словом ему вспомнилось многое из прошлого, вспомнилось низкое, серое и прозрачное небо, непрестанный дождь осенью и веселая грязь, всегда обещавшая урожаи, вспомнилось и прежнее свое имя Михаил Колесников, и неприятно стало нелепое прозвище, данное ему туркменами, — «Серебряная дверь». Прозвище это пришло вскоре после того, как Микаил убил нечаянно на охоте за сайгаками начальника отряда Таржи-бая. Сайгаки необычайно чутки, и, чтобы подкрасться, охотники надевают на себя чучела из сайгачьих шкур. Надел такую шкуру и Таржи-бай, и бай-Микаил тоже надел. Они выглянули друг на друга из-за холмов — и выстрелили! Таржи-бай недаром завидовал меткой руке Микаила: когда Микаил вбежал на холм, Таржи-бей лежал навзничь и глядел в небо с восхищением и ненавистью. «Крепко бьешь, — сказал он Микаилу: — придет моя война, и я буду так же бить!» Таржи-бай был очень здоров и неколебимо верил, что умереть ему рано... Он умирал в торжественном ожидании выздоровления и в ожидании того часа, когда сможет рассказать, смеясь, об ошибке двух охотников и рыцарей!.. В отряде тотчас же решили, что бай-Микаил умышленно убил Таржи-бая, и все начали ждать от Микаила подвигов и того счастливого дня, когда отряд, нагруженный славой и коврами, перевалит горы — и перед ним откроются дороги и песни Персии. Из советского города пришли шпионы, которые сообщили, что в город для борьбы с басмачами явился кавалерийский полк и что в полку два командира Поляков и Оглобищенко, и что у командира Полякова конь

1*

из конюшен бухарского эмира — «Серебряная дверь», названный так потому, что будто бы стойло коня замыкалось серебряной дверью. Микаил быстро вспомнил фамилию Оглобищенко. Они работали вместе в цирке «Бр. Азгарц» в Тюмени. Оглобищенко был сильно робок. Микаил на мгновение подумал, что перейти к Оглобищенке и сдаться будет трудно, но в то же время Микаилу стало легче и менее стыдно размышлять о своей сдаче. Туркмены разговаривали о коне «Серебряная дверь». Микаил, чтобы отделаться от мыслей о сдаче, подошел к туркменам. Кто-то запел, взглянув ему в лицо, что такому начальнику и герою надо иметь подобающего коня и что бая-Микаила надо тоже назвать «Серебряной дверью», потому что он ведет бойцов к славе и к большим монетам! Он ведет хитро и умело. Он изворотлив! Он проведет отряд через пустыни и горы. Он должен иметь длинное имя, конец которого бы упирался на пять столетий вперед и начинался бы пять столетий назад... Туркмены с ненавистью и восторгом смотрели на Микаила! За долгие войны они привыкли к повиновению, и кроме того им очень хотелось уйти в Персию, так как воевать было все трудней и трудней. Они с радостью слушали певца — дабы чувствовать большие уважения к предводителю. Они повторяли слова певца. Микаилу льстило до стыда пышное название. Он в цирке еще привык к пышным словам и прозвищам. Ему часто снился цирк и кружение по арене. В империалистическую войну Микаил из цирка попал в Дикую дивизию инструктором. Джигиты изумлялись его верховой езде. Позже его произвели в есаулы, а еще позже он с батальоном друзей ушел с фронта в пустыню...

М. Колесников радовался и боялся, что полком, который вышел в пустыню за басмачами, командует А. А. Оглобищенко. Радовался оттого, что надеялся — в жизни часто происходят хорошие случаи и часто неожиданно встречаются друзья. М. Колесников восемь лет уже жил среди туркмен, и по разговорам и по тому, как они смотрели в пустыню, он понимал, что итти в Персию басмачи и стремятся и в то же время боятся и что, если повести с ними хитрый разговор, они пожелают сдаться. Они тоже устали воевать и желали жить у своих арыков и у своих жен. Они рыскают по пустыне; они расспрашивают, где теперь находится полк и где конь командира Полякова. Боялся же Колесников того, что Оглобищенко, по свойственной ему трусости, откажется вести переговоры — и тогда туркмены подумают, что два русских решили предать их, — и жизнь бая-Микаила окончится. По цирку Оглобищенко помнился сутулым, застенчивым человеком, с большими белокурыми усами. Он любил показывать, как надо учить коней, но сам никогда не ездил. М. Колесников вспомнил также, как Оглобищенко уговаривал его бросить цирк и уехать в Полтавщину садить арбузы. Колесников мечтал о славе великого наездника, он выбранил Оглобищенку, и тот отошел: А через неделю М. Колесников упал с коня и вывихнул ногу. Оглобищенко пришел навестить. Он долго сидел молча против Колесникова и наконец сказал: «А пожалуй, не стоит Вам, действительно, садить арбузы». М. Колесников кинул в него

чашкой с кипятком. Но и тут Оглобищенко не обиделся, и когда М. Колесникова призвали в армию, Оглобищенко писал на фронт длинные и маловразумительные письма, в которых скользила задумчивая недосказанность, и вот эта-то недосказанность теперь особенно раздражала М. Колесникова. Ему стало жалко того, что он прежде не узнал, почему Оглобищенко скорбит и почему не доверяет М. Колесникову, и чего ему в нем, в Колесникове, жалко. М. Колесников качался в седле. У стремени его был привязан синий с красным мешок и волосяной рыжий аркан. Ему противно было смотреть на этот мешок и на аркан. Туркмены желали владеть конем командира Полякова — «Серебряной дверью». Коня этого можно увести в Персию и выгодно продать!...

Открылись горы.

М. Колесников сказал туркменам:

— Мы будем спешить, так как отряды наши редеют и связь между отрядами теряется. Коммунисты увеличивают свое войско, а солнце увеличивает жару — и нам трудно. Будем искать проходы. И кроме того, как нам вести теми проходами «Серебряную дверь»? Конь не привык к снегам...

Туркмены молчали. Они опустили повода.

М. Колесников сказал:

— Я согласен с вами. Мы проведем «Серебряную дверь»... Связь можно будет восстановить. Мы разобьем коммунистов последний раз, отнимем у них седла и воинские планы. Мы возвращаемся к почтово-телеграфному станку Тарюза.

Туркмены натянули повода.

Глава вторая.

Антону Антоновичу Оглобищенко, секретарю комячейки N—ского кавалерийского полка, уже пятый день думалось, что командир полка С. Е. Поляков сидит в седле несмело, торопливо осматривается кругом и говорит о песчаных бурях чересчур часто и тревожно. Антон Антонович понимал и даже презирал свое негодование против С. Е. Полякова. Антона Антоновича больше беспокоило недоуменное (он боялся подумать: озлобленное) отношение красноармейцев к Полякову. Недоумение это выражалось в безмолвном торопливом согласии на все, что предлагал или делал командир. Негодование же Антона Антоновича началось еще в городе — и началось из-за женщины. С. Е. Поляков и А. А. Оглобищенко познакомились с девушкой Наташей Смолиной. Брат Наташи служил в Хлопковом комитете бухгалтером, а она работала в мастерской шляп. Удивительней всего было то, что женщины города, истомленные малярией или изуродованные пендинской язвой, были печальны, носили платки или шали, а Наташа, хохонунья и певунья, постоянно рассказывала о нехватке мастериц и брани заказчиц, жалующихся на запоздание. Наташа рассказывала многое, неустанно, и надо думать происходило это оттого, что лица всех приезжавших в город были

беспокойны и она сама чувствовала в последние месяцы тоже беспокойство, которого раньше не ощущала в себе, и оттого-то она относилась к своим знакомым несколько подозрительно и высокомерно. Однажды они вечером гуляли в городском саду, густо покрытом душной пылью. Из любой аллеи видны были горы и памятник Ленину на фоне этих гор. Когда они обошли кругом сада, они увидали ленту пыли, поднятую их ногами. Она еще не осела. Им стало грустно. И вдруг С. Е. Поляков отвратительно и громко запел. Антон Антонович раньше до войны служил несколько лет в шантане, а позже в цирке хористом в русско-цыганском хоре. Он привык уважать пенье, он слышал о сказочной судьбе Шаляпина или протодиакона Розова, и Антона Антоновича всегда оскорбляло, когда люди, незнакомые или не учившиеся пению, пели — и не для себя, а для других. Обижало это Антона Антоновича и еще потому, что всю жизнь ему хотелось выступать солистом — и не выходило. Два раза, пред выступлениями, обнаруживалась болезнь, а затем нехватало смелости, и даже в полку, когда пытался устроить хор песенников, чтобы самому быть запевалой, — и то не выходило! Подберет голоса, свистун даже найдется, — а тут лучших певцов перебьют, либо дезертируют!

Пенье С. Е. Полякова давно кончилось, и Антон Антонович заговорил о том, как он поет — и поет замечательно. Поляков и Наташа слушали его со злостью. Поляков — оттого, что во время пенья лицо Антона Антоновича выражало презренье, а Наташа — потому, что ее больше всего в людях раздражала ложь. И не успел Поляков подобрать какие-нибудь обидные слова, как Наташа попросила Антона Антоновича спеть. Антон Антонович сказал, что нет аккомпанимента, и, кроме того, хотел он было добавить: он не привык выступать перед большой публикой, — но, вспомнив, что перед ним два человека, смутился. И тогда Наташа обиделась. Антон Антонович считал себя человеком справедливым и должен был признать, что тон ее был не слишком резок, когда она сказала: «Уходите домой, Оглобищенко». Она взяла С. Е. Полякова под руку. Поляков шел в пыль, все еще не осевшую, торжественный и прямой. Памятник Ленину, как маслом облитый лунным светом, плыл над горами. Антон Антонович вздохнул и сказал: «Судьба». Но все же, когда этой же ночью внезапно был получен приказ: направиться для борьбы с басмачами в пустыню, — Антона Анотоновича посетила надежда, что справедливость посмотрит на него по-другому, и тогда в нем возникло озлобление против С. Е. Полякова, и озлобление это ширилось в нем все пять дней с того часа, как полк вошел в пустыню. Полк скитался тропами, среди песчаных холмов и диких зарослей саксаулов, от колодца к колодцу, изредка выходя на большое шоссе, направляющееся в горы к перевалу, который вел в Персию. В горах было три перевала и, кроме того, было несколько легендарных, по которым могли ускакать в Персию басмачи, разбитые в пустыне красноармейскими частями. К этим легендарным перевалам нельзя было подпускать басмачей... полк негодовал! По шоссе шли караваны. Красноармейцы, недавно приехавшие из Самарской

губернии, удивлялись огромным папахам туркмен, цветным их штанам, голубым осликам и верблюдам тигрового цвета. Да и все кругом было ослепительного тигрового цвета. Горы распускались в небе, похожие на разорванную барсовую шкуру. А солнце было — как солдатская пряжка, если солдатскую пряжку от пояса раскалить и запылить... Немедленно, лишь только кавалеристы располагались на отдых, комполка С. Е. Поляков созывал собрание. Конь его «Серебряная дверь» — подле жевал сухари. На коня собрание смотрело с радостью. Конь этот считался некогда лучшим жеребенком в конюшнях эмира Бухары. Красноармейцы смотрели на коня, наверное, и еще потому с подчеркнутой любовью, что в способности комполка не верили и на собраниях дар речи приобретали такие люди, которые больше привыкли говорить пулями. И комполка С. Е. Поляков понимал это. На собрании, в расстоянии одного перехода от почтовой станции Тарюза, Антон Антонович сказал даже, что комполка желает жениться, а потому-то так торопится уничтожить басмачей, а если торопится, то ему некогда обдумывать свои решения, и вообще Антон Антонович намекнул, что комполка не трусит и к человеку надо относиться бережно. Кавалеристы нагло захохотали в лицо Антону Антоновичу, — и он смолк. Минутное облегчение, вызванное благородными словами, вновь сменилось в нем озлоблением и тревогой. А кавалеристы уже прыгнули в седла. От жары чувствовалась невыносимая тяжесть в хребте, и можно было понять, как всем хотелось убивать, дабы выйти из пустыни от грязной вонючей воды к чистым ключам и спокойному сну. Конь «Серебряная дверь» скакал впереди полка, хвастаясь своей выносливостью и чистыми своими розовыми ушами. Конь действительно был несколько щеголеват и с хвастовством; и то, что люди не любили в подобных себе, то они очень любили в коне, — и даже оттого к конному Полякову полк относился лучше, чем к пешему.

Полк искал Тарюзу. Тропа шла к станции, а они увидали телеграфные столбы, занесенные песком, и густой дым, несущийся из бархана. Навстречу им с бархана бежал человечек с необычайно белыми ногами. Красноармейцы захохотали, увидав начальника почтово-телеграфной станции, босого, в оборванных тиковых подштанниках. Начальник, размахивая руками, визжал, что песку столько за ночь надуло и что сейчас опять поднимется буря!.. За одну ночь песку нанесло вплоть до самой трубы, и песок катится через трубу в комнаты, а к дверям пришлось прорыть траншеи. Кроме того только что были басмачи, ограбили дочиста и на стенах оставили расписки, а офицеры у басмачей английские. И подумав об английских офицерах, все их представили такими, какими их показывают в кино, и все как-то внутренне подтянулись. Затем начальник конторы попросил у командира С. Е. Полякова, заимообразно, штаны, и командир крикнул озлобленно: «Нет вам штанов! Так вы защищаете революцию?» Всеми овладела сонливая усталость, возмущаться было трудно, но все же веснущатый и тонкоусый красноармеец Сарайчик сказал густым и негодующим голосом.

«И как только смотрит Москва!» И хотя можно было оправдать озлобление командира тем, что басмачи прорвались из-под носа отряда к горам, к легендарному перевалу, но еще более того все чувствовали, как теперь необходимо командиру сохранить спокойствие и хотя немного уснуть. А командир, стегая коня, умчался в пустыню. Он катился с бархана на бархан, и на него смотрел только один Антон Антонович. Наблюдая за командиром, Антон Антонович попытался развлечь красноармейцев анекдотами из актерской жизни, — других он не мог вспомнить, — и красноармейцы напряженно смеялись, хотя анекдотов не понимали и в театрах не были. Командир С. Е. Поляков быстро вернулся. Он отстегнул револьвер и кинул его пренебрежительно на потник. Командир сказал: «Я предлагаю направиться влево от шоссе, к родникам, а от родников пересечь дорогу басмачам и не пустить их в горы». Он предложил устроить собрание. Веснущатый красноармеец, говоривший густым голосом о Москве, опять сказал угрюмо: «О чем же тут собираться»? Отряд начал медленно седлать коней. В конце концов соображения комисара были правильными, но получалась ерунда, как из всего, что предпринималось во время этого странного похода. Не успел отряд спуститься по шоссе в пустыню, как с бархана послышались выстрелы. Прискакал замешкавшийся подле почтово-телеграфной станции красноармеец Сарайчик. Он сообщил, что в станцию опять ворвались басмачи, перерезали телеграфные провода и окопались на холме, а начальника станции кажется убили, расстреляли у трубы... Красноармейцы, должно быть опять вспомнив тиковые подштанники, на мгновение нервно рассмеялись. Все спуталось, а главное — видимо, надо было переходить в наступление, хотя басмачи и захватили лучшие позиции и хотя возможно, что главные силы их направились к горам в поиски перевала. От неудачи, жары озлобление росло, и веснущатый красноармеец закричал на командира: «Слезай с коня... и чего на тебя Москва смотрит!..» У командира С. Е. Полякова лицо стало напуганное, — такое, каким оно не было никогда — и он пискливо выругался. Антон Антонович наряду со злорадством почувствовал к нему жалость. Командир раньше никогда не выхватывал сабли, а тут метнул кверху клинок и завопил: «Лавой на них, лавой!..» И команда и окрик его были бессмысленны, и тогда командир С. Е. Поляков понесся вперед. Веснущатый красноармеец схватился было за карабин, но Антон Антонович сказал торопливо: «Это же не бегство, а пример!» И красноармейцы с недоумением смотрели на скачущего командира.

Глава третья.

Дул ветер. Труба выходила из песков. Труп начальника станции опускался. Труба очень запомнилась Антону Антоновичу, и едва ли на таком большом расстоянии он видел ее, и едва ли можно было разглядеть даже в бинокль труп начальника станции. Тигровый ветер не чудился ли Антону Антоновичу?.. Мчащийся всадник таял в песчаном ветре.

Подождать бы командиру и скоро б ветер унес бархан в другое место, и басмачи очутились бы на одинаковых боевых условиях с красноармейцами. Жалость Антона Антоновича к бестолковому командиру С. Е. Полякову все увеличивалась. С 1917 года командир С. Е. Поляков вступил в партию, то есть дал согласие совершать все, что полезно и необходимо людям, для того чтобы они жили лучше. И вот прошло пять лет, а из его стремлений ничего не получается, и его жизнь заканчивается тем, что вот он мчится на коне из конюшен бухарского эмира, мчится по пустыне... у коня прозрачные и тонкие уши и веселый голос. Явственно Антон Антонович услышал, как от станции раздался приказ, несколько выстрелов — и командир С. Е. Поляков свалился с коня на песок. Конь немедленно остановился. Хозяин мотался мокрой головой по песку. Конь смотрел на него задумчиво. Хозяин затих. Нога его тяжело повисла в стремени. Конь осторожно повернулся, чтобы освободить ногу хозяина. Хозяин лежал, поджав под себя руки; сапоги его тускло блестели, они были на высоких каблуках со шнуровками... И тогда верхом на каурой кобыле из-за трубы выскочил туркмен бай-Микаил. В руках у него был рыжий аркан и полосатый — синий с красным — мешок. Аркан — для знаменитого коня, а мешок — для головы командира. Бай-Микаил вытянулся, припал к гриве, гикнул. Бархан отозвался на его гиканье поощрительными воплями. Затем с бархана открылся ружейный огонь. Басмачи, видимо, стреляли с таким расчетом, чтобы оставить дорогу, коридор, для пути бай-Микаила, коня «Серебряная дверь» и головы командира С. Е. Полякова. Красноармейцы сразу поняли, как стреляют басмачи. Красноармейцы посмотрели на коня и стали стрелять так же, как стреляли басмачи, то есть оставляя дорогу для возвращения к отряду коня. Конь отошел от хозяина, поднял голову, ветер еще, видимо, не донес до него запах кобылы, — и конь, напряженно вытянув шею и как бы прислушиваясь к путям пуль, осторожно перебирая копытцами, направился к своему полку. Пройдя несколько шагов, он остановился. Напряжение появилось на лицах красноармейцев. Запах кобылы, видимо, доносился уже к нему. Туркмен гикал, бил кобылу нагайкой. Конь поднял голову — и решительно поскакал. Красноармейцы обрадованно завыли. Басмачи усилили огонь. Туркмен все еще несся вперед, махая мешком и арканом.

— У нас-то ему лучше нравится, — сказал Антону Антоновичу радостно веснущатый красноармеец.

«Ну, вот, — подумал Антон Антонович, — теперь и Наташа может достаться легко, если встать и побежать сейчас навстречу туркмену. Туркмена отогнать, а коня за уздцы — и в отряд». Но ему сейчас же стало стыдно оттого, что он в состоянии подумать, что женщину можно пленить каким-то подвигом, а не своим хорошим сердцем. Туркмен и конь шли по одной линии так, что из-за «Серебряной двери» не видно было скачущего туркмена. Туркмен, видимо, сильно торопился, понимая, что если конь добежит раньше до отряда, то туркмена убьют... и так было странно — и этот коридор среди пуль и две плотно сбившиеся толпы... Конь бежал

все медленнее и медленнее, часто останавливаясь и нюхая воздух. Ветер усилился. Песок застилал глаза. Колючая песчинка попала в глаз Антону Антоновичу. Потекли слезы, и когда Антон Антонович открыл глаза, то он почувствовал такой страх, о котором и нельзя было предположить, что он может существовать. Антон Антонович вырвался из толпы, напряженно призывавшей «Серебряную дверь», — и побежал к саксаулам, подле которых стояли кони полка. Он ощутил свое громадное трясущееся тело вяло карабкающимся на седло. На мокром рту оседал крупный песок. Тигровое небо опускалось туманно на землю. Туркмен, увидав двигающегося навстречу всадника, завыл не то от злобы, не то от удивления. Всадник скакал прямо, откинув слегка назад голову. Это Антон Антонович хотел обернуться и крикнуть красноармейцам, что как бы плох ни был командир С. Е. Поляков, к трупу командира надо относиться с почтением, потому что и убитый и лежа в пустыне он исполняет земное важное дело — и все личное надо отбросить!.. Но страх овладевал Антоном Антоновичем все больше и больше. Высокая лука седла шаталась перед ним. Пески липко крутились. Он закричал было «ура», но крик этот вышел нескончаемым и вдруг перешел в пение. И тогда Антон Антонович Оглобищенко запел какую-то длинную и торжественную песню, — не то гимн, не то об Разине, не то об любви. Он пел громче и громче, и змеиное вязкое шуршание песков слилось с выстрелами винтовок, и голос его медленно начал заглушать шумы пустыни. Он пел уже в тишине. Ему казалось, что он впервые пред огромной завороженной толпой. Толпа эта дышит на него теплом и ожиданием. Он машет саблей, поет и неудержимо-неустрашимо мчится вперед. А на самом деле он вяло мотался в седле, лошадь бежала напуганной рысью, и шашка его была не вытянута. Ему казалось, что он скачет по коридору из пуль, осторожный и чуткий, а на самом деле он сбился с дороги, и скоро стрелявшие отложили свои винтовки, так как песчаная буря закрывала им глаза. Солнце посреди желтой темноты походило на клочек марли. И еще казалось Антону Антоновичу, что он, с пением подскочив к туркмену, снял ему саблей голову. Антон Антонович склонился с коня, схватил тело командира, перекинул его через седло. Затем Антону Антоновичу казалось что он схватил за узду «Серебряную дверь» и конь бешено и радостно бежит с ним рядом к родному полку и к новому хозяину. А на самом деле голова Антона Антоновича Оглобищенко давно была отрублена от его плеч и лежала в полосатом, синем с красным, мешке туркмена бай-Микаила рядом с головой командира С. Е. Полякова, и усы их и теплые еще их рты изредка соприкасались, а конь «Серебряная дверь» вырвался из рук туркмена, а сам храбрый туркмен бай-Микаил давно в песчаной буре сбился с тропы и со страхом и воплями мечется среди песчаных холмов. Теплый песок обрушился на него. Сухая и мелкая ткань закрыла ему веки. Небо, желтое и шипящее, наклоняется к его голове. До неба можно дотянуться рукой! Туркмен Микаил-Серебряная дверь протягивает руку, и горячий песок хватает его пальцы.

Усмирение Бададошкина.

(Трагикомедия в трех актах.)

Леонид Леонов.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Семен Егорыч Бададошкин — торговец рыбой, 50 лет.
Никитай — его сын, 27 лет.
Анна Петровна — его жена, 28 лет.
Настя — сестра его жены, 19 лет.
Домна Иванна — его мать, 67 лет.
Сергей Петрович Коротнев — его жилец, 22 лет.
Фока Матвеич Крутилин и } приятели его, с женами.
Багдад Багдадыч — } приятели его, с женами.
Барин.
Князь.
Серафим Петрович Вошкин.
Варгушев.
Закладчики.
Гармонист.
Дворник.

Действие происходит в наши дни, в трех комнатах бададошкинской квартиры.

АКТ ПЕРВЫЙ.

Столовая у Бададошкина, загроможденная обилием вещей, купленных по случаю и за бесценок. Глубокая печать стяжательства лежит на всем. На стене картина «Юдифь», в углу радио. Гости в задних комнатах; за столом, на котором самовар и всякие закуски, Никитай и жена Крутилина.

Никитай. Еще чайку не угодно ли? Вода-то казенная. Наливайтесь, мадам, пра!

Крутилиха *(басом)*. Да уж и то все пью да пью. Запарилась вся.

Никитай. Под клюкву-то оно шибко пьется. Пейте, мадам, не обижайте самовару.

Крутилиха. Да ведь простужена я, голубь. Доктор сказал: срептококи залезли в мое тело и все никак не могут вылезть.

Никитай. А тоды винца хорошо. Дозвольте, я вам составлю! *(Наливая в стакан.)* Вот сперва пивка сунем, да коньячишку для

крепости, да мадеры для вкусу... Скипидарцу бы еще, да под рукой нет. Вот, глотайте, мадам, до донышка и в один дух!

Крутилиха. Ой, дюже страшно... а не свалюсь?

Никитай. Что вы, мадам... напротив, от такого напитка летать станете!

Крутилиха *(выпила и осовела)*. Во, точно лом железный проглотила! *(Тянется за закуской.)*

Никитай. Ни-ни, закуска ни в каком разе. От этого все действие пропадет. Вот и хозяйку спросите...

2.

Анна Петровна. Отец не приехал?

Никитай *(почтительно вскочив)*. Не знаю-с, пора б и быть. Поезд-то в семь приходит.

Крутилиха. За товаром, что ли, поехал?

Анна Петровна. Не, он баушку поехал на вокзал стречать. *(Никитаю.)* Чего ты ее напоил, еле язык вяжет!

Никитай *(ухмыляясь)*. Так... маненько для опыта. Винцо, знаете, с пивком когда соединяются, вроде фейверка выходит. Интересно, что получится...

Анна Петровна. Ну и забавы у тебя, сирота!.. Ну, да бог веселых любит. *(Строго.)* Знобит меня, принеси-ка платок из спальни.

Никитай. Это который-с?

Анна Петровна. Пуховой, он там на кресле лежит.

Никитай *(робко)*. От зноба-то винца хорошо... с пивком.

Анна Петровна. Ну, разгулялся. Платок мне, сказала.

Никитай. Момент-с *(Ушел.)*

3.

Анна Петровна *(в соседнюю комнату)*. Пожалуйте сюда, гости дорогие. Фока Матвеич, самовар-то озяб весь со скуки...

Вошли Багдад, жена Багдада и Крутилин.

Багдад. Квартеру-то как заставил! Прямо заблудишься, как в лесу. И вещь все тугая, полноценная...

Крутилиха. Надраконил монетов-то, вот и запасается. Все равно отберут.

Крутилин. Уж напилась, эка бочка!

Багдад *(осматривая комнату)*. А полноценная все-таки вещь!

Анна Петровна. Все покупает, весь мир сбирается купить. Эвон, дурак намедни картину с голой бабой приволок *(кивает на «Юдифь»)*, он и ту купил. Скоро уж в сарайчике жить придется, а тут крысы в комодах поселются... *(Никитаю.)* Давай сюда.

4.

Н и к и т а й. Анна Петровна... Там нету платка, я искал.

А н н а П е т р о в н а. Ну, в кровати поищи. Экой!

Н и к и т а й ушел.

5.

Ж е н а Б а г д а д а *(тоненько)*. Пасынок-то, так и порхает, как зучок. А малый ждоровый!

Б а г д а д. Ты на мне, дуреха, взгляд держи, а на чужое не зарься.

Ж е н а Б а г д а д а. Ждоровый малый...

Ж е н а К р у т и л и н а. Вот такой-то и пришьет. Встанешь утром, а башки-то и нету.

К р у т и л и н. Помолчи, раз уж выпила.

К р у т и л и х а. А я говорю, пришьет. Я знаю, бывалошнее дело...

А н н а П е т р о в н а. Ну, этот никуда, не в породу вышел. Вот Настька... *(Стучит в стенку.)* Сергей Иваныч, вы спите аль дремите? *(Молчание.)* Должно ушел, воздух чище... Настька-то с жильцом через стенку перехихикивается.

Ж е н а Б а г д а д а. А ты чего з смотришь?.. Я б такую сестру в бутылку жагнала!

К р у т и л и н. Виноват, жилец-то из нонешних, значит?

6.

Н и к и т а й *(с платком на пороге)*. Так ведь и все мы нонешнего посеву. А я-то из вчерашних, что ли?

А н н а П е т р о в н а. Принес?.. Накинь на плечи мне. У меня руки в варенье. Ну!..

Н и к и т а й. Я не смею-с.

Все смеются.

А н н а П е т р о в н а *(показывая голое плечо)*. Что это, видишь?

Н и к и т а й. Вижу-с. Это плечико.

А н н а П е т р о в н а. Ну, и накрой плечико, раз холодно плечику. *(При общем смехе он укутывает ее платком.)* И на груди запахни... Чего у тебя руки-то дрожат? *(Тот молчит.)* Ну, чего уставился, как гусь на молнию?

Н и к и т а й. Я думаю.

А н н а П е т р о в н а. О чем же ты думаешь, сиротка?

Н и к и т а й. О плечике.

Все смеются.

К р у т и л и н. Ну, полно, полно над сиротой смеяться. На тебе, парень, монетку, пивка выпьешь на досуге! — Бери, не робей... *(В открытом окне стук пролетки.)* Вона, кажись, приехали.

Б а г д а д *(выглянув в окно)*. Он и есть.

А н н а П е т р о в н а. Иди, встрень отца-то, гамаюн-птица жалосливая...

Никитай убегает.

К р у т и л и н. Ох-хо, всему, что глупо, бог заступа...

7.

Б а д а д о ш к и н *(раздеваясь)*. Э-гей, гости, не всю еще закуску-то поели?.. Экий холодина, должно дуб распускается. Ну, вот и я. Здорово, Багдадка! *(Целуясь и внюхиваясь.)* Фу, как несет-то от тебя! А я, брат, бросил водку... да, брат, перешел на коньяк! *(Хохочет.)* А, кум, живи сто годов!

К р у т и л и н. А может мне господь тыщу пошлет?

Б а д а д о ш к и н. Ево милости не перечу. А я, эвон, маманьку привез. Почитай двадцать зим не видались. И нема, и глуха, и телосложенья квологo, а эко чудо на свет родила! *(Хохочет. Могучий дворник проносит вещи. Входит старушонка, кланяется в пояс.)* Эй, Никитай, распакуй баушку. Да не тереби так, не осетрину пакуешь!.. Анка, дай и баушке пожевать. Хи-хи, друзьишки, славен бог в Сионе: дрожим, а дышим.

К р у т и л и н. Дышать покеда не воспрещено.

Б а г д а д. Извини, дышать декрету не было.

Б а д а д о ш к и н. *(лукаво)*. Эк, юрисконсульт какой!.. А ну, налей и мне, ядрица. *(Выпил.)* Но приступают и наши времена. Силы да деньги копите. Рубликами нельзя, так копеечками... *(Вытягивая пальцами ломоть лососины.)* Самые грошики тащите за волосики. Везде помаленьку стригите, я и козявочкой не брезгую. Но тихо надо, людишки, тихо да с песенкой. Тихо, совсем тихо... *(Как бы усмиряя движение волны.)* Еще тише... вот так. *(Тишина. Бададошкин звучно чавкает.)* А травка-то и лезет из-под кирпичика!..

К р у т и л и н. Травка пузырится.

8.

Через сцену проходит Н а с т я.

А н н а П е т р о в н а. Ты надолго, Настюшь?

Н а с т я. А тебе что?.. Я посуду вымыла, пол вытерла.

А н н а П е т р о в н а. Нет, я ведь только... если жилец спрашивать будет.

Н а с т я. Как вернусь, так и дома буду... *(Ушла.)*

9.

Б а д а д о ш к и н. Норовая девчоночка, люблю. *(Никитаю.)* Жилец дома?

Н и к и т а й. Неизвестно. Кепка висит.

Бададошкин. Скинь евонную кепку. Так прямо в кошачье блюдечко и скинь, будто ненароком. *(Анне Петровне.)* Куда она пошла?

Анна Петровна. Небось в клуб, флаг раскрашивать.

Жена Багдада. Ой, да к чему з, милая, флаг-то?

Никитай. А чего ж им делать-то боле, только флаги и раскрашивать!

Бададошкин *(строго)*. Я тебе насчет кепки приказал. И ступай-ка, вообще, проветрись там где-нибудь. *(Никитай ушел.)* Первый май у них скоро, вот и раскрашивают старенькое-то под новенькое. Ну, да я не препятствую! *(Кивая на картину.)* Вона и Юдифь ходила к срамодержцу и фигли с ним крутила...

Жена Багдада *(глядя на картину)*. Тозе ждоровый малый был...

Бададошкин. ...а потом тяп ему главу-то. Вникайте, людишки! А душу-то как ломит... дождик, что ль, пойдет, аль убьют кого?.. Налей-ка мне еще, Аннушка.

Анна Петровна. Допьешься, ишь рожа-то, как сургучная стала!

Бададошкин *(держа рюмку, в которую Анна наливает)*. Рази ж это я пью? Вот раньше!.. До того, милые мои, допился раз — Фердинанда Болгарского увидел. Стоит быдто на шкапе вон там, и взор такой пла-ак-сивый! Да чего вы все молчите-то, сговорились, что ли?

Анна Петровна. Да ты и слова никому не даешь сказать!

Крутилин. С нами вот еще похуже вышло.

Багдад. Доложи уж ему, раз и его касается!

Крутилин *(внушительно)*. Следит за мной один, в синих очках, уж две недели вокруг ходит. В баню намедни пошел, а он — в бане. В церкву вошел, а он стоит в притворе да с батюшкой разговариват. Спать ложусь, а он в окошко мне свистит!

Анна Петровна. В дудку, что ли?

Багдад. Не, просто губами свистит!

Бададошкин. Это быват, от водочки. А у меня тунбой, бывалча, прикинется и мигат мне глазком, затягиват. А то раз вытянулся, об стекло расплюснулся, да и глядит ко мне в окно...

Жена Багдада *(пугливо)*. Неуз во второй этаз?

Бададошкин *(смеясь)*. Ну, это я маненько выдумал.

Крутилин. Не шути, кум, как бы не поплакать. Сперва-то моемся мы с ним в баньке, а он мне: «Как, — дескать, — Расеей интересуетесь?» А сам весь в мыле, в пузырях. Я отвечаю: может и был интерес, да ведь товар-то ноне воспрещенный!.. «Ну, — говорит, — тогда читай газеты, береги здоровье и жди мене... на-днях все разъяснится». Так с меня мыло и поползло!

Багдад. А со мной и того хуже. Зашел в лавку надысь, стоит и очки фланелькой протирает. «Глаза, — говорит, — карего глаза с лиловым зрачком из-за границы не получали?» А я только что товарцу там...

ну, словом, из Крыму... ну, словом, бандероль там забыли наклеить... получил. Моргаю, жену ногой поталкиваю...

Жена Багдада. Все на можоль, на можоль...

Багдад *(осклабляясь)*. Помилте, отвечаю, какие ж ноне карие глаза? Да рази, говорю, при нонешних условиях можно карие глаза держать? А он мне: «Помни, — говорит, — об Расее, мерзавец!» Погрозил пальцем и ушел...

Бададошкин смущен, глядит во все глаза.

Анна Петровна. Сыщик, наверно!

Крутилин. Дак ведь он товару-то не отнял, печати-то не наложил!

Анна Петровна. Жулик, значит. Кто нонче на такие дела польстится. Смотри, объегорит — и следу нет.

Крутилин. Нет, не жулик, а человек он, и нитка от него тулы идет. Да он и про тебя, кум, спрашивал: кто такой, да патриот ли, да каким духом дышит...

Бададошкин *(хмуро)*. Ну, а ты?

Крутилин. А я — с сыном, дескать, рыбкой торгует, рыбка у них.

Бададошкин. Ну, а он?

Крутилин. А он — список, говорит, на будущи времена составлям. Так в какую графу занесть?

Бададошкин. Ну, а ты?

Крутилин. Бла-ародный, говорю, человек. Капитал вещами содержит. Довериться можно, потому жанатый.

Бададошкин. Ну, а он?

Крутилин. Да ну тебя, пристал. Погоди, скоро сам все попробуешь!

Бададошкин *(в смятеньи)*. Ой, не влипнуть бы, тут похуже лотореи, кум. Оно и должно что-то случиться, да срок-то пальцем на воде написан... а вода, она ведь текет.

Крутилин. А пропустишь — реветь станешь. Товар-то этот больно подешевел.

Бададошкин *(долго раздумывает)*. Анна, чаю мне, погуще. Свежего завари, погуще. Что-й-то в ушах-то у мене свистит?.. Я и сам слышал про такого-то, который ходит. Высокий из себя?

Багдад. Росту хорошего, и бородка у него слегка.

Жена Багдада. Бояжно, братцы, ровно в холодную воду лежть. *(Мужу)*. Как, Баденька, а?

Бададошкин. Э-ех, купцы-глупцы!.. К вам самая мечта приходит, а вы ее персицким порошком?.. По дешевке счастье распродают, а вы смекаете, не краденое ли? Да я... я вздрызг раздамся, а уж такого не выпущу из зубов. Осподи, да у нас все великие дела с жульства начинались. Расея-то, ведь она что: кто сгреб, с тем и поехала. А ведь тут на

жертву-то процент дают, и какой процент! Осподи, и станешь ты, скажем, земский начальник, а?... и поедешь ты, скажем, к Фоке Матвеву в усадьбу квас пить, а?... и пойдете с ним в баньку по вечерку попариться, а холуи эдак поодаль веники за вами понесут, а?. И велишь ты, Багдад, на радостях из пушек вдарить, а-а!

Жена Багдада. Нет, уз пушки не надо, не люблю я пушек.

Багдад. Музыку заместо пушек заведем, музыка дешевше обойдется. Пускай вальс играет...

Крутилин. А только, может, ловушка какая?

Бададошкин. Э, борода-т у тебя ровно валеный сапог, а не по уму, кум, прости на правде. Я уж не говорю, чтоб Расее помочь, как она на ложе своем терзается, я — про другое. Цветочек расцвел, — отцветет завтра, нежненькой... Его рвать надо, а ты шагу ступнуть трусишь. Дубина, рви его!

Багдад. Рвать?

Бададошкин. Рви!

Крутилин. Рвать?

Бададошкин. Рви!

Анна Петровна. Уж не распространяйтесь, заберут еще. Эко веселье нашли!

Бададошкин. Не каркай, Аннушка: облака-то ведь темные, у облаков не спросишь. А сердце-то ноет, как в пустом доме, а руки-то зудят. Ведь тут с деньгами да суетней и человека-то в себе забудешь. Так в очках, говоришь?

Багдад. Росту хорошего и бородка у него слегка.

Крутилиха *(спросонья)*. Вот такой-то и пришьет, я знаю, я сама хорошая.

Радио начинает говорить: «Алло, алло! Прослушайте теперь телеграммы. В Сарынском уезде обнаружен старик ста восьмидесяти двух лет, Егор Жилин, старейший середняк уезда. В беседе с сотрудниками газет товарищ Жилин рассказал, что жизнь теперь совсем иная, чем раньше была. Предположено устроить факельное шествие...» Бададошкин слушает с вытянутым перстом, все его обступили.

Крутилин. Речисто как оплетат!

Багдад. Поет.

Бададошкин. А почему, спрашивается, птичка поет?

Багдад. Дык воздух из нее идет, она и поет.

Бададошкин. Не, милый, — а птичка кушать хочет. Эй, птички, хотите кушать? Ну, вали-вали, потряси еще. Дай уж я тебя поцелую... вот в самую штучку! *(Целует радио.)*

Анна Петровна. Обмусолил ты его совсем, играть не станет.

Бададошкин. Никитай! *(Никитай быстро входит.)* Никитай, платок! *(Вытирает.)* Ну, действуй еще для дорогих гостей...

Радио хрипит: «Пастух Вася Самсонов, семнадцати лет, изобрел особую обувь из простого рогожного лыка, не уступающую по красоте и прочности заграничному шевро.

Американские промышленные круги крайне заинтересованы изобретением товарища Самсонова. Запасы сырья...» Общий хохот заглушает радио.

Ой, не щекоти, упарился я с тобой!

Н и к и т а й. Вы, папаш, жилетку-то сымите.

Ж е н а Б а г д а д а. Так ведь это он лапти ижобрел!.. Ой, да жакрой, жакрой его, я зенщина сырая, у меня биение...

Б а д а д о ш к и н. А надысь такую сыромятину развел... *(Громкий свист.)* Ну, ладно, заткнись. *(Обернул радио к стене. Никитаю.)* Опять ты здесь? *(Никитай ушел.)* Ты чего, Аннушка, в стороне?

А н н а П е т р о в н а. Знобит меня.

Б а д а д о ш к и н. А ты съела бы апельсинчик!

Слабый свист, все его слушают.

А н н а П е т р о в н а. Ты вот сверчка сперва убей. Всю ночь свиристит, прямо душу вынает.

К р у т и л и х а. Сверчок в квартеру залезет, так ведь расстроишься.

Б а д а д о ш к и н. Какие ж, Аннушка, сверчки в мае!.. А коли и залез, так он сам, он сам от пыли задохнется.

А н н а П е т р о в н а. Тут и человек-то у тебя задохнется. Ты уж покупай свои комоды. Ишь, наставил гробов-то...

Б а д а д о ш к и н *(ласково)*. Ты, Аннушка, золота моего не хули, оно обидчивое.

А н н а П е т р о в н а. Клопами золото твое пахнет! *(Сдержанно.)* Да не лезь ты на меня, пакля, гостей-то не стыдишься.

Б а д а д о ш к и н *(смущенно)*. Людей конфузится простая-то душа. *(Опять легкий свист.)* Кто это?.. Ты, Багдадака? Свистели, будто.

Б а г д а д. Да нет, ослышался ты.

Ж е н а Б а г д а д а. Мышь, мозет. Бывают такие мыши, канарейкой свистят...

К р у т и л и н. Вот и у меня все посвистывали, а потом и заявилась канарейка-то в синих очках.

А н н а П е т р о в н а. Наговорите, накликаете, вот они придет счас...

Б а д а д о ш к и н *(тревожно)*. И то, разговору нашли... *(Пауза, стук в дверь. Бададошкин со стулом в руках кидается к двери.)* Нет, нет, что я! А может, это возвышение мое идет? *(Почтительно отворяет дверь. Входит привязанная на веревочку кошка, на спине у нее бумажные синие очки.)*

Б а д а д о ш к и н *(в страхе)*. Ого! *(Кошка, дернутая за веревочку, исчезает.)* Кто, кто там?

Н и к и т а й. Это я тут... маненько для смеху.

Б а д а д о ш к и н. Вот огрею тебя! Чего дарма народ пугаешь, разиня?

Н и к и т а й *(тихо)*. Там... там вещь принесли.

Б а д а д о ш к и н. Ну, и не ори на людях-то. *(С неудовольствием уходит.)*

10.

Крутилин. Вот те и синие очки!.. Ну-к, сирота, музыку хоть запусти.

Анна Петровна. Жилец у нас очень музыки не любит. Как пустим, так он там и почнет извиваться...

Никитай. А нам что, пускай извивается. А мы не извиваемся рази?

Анна Петровна. Так ведь он ругаться прибежит!

Жена Багдада. Жапусти, родной, а мы и посмотрим ево, каков он, Настькин-то!

Никитай. Я, пожалуй, запущу... мне что!

Включает радио; ящик начинает сперва издавать треск, вой, взрыд, назойливое пищание. Тотчас Коротнев стучит в стенку.

Вона, зачинается!..]

Багдад. А по отрасли-то он по какой?

Никитай. Отрасль его покеда неизвестна. Будто в газетках пописыват. Попалось как-то мне, как рыбу заворачивал. Про фронт написано. Известно, для прокорму. Ну, вот, уж подействовало! *(За стеной яростный треск отодвинутого стула.)* Приготовьтесь теперь, эва!

11.

Коротнев *(влетая с какой-то бумагой в руке)*. Послушайте, как вас...

Жена Багдада. А малый ждоровый...

Коротнев. Укротите к чорту ваш инструмент, или... или...

Никитай. Или?

Коротнев. Я стрелять в него буду!

Крутилин. Ты, паренек, купи себе такой же — да и стреляй.

Все смеются.

Коротнев *(сдержав себя)*. Это же безобразие. У меня экзамены, а вы работать не даете. Как не стыдно... Смешно? *(Жене Багдада.)* Ну, чего ты раззявилась, торговка?

Жена Багдада *(хохоча очень тоненько)*. Ой, не дражнись... я смешливая, у меня биение...

Никитай. А вы, товарищ, остерегитесь на слова. Денег за квартеру рупь в год платите, а врываетесь, промежду прочим, нечесаный!

Анна Петровна. Перестань, Никитай.

Никитай. Нет, зачем поблажку давать. А, может, мы тут деньги выделываем?

Багдад. А, может, мы тут голые заперлись да в карты играем?

Коротнев. Стыдитесь, ростовщики...

12.

Б а д а д о ш к и н *(входя)*. Что за шум? *(По дороге остановил радио)* Кто пустил? А вы... как вы сказали, кавалер?

К о р о т н е в. Брось, брось бузить, старик. Дело-то ведь ясное...

Б а д а д о ш к и н. Ты мене не стращай, я стреляный. Я и сам, может, радостно захлебываюсь в революции: во, по сех пор стало. И вреда от меня, кавалер, никому нет, окромя пользы. Рыбку мою и в Кремль берут, и вожди кушают.

К о р о т н е в. Небось подтравливаешь помаленьку?.. Я тебя знаю.

Н и к и т а й. Дозвольте поучить, папаш?

Б а д а д о ш к и н *(отстранив его рукой, ударяет Коротнева по бумаге)*. Ты меня сосешь, так тихо соси, щенок...

К о р о т н е в. Ах, так?.. *(Размахивается, Никитай налету хватает его руку.)* Пусти руку, я его... я его хочу...

Н и к и т а й. Погоди, на хотенье есть терпенье. А ну, распорядитесь, папаша!

Б а д а д о ш к и н *(услышав новый свист)*. Пусти его, будь христианин, Никитай! Может, он с голоду... от стишков какая пища. *(Коротнев уходит.)* Спасибо, Никитаюшко: убить — не убил бы, замарал бы навек! *(Качаясь в одышке.)* Ну, гости дорогие, поели?

Б а г д а д. Поели.

Б а д а д о ш к и н. Попили?

К р у т и л и н. Попили.

А н н а П е т р о в н а *(с холодком)*. Домой бы вам не опоздать. Пока доберетесь, час поздний...

Б а г д а д. И то, поплывем, Фока! Эй, Касьянна, загостилась? *(Будит Крутилиху.)*

К р у т и л и н. Ну, как, если спрашивать станет, засылать баринка-то? Я и сам не веровал, а посля Багдадкина товара уверовал.

Б а д а д о ш к и н. Ничего ему не говори, пускай само дозреет. Запри за ними, Никитай! *(Гости уходят.)* Ох, умаяли меня, да еще этот, в очках! Я уж не раз его примечал. И все свистят, слышишь?.. А мать-то где же? *(Вошла мать.)* Вот вникайте, людишки, в каторжную жисть мою! *(Усаживает старуху в кресло.)*

13.

А н н а П е т р о в н а. Жильца-то извели совсем. Этак графа доведи, и граф укусит. Донесет еще, туда сошлют, где и снег-то не тает!

Б а д а д о ш к и н. А тебе, что ж, жалко меня?

А н н а П е т р о в н а. Живу с тобой.

Б а д а д о ш к и н. Он мне дворника портит. Вхожу даве, а он его насчет Парижской коммуны насусоливает. И у Гришки уж вид, прямо хоть убивать итти. Жилец!

Анна Петровна. Что ж в том, без мыша и дом не стоит. А сам-то он тихий...

Бададошкин *(в тон ей)*. ...красивенький опять же!

Анна Петровна. Ты уж лучше к самовару вон приревнуй, благо и он с крантом стоит!

Бададошкин. Ну, прости, прости... Ой, никак опять свистели?

Анна Петровна. Да нет, это я ножом. Иди уж, приляг, иди к себе, отдохни!

Бададошкин. А ты... ты не хочешь со мной?

Анна Петровна *(сухо)*. Мне еще посуду надо убрать, ступай. *(Бададошкин ушел, Анна Петровна, напевая, убирает посуду.)* Баушк, вы и в самом деле не слышите, аль только так, играете с нами? Вы бы прилегли, старая кость покой любит. *(Вошел Никитай.)* Ты чего не спишь?

14.

Никитай. Не спится, Анна Петровна.

Анна Петровна. За что отец-то даве на тебя озлился?

Никитай. Да так, мечтание на меня нашло. Резал лососинку одному, да так всею рыбину ломтиками и отмахал...

Анна Петровна. Об женщине, что ль, мечтание-то?

Никитай. Нет, я не об женщине. Капусты должно объелся, пучит.

Анна Петровна. Дурачок, ты клада-то своего тут вкруг меня ищи. *(Никитай кидается в дверь.)* Куда! Чего ты напугался?

Никитай. Боюсь... если папаша застанет.

Анна Петровна. Он спит теперь.

Никитай. Папаша никогда не спит. Ему нельзя спать... он вещи караулить должен. Вот сами гляньте, как у баушки глаза-то блестят...

Анна Петровна. Она ж глухая! Она дремит да чертей во сну гоняет. *(Старуха хихикает, Анна идет к ней.)* Ты, баушка, не сюда, а вон туда смотри, на картинку церковного содержания. *(Вертя старухину голову.)* Гляди, гляди, как она ему главу-то отстригает, видно тоже до точки дошла!

Никитай *(исчезая)*. Берегись, идут...

15

Настя. Пожевать-то что-нибудь осталось?.. Что ты, красная какая?

Анна Петровна. Еда на столе.

Настя. Ужасно проголодалась. *(Садясь за стол.)* Ты зачем посуду-то моешь, хлебом, что ль, укорить хочешь? Не трогай, я вымою.

Анна Петровна. Я тебе сестра, Настюша, и зря ты меня обижаешь. Ты в последнее время изменилась, точно чужих кровей, точно пустыня меж нас...

Настя *(ест)*. Да и то пустыня! В который раз ты со мной разговор этот заводишь? Точно каяться в чем-то хочешь. Ну зачем, зачем ты замуж за него шла? Молод?.. хорош? Эх, Анка!.. *(Тихо.)*

Анна Петровна. Ведь мне и на ночку его нехватит, а только смущение одно. Ну, да это не твое дело. Вот ты его ругаешь, а он души в тебе не чает. *(Пауза.)* Винца не хочешь? У меня сладенькое есть.

Настя. А ты уж и до винца дошла?.. *(Сдержанно.)* Нет, спасибо, я даже не озябла. *(Стучит в стену.)* Сергей, ты дома? Я зайду. *(Анне Петровне.)* Я сказала, я не хочу вина.

Анна Петровна *(подходя)*. Не злись, и так уж в остроге живу. *(Настя молчит.)* Аль и без вина весело? *(Настя молчит.)* Слушай, он — муж тебе?

Настя. Передай, Анна, пожалуйста горчицу.

Анна Петровна. Живешь с ним?

Настя. Чудная ты, Анна. Мне и жалко тебя порою, и злость на тебя берет.

Анна Петровна. ...и он целует тебя?

Настя. Вкусная какая рыба... Ну, конечно, и целует.

Анна Петровна. А ты... Дай-ка ухо. Да не откушу, не конфета твое ухо. *(Схватив ее за руки, шепчет что-то.)* Правда ведь?

Настя. Пусти руки, мне больно. Вот даже синяк! Как тебе не стыдно, Анна!

Анна Петровна. А ты счастливая! А я все только сны вижу. А надысь, Настьк, видела, точно бы ручей мне в сердце-то ворвался. Закричала и проснулась, вся мокрая... а грудь-то болит, вот тут болит. У тебя тут не болит?

Настя. Если болит, иодом намажь... пройдет.

Анна Петровна. ...к доктору пошла, а он смеется. Вам, говорит, бебе надо. Я спрашиваю, а где, дескать, лекарство это продается?.. А он... Э, спалю я эту червоточину!

Настя *(вставая)*. Ну, мне еще к Сергею надо, дело есть.

Анна Петровна. Целоваться, что ли?

Настя *(усмехаясь)*. На свете еще, кроме этого и другие дела есть.

Анна Петровна *(притянув ее к себе)*. А ты... ты тоже его любишь? Ишь, в глазах-то у тебя как круги на пруду, вот когда камень бросят.

Настя. Слушай, пусти... мне душно.

Анна Петровна. Дай, я поцелую тебя. Может, счастьишка твоего дольку уворую. *(Целует. Холодно.)* Ступай теперь свое дело делать.

Настя. Баба ты глупая, уезжай хоть в деревню вон с бабкой. Ведь как паучиха сидишь и муху ждешь, которая с усами. Кто сам себя гноит, того ведь и не жалко!

Анна Петровна *(плача, кричит)*. Ступай, сказала!! *(Настя уходит, Анна идет к старухе.)* Не человека, а капкан, капкан ты, Домна Иванна, родила, капкан, вот чем хорей давят. Ну да погоди, может и я еще Юдифью стану...

16.

Бададошкин *(взлохмаченный, в одном белье)*. Чего ревешь, уймись. Ш-ш! *(Идет к окну, выглядывает и снова прячется.)* Эва, ходит!

Анна Петровна. Кто еще там ходит?

Бададошкин. Ш-ш, в синих-то очках эвон стоит. *(Свист.)* Кличет, а? А ну! *(Сам свистит переливчато, в окне повторный свист. Вошел Никитай и тоже свистит.)* Эге, откликается. А ну, еще!

Все. Где он, где?

Бададошкин *(старухе, которая тоже потянулась к окну)*. Ш-ш, ты-то куда, овца глухая? *(Самозабвенно.)* А вдруг я, Аннушк, губернатором стану, а? Аннушк, взгляни на меня, похож я на губернатора, а? *(Становится в грозную позу, в окне свисты, все безмолствуют.)*

Занавес.

АКТ ВТОРОЙ.

Гостиная у Бададошкина, загруженная преимущественно сундуками. Среди них торчит несгораемый шкап, на нем иссохшая отрасль пальмы. Пыль и тлен. В углу, на подоконнике сидит кошка; она картонная. Настя шьет несусветные какие-то штаны.

1.

Настя *(поет)*.

Через речку пошла
и колечку нашла...
На колечке два словечка —
Дорогому моему!

Никитай *(входя)*. Воров, что ли приманиваете, барышня? Да и песня-то у вас!.. Нонешней невесте полагается петь про бой, про бой кровавый... или про Балтийский флот, например!

Настя. Я всегда пою про то, что хочу.

Никитай. Над чем это вы трудитесь-то? Ну-ка... *(Выхватил, смотрит.)* Хе, интересный предмет для барышни. Хотя что ж, какая ты барышня! Хахалю, что ли?

Настя. Нет, хахаль мой таких не носит. Это батюшке вашему, в лавке сидеть. Будьте добры, Никитай Семеныч, отойдите в сторонку: кошатиной от вас несет, не продохнешь...

Никитай. Дак это рыбой пахнет. Одеколону на рупь — живой рукой сымет. Как букет пахнуть стану!

Настя. Вот и булавки все рассыпали... *(Собирает.)* Что вы нынче лохматый-то какой?

Никитай. Неизвестно. Бывает, от любви волос подымается. Так и стоит, как овес!

Настя *(как бы задумчиво)*. В меня, значит?

Никитай. Почем знать! Сердце не рыба, сердце не понюхаешь.

Настя. Напрасная забота; денег у меня нет... и, кроме того, я беременна!

Никитай *(отскочив)*. Да ну?... от кого?

Настя *(хохоча и кивая в окно)*. Вон, от памятника! Хорош, точно от пороха отскочил. Иди-ка ты вон, Никитайка, надоел.

Никитай. Корова!

Настя. Бб... верблюд!

Пауза.

Никитай. Слушь-ка, Настюшь, а ведь мы с тобой вроде как родня. Ты не примечала, куда отец ключ прячет? От шкапа ключ...

Настя. Ага, значит прямо к делу. И хитер ты, да не очень. А что, об деньгах его соскучился?

Никитай. Да нет, я просто так, для интересу.

Настя. А-а... Может, вон под кошку прячет?

Никитай *(идет, приподымает кошку, она неожиданно пищит)*. Ой... Чорт его знает, какой только дряни ни накупит! Настьк, тут нету!

Настя. Ну, значит съела. Они, бывает, железо грызут. Кошки железо любят.

Никитай. Зря меня обижаешь, и так уж жисть проклинаю. *(Почесываясь)*. Мне без ключа только в могилу итти!

Настя *(раздумчиво)*. А может...

Никитай. Что, что может?..

Настя. Может, он его за щекой носит, ключ-то. Карман прорвется, а щека никогда...

Никитай. Ты у меня дошутишься! *(Дворнику, который вошел.)* Ну, опять за жалованьем? Эка нуда...

2

Дворник. Похлопочи, браток, жалованье-то у папаши. Этто, что ж, и сторожем ночным, и дрова носить, и хозяина скипидаром натирать, и... э, да что там! И в баню неколи сходить.

Никитай. Есть тебе, что ли, нечего?

Дворник. Конешно... человек без еды тридцать пять дён может сушшествовать...

Настя. Никитай, ты действительно скажи отцу. Хлам всякий, клистиры лошадиные покупать деньги есть, а...

Дворник. Очень уж обидно. Главно дело, во всех отраслях действую, а даже бумаги не на что купить, письмо в деревню написать.

Настя. Ну, и дом!.. Пойдем, Григорий, я тебе дам бумаги. *(Уходят вместе, наталкиваются на Анну Петровну)*.

3.

Дворник. Здорово, хозяйка.

Анна Петровна. А, это ты. Плохо сторожишь, Григорий: всю ночь свистят. *(Странным тоном.)* Ты везде обходи ночью-то, везде загляни!

Дворник *(со вздохом)*. Чего уж, ладно уж, загляну везде. *(Ушел.)*

Анна Петровна. Фу, даже глядеть страшно. Чего он летом-то в тулупе ходит?

Никитай *(скромно)*. Холодно, может, ему, вот и ходит в тулупе.

Анна Петровна *(заглянув в лицо ему)*. А ты чудной, Никитайка. С отцом твоим противно, а с тобой страшно. Я боюсь тебя...

Никитай *(пятясь)*. Нашли кого бояться, сироту!

Анна Петровна. А что ж, небось и сирота живая. Нападешь, когда дома нет никого... Григорья за спичками ушлешь, а бабку шалью накроешь, а? Никто и не услышит. *(Тихо.)* Ай, полуживая сирота-то? Ты и веку, Никитай, не прожил, а старей отца стал.

Никитай. Вы вот папашу понять не хотите. Даже и спите с ним порознь...

Анна Петровна. Так ведь он орет по ночам-то, вскакивает... намедни душить меня стал. Помнишь, кричала?

Никитай. Понять его нужно. Заботы у него, налоги. А все людишки, все подлые жала их. Он платит им налоги, платит за свет солнца, за место на земле, за самый воздух, которым мы с вами дышим. Он жмется, а им все тесно, Анна Петровна, людишкам-то!

Анна Петровна. Ты к чему мне все это поешь?

Никитай. ...опять же в синих очках этот допекат. Я и слова не говорю, он веселый, да ведь и шутка-то иной раз с кровью из горла вылетает...

4.

На сцену входит Бададошкин в фартуке, из лавки; Никитай почтительно уступает место.

Бададошкин. Здравствуй, Аннушка... а я тебе гостинку принес.

Анна Петровна. Куда ты, рыбными-то руками... противно ведь.

Бададошкин. А Никитай тебе не противен, Аннушка?

Анна Петровна. Стыдись, ведь тут же бабка сидит...

Бададошкин. Ну, кто на этакое польстится, тот на баушку не посмотрит: повернет баушку к стенке...

Анна Петровна. Спасибо за науку, при случае попробуем... Кусаться скоро станешь?

Бададошкин. И укушу, весь мир покусаю! *(тихо)* Не серчай, лавку у меня нонче опечатали! *(Ушел.)*

5.

Анна Петровна. А ловкий ты, Никитайка. Даже завидки берут!

Никитай. Я по секрету вам, Анна Петровна, скажу: как страдает-то он! Опять же лавку, вот, опечатали. Пока распечатают, пока что — вся рыба потухнет. Рыба не человек: полежит — полежит да и обидится. Опять же налоги, сами по пальцам считайте! Уровнительный — загните пальчик — раз! Промысловый — два. Подоходный — три, патент — четыре. Теперь на другой ручке: квартера — раз, склад с помещеньем — два, свищене — топлене — молодцам жалованье — три... да еще забыл, постойте! *(осторожно идет к двери, внезапно дергает ее на себя: там настороженно стоит Бададошкин)* Что еще забыл то я, папаш?

Бададошкин *(очень кисло)* Соцстрах еще забыл, да.

Анна Петровна. А тебе, Семен, оттуда удобно слушать? А ты сядь, вон, в креслице, а мы тебя в уголок поставим, будто и нет тебя вовсе!..

Бададошкин. Ну, расшутились! Мне переодеться еще!.. *(Закрыл дверь, Анна с любопытством смотрит на Никитая).*

6.

Анна Петровна. А много в тебе этого волчьего семени, Никитайка!

Никитай. Нет, я простой.

Анна Петровна. Дай руку! О чем ты все думаешь? Говори, не бойся. Я сама молодая, я никому не скажу...

Никитай. Отстаньте.

Анна Петровна. А я прошу, ну? Ну, я поцелую тебя тогда... в чем твоя дума?

Никитай. Погодите... *(Берет в руки половичок, который идет под дверь, смаху дергает его на себя.)* Нет, ушел, а то бы грохот был. *(Пауза.)* А дума моя — как бы погулять, в лодке покататься.

Анна Петровна. А ты... *(Посмотрев на него.)* Ой, какой ты все-таки. Ты бы хоть попудрился!

Никитай. Да ведь на пудру денег надо, а папаша жалованье жилит. Не в суд же на него итти.

Анна Петровна. А ты сам возьми, аль не смеешь? *(Кивая на несгораемый шкап.)* Вон деньги, там душа у него заперта...

Никитай *(умильно поглаживая шкап.)* А, может, там пусто? Я раз эдак-то здоровущего карпа вспорол, а там у него, в середке-то, грошик лежит... царской чеканки.

Анна Петровна. Дубина, с карпом сравнил!.. Там золота, он меня третевось дразнил — глаза слепнут. Ведь это сила, сила, Никитайка, злей пороха, через моря бьет. Он и меня бы сюда посадил, да не

той дюжины баба. Слушай, увези меня отсюда, Никитай, а? Я и в ямине не плачу, а в счастьи-то птицей запою. Чем плоха... несытая, нетисканая. Неделю цельную умываться забудешь... *(Раздумчиво.)* Дивишься, самой бы уехать? Денег надо, пока работу найдешь, пока что. Да и даром, что ли, два года я с ним мытарилась? Увези, кисель!

Никитай. Ну, уедем, а жить на что станем?

Анна Петровна. Служить поступишь... ну, я не знаю что.

Никитай. Не возьмут меня, лицо у меня такое, гляньте. Да и сам не хочу. По звонку приходи, по звонку уходи. Позвоночные какие-то! Нет, это нам не подойдет...

Анна Петровна. Торговлишку мала-мала соорудишь.

Никитай. Коператив доходней.

Анна Петровна. Ну, коператив.

Никитай. А денег-то, из волосьев натрясу?

Анна Петровна. Достань... *(Вздрагивая.)* Ой, что это на спине-то у меня... под самой рубашкой. Погляди скорей, не жук ли заполз. Достань, достань скорей... Да ну же, чего уставился?

Никитай *(спокойно)*. Я думаю.

Анна Петровна. Про что же ты думаешь, лососина?

Никитай. Я думаю, что нету там никакого жука... а только так, заманиваете, а потом папаше скажете.

Анна Петровна *(оскорбленно)*. Ну тебя, уходи от меня...

7.

Настя. Ну, вдоволь налюбезничались?

Анна Петровна. Куда ты без стуку входишь?

Настя *(презрительно)*. Там караси к мужу твоему пришли. Сковородка-то готова?

Никитай. Куда они, в позднотy такую. Гони, взашей гони...

8.

Бададошкин *(уже переодетый по-домашнему)*. Кого, кого гнать велишь?

Настя. Караси, говорю, пришли.

Бададошкин. Никого не надо гнать, никогда. И ты не смейся Настюша. Ведь люди, люди, Настюша. Приходят, просят, и я даю им. Птички кушать хотят. Когда бьют, всегда больно. И полено кричит, когда его колят... *(Настя ушла.)* Эка фыркунья, а люблю, люблю ее. Иди, Никитаюшко, посмотри, много ли их. *(Никитай ушел. Жене:)* Чего он тут, вкруг тебя потерял?

Анна Петровна *(насмешливо)*. Да то же, видно, что и ты. *(Серьезно.)* Все уму-разуму учу наследника-то твоего, а ему хоть бы что!

Никитай вернулся; Бададошкин неспешно одевает очки, садится за стол, делает вид, будто пишет.

Бададошкин. Ты, Никитаюшко, слушай мачеху-то, она с головой баба. Ну, много их там?

Никитай. Четверо. Колечко у одной, да с девочкой... та, котора скатерть-то приносила.

Бададошкин. Ну, введи их, гуртом вводи. *(Никитай ушел)* Ты уж ступай, Аннушка, не надрывай сердца. Да и баушку прихвати. Посадь ее там в уголок, дай ей яблочко... *(Анна уходит со старухой.)* Аннушк!..

Анна Петровна. Чего еще тебе?

Бададошкин. Приласкай часом сироту-то. Дурак-то вдвойне сирота!

Анна Петровна *(усмехаясь)*. Ладно, приласкаю ужо...

Ушли, стук в дверь.

Бададошкин. Эй, кто там... входи!

9.

Входят в сопровождении Никитая: старуха в косынке и с девочкой, генерал в перешитой шинели и со свертком, монтер с самоваром и молодая дама. Бададошкин пишет.

Бададошкин *(строго)*. Никитай!

Никитай. Я-с!

Бададошкин. Этово... из Совнаркома мне не звонили?

Никитай. Да покеда нет.

Бададошкин. Тогда сообщи им, что шаланды отправлены. А то звонят целый день, ровно оглашенные какие. А-а, опять собрались, просители! Фу, мурлет-то какой!.. Ну, чего, галдите!

Генерал, старуха, монтер и молодая дама *(хором)*. Ваше степенство, не откажите! Семен Егорыч... Товарищ Бададошкин!..

Бададошкин. *(поучительно)*. Не все сразу галдите, а в очередь. Куда, куда ты мне ево в нос суешь?.. Никитай, расставь. Мадам, присядьте!

Монтер. Вот самовар в заклад принес. Почти новый, не лужен ни разу. Глянь, вот только бок в ем помят.

Бададошкин *(скрипуче)*. В заклад не принимаю. Я покупаю вещи, покупаю их навсегда. А вы, ежели пожелаете, можете их у меня обратно купить... тоже навсегда. Потрудитесь, закройте дверь с той стороны.

Монтер. Да я и продать могу, мне деньги нужны.

Никитай. Мы самоварами не займаемся, вертай.

Бададошкин. Проводи его, Никитай. Только время зря отнимают. Следующий!

Генерал. Хрустальный вазон, ваше степенство.

Бададошкин. Картузик сымите, ваше превосходительство: не в хлеву-с!

Генерал. Извините, голова у меня стынет... *(Снял картуз, разворачивает сверток.)* Хрустальный вазон... с замечательной гранью, обратите внимание!

Бададошкин. Куды ж он мне, твой вазон?

Генерал. Помилуйте, цветы поставить... для красоты.

Бададошкин. Избавьте меня от красоты, ваше превосходительство!

Генерал *(сдержанно волнуясь)*. Очень прошу. Поддержите старого человека в нищете...

Бададошкин *(яростно)*. Расею проюрдонили, а вазоны к нам понесли?.. А петухом вы еще не пели, ваше превосходительство?

Генерал. Старость обижаете, ваша воля.

Бададошкин. Старость-старость... обратитесь к доктору, который омолаживает мужчин. *(Гадливо.)* Никитай, дай ему рупь за вазон, да рупь за старость. Следующий!

Никитай. Папаш, вазон-то с дыркой... он ее пальцем прикрыл. Эх, а еще генерал!

Бададошкин. Следующий, я сказал.

Дама *(скороговоркой)*. У меня вот колечко... посмотрите. *(До локтя подняла рукав, протянула руку.)* И камешек... очень ночью светится, при огне.

Бададошкин *(держа ее руку)*. Приятное, очень приятное колечко. Снять-то его нельзя?

Дама. В том-то и дело, что нельзя снять. Мне его давно подарили... жених. Оно так въелось...

Бададошкин *(игриво)*. Так, вы, что же, вместе с ручкой его продаете?

Дама говорит что-то неразборчивое.

Никитайка, отвернись! Как, как вы сказали?

Дама. Я говорю... я могла бы и вместе. У меня такие обстоятельства...

Бададошкин. Не могу, хе-хе-с!.. Эвось, сын-то орясина какая. Осмеет меня сын и нахлобучку даст. Следующий!

Дама *(Никитаю)*. Может, вы возьмете колечко... я дешево отдам. *(Тихо.)* Берите, не раскаетесь!

Никитай *(почесывая переносье)*. Не займаюсь.

Дама ушла. Старуха сразу становится на колени и толкает на колени же девочку.

Бададошкин. У вас что, мадам?

Старуха. Батюшка, все уж тебе снесла. Ничего боле нету. Девченочке помоги, кушать хочет. Дети-то, ведь они неповинны в грехах наших... Сама работать не могу, пятна в глазах!

Б а д а д о ш к и н. Вещь какая, покажите вещь.

Н и к и т а й *(наклонясь)*. Слышишь?.. вещь!

С т а р у х а. Батюшки, нету. В колидоре с девочкой живу... Катюшей звать. Нянька я ейная была... плелась-плелась к тебе на заставу-то!

Б а д а д о ш к и н. Извините, у самого платежи... векселя просрочены.

С т а р у х а. Что ж мне делать-то теперь? *(В отчаяньи)*. Катька, ползи к нему, проси его... у него все. Он — бог, Катька... он сильней бога!

Б а д а д о ш к и н. Мадам, вы мне портите сапог.

Н и к и т а й. Вытряхайтесь, гражданка.

Б а д а д о ш к и н. Погоди, зачем так грубо: надо сочувствовать. Подыми, подыми ее... проводи! *(Никитай уводит.)* Ох, осподи, даешь-даешь, точно в прорву какую валишь. И часу соснуть не дадут...

Минутная пауза, потом входит б а р и н в синих очках; Б а д а д о ш к и н в страхе пятится.

10.

Б а р и н *(неторопливо протирая синие очки)*. Не пугайся, это я. Бададошкин?

Б а д а д о ш к и н. Кабысь я. А вам чего тута?

Б а р и н *(раздельно)*. Мне..? Я... вещь... принес.

Б а д а д о ш к и н *(после паузы)*. Какая ж ваша вещь, покажите.

Б а р и н. А вещь моя не от мира сего.

Б а д а д о ш к и н. Ага, так-так...

Б а р и н. Теперь гляди мне в лицо, Бададошкин!

Б а д а д о ш к и н. Зачем же мне в лицо... мне в лицо глядеть незачем!

Б а р и н. Ттебе та-ак кажется? *(Надел очки.)* Видишь, я пришел, наконец, и к тебе. Имею слово. Но прежде всего — подкрепиться. Однако не суетись: простая яишница и коньяк. Распорядись пока!..

Б а д а д о ш к и н убежал; к сидящему барину просовываются головы домочадцев.

11.

Б а р и н *(указуя перстом)*... Кто?

А н н а П е т р о в н а. Жена...

Б а р и н. Оч-чень приятно. На гита-аре играете?

А н н а П е т р о в н а. Да нет...

Б а р и н. Та-ак. Ну, а тигру своему изменяете?

А н н а П е т р о в н а. Да не с кем!

А н н а П е т р о в н а исчезла, просунулся Н и к и т а й.

Б а р и н. ...приказчик?

Н и к и т а й *(оторопело)*. Сын-с.

Б а р и н. С чего же у тебя лицо неестественное какое-то? Крадешь, поди?

Никитай. Да нечего...

Барин. Кради... но не забывай и сирых, униженных.

Никитай спрятался, вошла старуха.

Барин. Не нюхай меня, дорогая, я не букет. *(Старуха молчит.)* Строгая старуха, вижу... *(Та проходит мимо.)* Вы, баушка, на которое ухо не слышите?

Никитай *(осторожно входя)*. Они у нас на оба уха ни бе, ни ме. По ветхости здоровья...

Барин. А отчего у тебя ноги пляшут?

Никитай. Должно от робости.

Барин. Ага, мерси, дружок. Ну, на тебе... *(Ищет в карманах.)* На тебе ассигнацию. За смирение получишь особо... Напомни потом.

Прибежал Бададошкин со сковородкой, отворяет буфетный шкап, барин засматривает через плечо.

Бададошкин. Вы сидите, сидите, я подам.

Барин. Ничего, я тебе помогу. Это что там, красное такое? Балык? А ну, дай сюда балык. Балык хорошо при малокровьи. И это тоже поставь туда. Ты, я вижу, мастер обхаживать нужных тебе людей!

Бададошкин. Да ведь ноне истинного человека только во сну и встретишь!

Барин ест, Бададошкин благоговейно присутствует.

Барин *(снимая с кусков незримые пылинки)*. У тебя, брат, волосы какие-то на балыке! Извини, я волос не ем... Ну-ка, налей. Жильца опасного нет поблизости?

Бададошкин. Ушел... всеобщая могила-с!

Барин. А этто что за тетка?

Бададошкин. Не извольте беспокоиться, это мамаша. Из деревни, игра природы-с... Глухая, а что и услышит — не поймет!

Барин *(взглянув поверх очков)*. Симпатичное, кажется, лицо. В них всегда есть что-то такое. Странно, но есть. Овчиной от них эдак несет, березовым веником. Что-то весеннее в них! Так, садись здесь.

Бададошкин. Сел здесь. *(Никитаю.)* Ты, сынок, ступай, проветрись. Я тебя кликну потом.

Никитай. Я бы в уголке...

Барин. Ступай, за погодкой там понаблюдай. *(Никитай ушел.)* Сынок? Ты его берегись, он подозрительный!

Бададошкин. Дураки-то, они всегда подозрительные!

12.

Барин. Нос имеешь?

Бададошкин. Как можно без носу. Рыбку носом распознаю.

Барин. Не хитри, торгаш. Ну, а чуешь, чем пахнет?

Бададошкин. Трупцом будто попахиват... так это у нас от помойки.

Б а р и н. Ты не лишен и острого слова, но не хитри, возненавижу! Ну-ка, налей. Люблю эту марку. Хотя у меня пищевод, мне вредно.

Б а д а д о ш к и н. Ты, барин, выкладай свой товар, чего даром время терять! Я ведь только виду трепаного такого, а так меня матушка без изъяну родила. Ты за мной неделю ходишь. Тень моя, чего жаждешь?

Б а р и н. Странно сказать, но уважаю прямоту твою. Странно, но уважаю. Так вот: все уж поговаривают, только вслух произнести не смеют...

Б а д а д о ш к и н. О чем же это поговаривают-то?

Б а р и н. Ха, да все о том же. О чем ты вчера в бане болтал? Думаешь — гол, так и не слышно? А утром нонче, в лавке?.. ...ха, революция отменяется с такого-то числа? У меня глаза, у меня уши, Бададошкин, я везде. Что-о? Я тебя в руке держу, и пальцы мои безжалостны, Бададошкин!

Б а д а д о ш к и н. Ну-ка, я постучу все-таки. *(Стучит в стенку.)* Сергей Петрович, мне письма не приносили? *(Молчание.)* Ты, барин, колышков-то в дорогу не вколачивай... и так еле бредем! *(Никитаю, который вернулся.)* Ну?

Н и к и т а й *(мрачно)*. Погоду посылали проверить. Погода в самый раз.

Б а р и н. Ага, мерси, дружок! Ну, поди, понаблюдай, пожара нет ли где! *(Никитай ушел.)* Нос ты имеешь, ну а деньги у тебя есть? Молчи, молчи, я уважаю даже твое целомудрие. Странно, но уважаю. Ты ж набит деньгами, как семенами огурец по осени. Но скажи мне, торгаш, что тебе делать с твоими деньгами? Либо повеситься, либо водку пить. Ты же холуй, ты даже не знаешь, какая нога слаще у индюка!

Б а д а д о ш к и н *(ущемленно)*. Там у меня мамаша сидят...

Б а р и н. Пускай, пускай, тебя осудит и мамаша!.. Кстати, обожаю старух; странно, но обожаю. Я и теперь еще люблю... сядешь этак к ней на колени, свернешься в клубок... и мечтаешь, мечтаешь... да! *(Кашлянул.)* Зак-купайте муку!

А н н а П е т р о в н а *(высунувшись в дверь)*. Ой, да для чего ж муку-то?

Б а р и н. Для здоровья, дамочка, для здоровья. *(Внушительно.)* В Тамбове хлеб девяносто рублей пуд. Россия ждет мановения высокого лица. Что будет, что будет!.. Чорт, я, кажется, проговорился?..

Б а д а д о ш к и н. Да нет, нет... вали, барин, все в порядке!

Б а р и н. Не торопись, дабы не оступиться. Я, Грамацкий, предсказываю тебе судьбу. Тебе надо покупать...

Б а д а д о ш к и н. Да ты, барин, хоть кончиком покажи товар-то свой!

Б а р и н. ...да, покупать. Но не это барахло, затмевающее душу, а вещи нетленные ...дома, поместья, титул наконец. *(Смакуя слова.)* Губернатор, государственный контролер, статский советник... Рождаясь сначала, рождаясь в нищете, повитая лохмотьями, родина признательна

іа каждый грош. Прижми ее, прижми ее коленкой, Бададошкин! Дай ей і рост, кинь ей монетку... Чудак, ты под шумок скупишь весь мир, а 'ам — прямая дорога в мировые Бонапарты!!

Бададошкин. Боюсь, барин, боюсь... оно и пахнет, да еще лабо пока пахнет-то!

Барин *(ерзая по всему дивану)*. Я взираю на твою судьбу и хочу ілакать от зависти. Смотри, я уже плачу. Какая карьера! Оперу, скажем, іапишешь. Играйте, скажешь, рабы... рабы и рыбы!!... ты ведь по рыбной асти, кажется? И найдутся, которые станут играть... и найдутся, которые осхвалят, потому что — людишки!

Бададошкин. Людишки, барин... кушать хотят.

Барин. Ха, собакам они дают титул львов, а на тигров надевают шейники. Где, где человечество, ответь мне, тигр! Я вижу только виляюіее чрево, вооруженное парой жадных рук. Где же люди-то, торгаш?

Бададошкин *(тыча себя в грудь)*. Они тут, тут... не извольте адрываться!

Барин. Э, да что оперу... ты же реквием напишешь, реквием :ему миру. Чорт, у тебя кстати и строенье глаза музыкальное!

Бададошкин. Музыкальное, говоришь?.. Постой, так ты вот чем! Барин, я ждал тебя, как камень ждет дождя. Я тебя, барин, ночами эичал... У меня, барин, душа заржавела, никакими ключами не отпереть :, а ты уже там... Я верить перестал и проклял, а ты ее вновь оживил?.. е береди Бададошкина, барин. Ты — чорт, барин, чорт...

Барин *(наливает)*. Выпей-ка, вот, для ясности. *(Воспламеняясь.)* твоими деньгами такой гранпасьянс можно закатить, что зола с небес эсыпется. Ты открываешь, скажем, кафешантан; ты воздвигаешь себе імятники; в твою честь переименуют улицы. Проспект, скажем... как бя зовут?

Бададошкин. Семен Егорыч.

Барин. ...проспект Симеона Бададошкина. И на углу памятник, т как ты счас сидишь, только погрустнее... погрустнее, торгаш. Велие всегда грустно!.. Симеона?.. Ха, это почти гремит, — сим победиши, і их под ноготь, с нами бог!!. Ты самую Россию покупаешь за четвертак... в переносном смысле, разумеется. Ты ее покупаешь и устраиваешь ромный банк. Ноги твои греются на Черном море, а голову охлаждает ідовитый океан. Англия юлит перед тобою... Францию ты кормишь из ілетного кармана, Испания... э, Испания просто так!.. Нет, я не чорт, просто страдающий Грамацкий. Я ношу отребья шута, таскаю эту иотскую пелеринку... потому что они, они великодушны, только когда ıеваются! Гляди мне в лицо, Бададошкин: ты будешь... *(Никитаю, торый сунулся в дверь.)* Пшшол!.. Ты будешь Минин наших дней.

Пауза.

Бададошкин. Сплю, сплю, и разбудить некому. Ладно, я— інин, а тебе-то какой барыш?..

Барин. Со временем... со временем я буду Пожарский. *(Встал, шатается.)* Фу, никак ноги отсидел?.. Чего смотришь? Ну, беги, беги, предавай меня. Тебе дадут двугривенный, и ты положишь его на дно громадного сундука. Ползи на чреве, тебе двугривенный дадут, он тебе души дороже...

Бададошкин. Нет, я людей чту. Я истинных людей очень чту. *(Пауза, с томлением.)* Слушь, баринок, а какая нога все-таки слаще-то у индюка?

Барин *(смеясь)*. Чудак, — та, на которой он спит, явно жестче... сообразил? Ну, то-то. Мне пора, меня ждут клиенты. Надо еще Крутилина этого навестить. Только ты в диване пружину подвяжи, такого стрекача дает... неловко. *(Одевается.)* А то беги, я подожду, а?.. *(Пауза.)* Я тебе завтра и привез бы самого, с ним и решай. Мое дело сторона, но постарайся ему понравиться: важный старик. Ну, как, решил?

Бададошкин. Сердце велит, барин. *(С дрожью.)* Скажи только, а ты не прохвост?

Барин. Ну, вот еще! *(Помахал рукой, ушел.)*

13.

(Вошли Анна Петровна и Никитай.)

Анна Петровна *(враждебно)*. Столковались?.. Объегорит он тебя, высосет и дудку пустую оставит. Играй тоды в дудку-то!

Бададошкин. Молчи, молчи... Вот пальму полей, почему растения не полита?

Анна Петровна. Да и пальмешка-то дохлая.

Никитай. Гнали бы вы жулика-т, папаш. Уж больно доверчивы стали.

Бададошкин. Не вопи, дуборос. Ты мне этого баринка береги покеда. Он Расею продает...

Никитай. Расея, папаш, не гардероб!

Бададошкин. Милый, ежели от Расеи-то и крылышко достанется, и то по конец веков хватит. У ней, милый, и крылышко сытное, так-то! *(Стукнув его пальцем в лоб.)* Ну, чего примолк?

Никитай. Я, папаш, думаю.

Бададошкин. Не думать, не думать, а спать пора. *(Сел.)* Вот даже и газету некогда почитать. *(Развернул, смотрит объявления.)* Машинка швейная... колыбелька... молодой сан-бернар... умывальник подержанный... Ничего существенного не продается. Скушные стали нонче газеты! *(Откинул газету.)* Ну, марш, марш по конуркам. Эй, погоди, шкаф завтра с дворником в спальню перетащить, а то ходят все ночью-то. Влезут еще вон по фонарю... Пойдем и мы, мать!

(Все расходятся, хозяин тушит свет. Некоторое время полумрак, потом к двери Анны Петровны идет Григорий; одновременно со свечкой входит Никитай.)

14.

Никитай. *(Хватая его.)* Куда, чорт?

Григорий. Пусти, задушишь... сама велела притти. Вот и ключ дала...

Никитай. Катись отсюда... и чтоб дыханья твоего сюда не просочилось! *(С грохотом отталкивает его, Григорий пятится в дверь, Никитай входит к Анне Петровне.)*

15.

Бададошкин. *(Вбегая и таща за руку мать).* Слышь, здесь ходят, мать. *(Держась за грудь.)* Упало... вот так упадет когда-нибудь, и уж не подымешь!.. *(Осматривает шкаф.)* Нет, цело... причудилось. Присядь, мамаша. Вот точно так же сорок лет трясусь за это железо. *(Шум.)* Стой опять, сиди тихо, мать! *(С железной линейкой обходит комнату; от малого света, зажженного над шкафом, двигается по вещам огромная тень. Шаги. Бададошкин прячется.)*

16.

Настя. *(Коротневу).* Иди сюда, здесь никого нет.

Коротнев. Неудобно, Настьк, перед ребятами. Зазвал, а сам ушел.

Настя. Я хочу говорить с тобой.

Коротнев. Говорить и там можно. Ну, я пошел...

Настя. Сядь.

Коротнев. Ничего, я постою. *(Насвистывает.)*

Настя. Сядь, сказала. Ты уезжаешь?.. рвать со мной хочешь?

Коротнев. Да... меня перекидывают на другую работу. И кроме того есть тому добавочные обстоятельства...

Настя. Перестань свистеть... Ты, может, познакомишь меня с добавочными обстоятельствами?..

Коротнев. *(Читает вполголоса.)*

Тебя помиловали, скаред, и мор, и голод, и чека.
И вот теперь судьба мне дарит любимицу ростовщика...

Настя *(с холодком.)* Это ты за последнюю неделю написал? *(Со слезами.)* Любимица!.. Ты видел, где я сплю?.. где я сплю, ты видел? Думаешь, мне самой нравится посреди всех этих... катафалков!

Коротнев. Ну, вот уж и обиделась... Настя, ты обиделась?

Настя. Уезжай, ладно.

Коротнев. Куда же я один поеду!.. *(Пауза.)* Насть, погляди, таракан-то какой ползет!..

Настя. Уезжай, стихотворец.

Коротнев. Чорт, посылал я к нему монтера знакомого с самоваром, да он разнюхал. Противно мне тут... и за тебя обидно. Год еще пройдет и сама, как паучиха, станешь. Настя?.. таракан-то убежит!

Настя. Пускай бежит.

Коротнев. Слушай, поедем со мной, а? Там арбузы во какие ростут... посмотри!

Настя. *(Оглянувшись.)* Вот и врешь, таких не бывает!

Коротков. Ну, и баста. Ты жена мне и едешь со мной...

17.

Бададошкин *(выскакивая из своего укрытия)*. Ты... с ним, с этим, блохастым? Али хлеб мой надоело жевать!... Для него хранил я тебя, Настюша?

Настя. А что, жениха с фирмой хотели отыскать?

Бададошкин. Не с фирмой, а чтоб хоть штаны-то цельные были... Ну, здравствуй, кавалер. На музыку не пробовал стишков-то положить?.. под гитару бы да по пивным, а она подпевать будет. Лим-бам-бом, а?

Коротнев. Я, Насть, пойду, а то, пожалуй, стукну я его слегка...

Бададошкин *(заступая ему дорогу)*. Погодь, парень, не трусь Бададошкина!

Коротнев. Не поймал я тебя, жаль. Большой хоть процент-то берешь?

Бададошкин. Не обижай до времени, зятек!.. Не охота мне Настюшку под тебя кидать. С Никитаем я ее хотел в жизнь пустить... Э, да и порченая-то все же своя, от плоти Аннушкиной, вот только рыженькая. Привык я к ней, дорого мне девчоночка эта стоит.

Настя. Заработать хочешь на нем? Смотри, на нем не заработаешь!

Бададошкин. Ему заработать даю. Слушь, сколько отступного тебе вместе со стишком, а? Я всякое покупаю, мне все годится в обиходе жизни...

Настя. Пойдем, Сергей, мне надоело.

Бададошкин. Эй, тыщу на воздушный шар пожертвую.

Коротнев. Резвый ты стал, Бададошкин... где-то сядешь?..

Бададошкин *(кричит вдогонку)*. Торгуйся, я накину! *(Коротнев и Настя ушли.)* Не резвый, а смешливый я, мать. Ха, море бушует, скалится, а я смеюсь... я на все смеюсь, я смешливый, не в тебя. *(Шум у Анны Петровны.)* Стой, с кем она там!.. Аннушка, ты спишь? Ишь, сквозь сон смеется. Ты спи, Аннушка, спи!.. Я все слышу, мать, все знаю. Червь в земле ползет, мрак грызет, а я слышу. *(Отпирает шкаф, достает пригоршню золота)*. Гляди, вот он, мой смех. Это камни, настоящие камни, мать... они греют душу. Дай ладонь, слышишь?.. Эту брошь я купил у барыньки одной. Ее высылали, даром отдала и руки вдобавок лизала... Я не люблю, когда мне лижут руки; это значит — еще больше получить хотят. А вот цепь! На нее прикуй великана, мать, и он не перекусит ее. Я купил ее в Самаре. Там шли большие расстрелы, полковничек один орудовал... *(с новым смехом)*, а когда полковничек

попался, я купил у его жены часы вот эти, мать. Они не тикают, они разговаривают... там две барышни сидят и одна старушка.... слышишь?.. старушка сердится. Все это вези с собой, мать, прячь. Зарой его в землю, мой смех: он не гниет, мы посмеемся. О, как мы посмеемся, мать. А чем я был тогда, сорок восемь лет назад?.. пастух, прыщ на дырке!.. Но времена плывут, в них отражаются судьбы... Мы еще поживем, и как мы поживем, мать!.. *(Мечтание: Бададошкин внезапно преображается. Он в мундире своеличной выдумки; грудь, украшенную орденами, устилает борода; на ногах зеленые сапоги с перламутровыми шпорами. Домна Ивановна мнится ему в парчевом платьи, на шее у нее огромная брошь, в которую вделан исполинский камень, похожий на леденец. В комнате, обставленной с комической, но правдоподобной пышностью, вырастают колонны и фикусы; мебель сверкает позолотой. Неслышные лакеи вносят свечи, которые тухнут по мере прохождения сцены. Внятна лишь речь самого Бададошкина и его матери, остальные говорят беззвучно.)* Чего-й то мне сапог малость теснит?.. Дайте мне другой сапог на ту же ногу! *(Выбирает один из десятка принесенных.)* Теперича дайте мне цыгарку. Мамаш, грозен я в таком виде, аль не грозен?

Д о м н а И в а н н а. Уж на что пуганая, а и то мурашки бегут.

Б а д а д о ш к и н. Это хорошо, страх — это полезно. Да чего вы все киснете, мамаш?.. Хотите — чай пейте, либо к обедне поезжайте. *(Лакей докладывает ему что-то.)* Чего ему?.. а, в гости? Ладно, впустите сюда графа Крутилина! *(Вошел в сверхестественном наряде Крутилин.)* Кум, душа моя... садись, цыгару хошь?.. Ну, чем же мне тогда тебя... Эй, попрыскайте духами графа Крутилина. *(Прыскают.)* И меня тоже слегка. *(Прыскают.)* И мамашу за компанию! *(Попрыскали и мамашу.)* Ну, как, брат, у тебя в губернии? Произростает?.. Эге, это хорошо, пущай произростает. А я, брат, надысь фининспектора своего поймал. Уж я ево... долго я ево ласкал. Нонче в башне сидит, а на башне замок, а у замка солдат с усами. *(Домне Иванне.)* Мамаш, а то, может, вы замуж хотите? Осподи, вы не стесняйтесь. В нашем-то положении хочь за китайского посла! Эй, позвать сюда управителя. *(Является управитель.)* Эй, кликни сюда главного министра! *(Является министр).* Позови-ка, дружок, китайского посла на минутку! *(Является китайский посол.)* Вот он, кум, гляди на нево! Эй, бери мамашу замуж... Ухаживай сперва, дубина, а потом бери. Букет ей, что ли, подари!.. ...ка нация!

Д о м н а И в а н н а. Староват будто жених-то!

Б а д а д о ш к и н. Эй, помолодить китайского посла!.. Тройку им с бубенцами! Дворец им!.. *(Кричит в полном самозабвении.)* Прыскайте их духами... Прокофий, лошадей!...

Свечи потухли, все приходит в прежний вид. Отовсюду сбегаются домочадцы.

Анна Петровна. Чего он орет-то, спятил, что ли?

Никитай. Воды, воды папаше!..

Все склоняются над Бададошкиным, дуют на него, машут платками, прыскают водой.

Занавес.

АКТ ТРЕТИЙ.

Спальня Анны Петровны, загроможденная шкапами гипертрофических размеров. В стороне огромная кровать, на авансцене столик с радио. Полуодетая Анна Петровна причесывает волосы перед большим овальным зеркалом. В кресле неподвижно сидит старуха.

1.

Анна Петровна. Что и поделать мне с волосьями-то, не придумаю. Хлещут — и не умешь никак. А вот за границей, баушк, стригут волосья-то. Баба, а под бобрика за милую душу щеголяет. Тоже и броют, говорят, а на плешь картинку нарисуют... цветок там какой аль барашка. *(Напевает.)* Бабка, ты ведь глухая... тебе все равно. Ну, и внучек у тебя. Сожмет — душу выдавит напрочь. А чудно — любовь. И что это такое любовь!.. И никто не знает. *(Смеется.)* Ночью-то вчера, в грозу-то, говорят, столб электрический взорвался!

Настя *(вошла уже одетая)*. Можно к тебе?

Анна Петровна. Ты одна?.. Входи. Собралась?

Настя. Еду. Проститься зашла. И потом передай вот пожалуста эту брошку ему... ну, мужу своему. Он мне подарил в прошлый месяц. Мне больше не надо...

Анна Петровна. Ладно. *(Напевает.)*

Настя. Там еще колечко было...

Анна Петровна. С бирюзой, что ли?

Настя. Да. Я его отдала.

Анна Петровна. Поносить, что ли, кому дала?

Настя. Нет... Там у нас сбор был, я и отдала.

Анна Петровна. Ну и дурена! Кольцо пищи не просит, а скучно станет — надела бы, оно бы и отошло. *(Смеется.)*

Настя. О чем ты?

Анна Петровна. А что, завидно?.. Столб-то давешний.. Смешно очень. А вдруг стоят они стоят, да и почнут друг за дружкой взрываться! Треску что будет!

Настя *(присматриваясь)*. Лекарство, что ль, от тоски нашла?

Анна Петровна. Известно, со счастья люди поют.

Настя *(дружески)*. Ты, Анна, и с Никитаем-то не заживайся. Людей в мире много кроме волков.

Анна Петровна. Э, мне бы отсюда-то вырваться! Ты счас уезжаешь? *(Всплакнув.)* Ну, прощай, сестра ведь... *(Обнялись.)* А меня, Настьк, не взяла бы с собой, а? Я бы и оделась порваней... у меня прачкин капот есть.

Настя. Не знаю, Анка, неудобно...

2.

Никитай *(который давно стоял у двери)*. Поезжай, Настьк, отправляйся. Никуда она не поедет... *(Настя уходит.)* Не видишь разве, она стыдится нас.

Анна Петровна *(тихо)*. Куда ты, грешник? Видишь — раздета сижу.

Никитай. Ничего , я не смотрю.

Анна Петровна. А не совестно тебе отцовскую жену любить, а? Не грешно?.. Вон, спроси бабаку. Она у смертных-то ворот не станет врать...

Никитай. Осторожно ты... услышат.

Анна Петровна. А вот не хочу, чтоб осторожно. Вот стану на подоконник — да и закричу. Чего мне удачу мою скрывать!

Никитай *(зажимая ей рот)*. Молчи... глупая.

Анна Петровна. Пусти... *(Освободясь.)* А ты и в самом деле подумал — закричу? Да разве об этом кричат!.. Дай-ка платок, знобит меня.

Никитай. Теперь от другого знобит, от ожиданья. Ты приготовься заране, извозчика найми. Я уж и билеты взял...

Анна Петровна. Какие билеты?.. Ошалел, что ли?

Никитай. Зачем шалеть: погода прохладная, билеты — ехать. Я нонче либо выше всех вознесусь, либо о земь брякнусь...

Анна Петровна *(тихо)*. ...куда ехать? *(Приняв признанье Никитая за шутку.)* Пусти, кисель!.. Ты еще меня попроси, — может, я с тобой и не поеду. Может, я его люблю, отца, а ? *(Снова расчесывает волосы, упавшие на лицо.)* Может, я толстых люблю... и чтоб борода, и чтоб тараканы в бороде?.. Ну, чего замолкнул?

Никитай. Я думаю.

Входит неслышно Бададошкин. Никитай быстро исчезает.

3.

Анна Петровна. О чем же ты думаешь, Никитай?

Бададошкин *(гладя ее волосы)*. Славные, славные!..

Анна Петровна *(растерянно)*. А... а где же...

Бададошкин. Услал я его, шкап ему надо еще перенести. Давай, помогу тебе...

Анна Петровна. Отойди. Что ж твои-то не едут?

Б а д а д о ш к и н. Приедут!.. Холодна ты стала, Аннушк. Все молчишь, точно гиря на весах сидишь. Присядь, посоветуй что-нибудь.

А н н а П е т р о в н а. Чего ж тебе советовать, ты и сам жох.

Б а д а д о ш к и н. А все-таки... как мне жить, что пить, где деньги копить.

А н н а П е т р о в н а *(уйдя за ширму одеваться)*. Сон мне нынче. Будто восхожу я на небо, и везде там ситцем торгуют. Все ситец, ситец... И вдруг из-за уголышка выбегает ко мне...

Б а д а д о ш к и н *(перебивая)*. И сон-то у тебя все куриный. Это от скуки. Вот, погоди, куплю себе вышний чин, — и тебе дела прорва будет. Одни букеты считать. *(Перед зеркалом.)* Иные говорят, что я толстый, а я ничего себе. Плох, скажешь? Меня нарядить...

А н н а П е т р о в н а. И покойников убирают. Такие, быват, красавцы лежат...

Б а д а д о ш к и н. ...бородку ежели в конус пустить, а лик-то поутюжить. Ну, чего не смотришь, чего в душе хоронишь? Все имеешь, чего еще тебе надо?

А н н а П е т р о в н а *(вышла из-за ширмы, в лицо ему)*. Любови хочу.

Б а д а д о ш к и н *(в упор)*. С Никитаем застану — зарублю. Так обоих в кровати и зарублю.

А н н а П е т р о в н а. Закуют Бададошкина, и золото твое зря повянет. Уж и надоел ты мне с Никитаем своим. Хоть бы руки мыть его научил!

Б а д а д о ш к и н *(смягчаясь)*. Не серчай, Аннушк, на сироту. За сирот бог воздаст!

В дверь, сгибаясь под тяжестью, Н и к и т а й с д в о р н и к о м вносят несгораемый шкап.

4.

Н и к и т а й. На себя, на себя заноси...

Д в о р н и к. Уф, не иначе как горе людско перетаскивам.

Б а д а д о ш к и н. Ну, помалкивай. Поди-ка, подставку под шкап-то притащи... *(Дворник ушел. Никитаю.)* Чего там за грохот ночью был?

Н и к и т а й *(смущенно и утирая пот со лба)*. Этово... стол на кошку упал.

Б а д а д о ш к и н. Пьяный, что ли, аль повздорили?

Н и к и т а й. Куда ставить-то, сюда, что ли?

Д в о р н и к *(войдя)*. Я... я, хозяин...

Б а д а д о ш к и н. Опять насчет жалованья? В деревне-то не наголодался?

Д в о р н и к *(храбрясь)*. Не, а я хочу сказать, отчего ночью грохот-то был.

Никитай *(перебивая его)*. Да, вот еще не забыть бы, папаш. Дверь железом обшить. *(Пристально взглянув на дворника.)* А то на соседнем дворе человека зарезали, вот сюда прямо...

Бададошкин. Слесаря завтра позвать. *(Дворнику.)* Откуда же грохот? Стол, что ли, упал?

Дворник. Стол-с.

Бададошкин. На кошку?

Дворник. На ее-с.

Анна Петровна. Да гони ты их вон... до чего надоели!

Звонок, Никитай бежит отпирать, быстро возвращается.

Никитай. Приехали... Папаш, что же это! Он мне двугривенный дал. За чистого холуя хожу...

Бададошкин. Копи, копи... и я так же начинал, дурачинка.

5.

Барин. Привет, привет... Э, беспорядок какой у вас! Приберитесь, приберитесь скорей .. Там он сам раздевается. Я уж все обговорил. *(Никитай и Анна Петровна спешно приводят комнату в порядок.)* Как по маслу! Кстати, я гармониста пригласил, чтоб заглушить заседание. Понимаете, в отношении лишних ушей.

Бададошкин. Оборотистый ты, баринок. С тобой не пропадешь...

Барин. Только, создателя ради, поаккуратней с ним. Он такой щепетильный, львиная порода, понимаешь?.. голубой жилы человек... И потом родня, высокая родня...

Бададошкин. Брат, что ли?

Барин. Н-нет, но вроде дяди. Пойдем встретить, пойдем. *(Ушли.)*

6.

Никитай *(Анне Петровне)*. Ты, Аннушк, за дверью встань, как хлопну, так входи.

Анна Петровна. Ой, боязно, Никитаюшка!

Никитай. А ты зажмурься, коли страшно...

Расходятся в разные двери; Анна Петровна наталкивается на князя, ведомого барином и Бададошкиным.

7.

Бададошкин *(князю)*. Об коврик не оступитесь, ваша светлость. Ножка треснут, станут хроменькие...

Князь *(заглядевшись на Анну)*. Да вы пустите меня, я не сбегу!

Бададошкин. Помилуйте, ваша светлость!.. пожалуйте сюда сесть.

Барин. Ну, вы займите пока гостя, а я мамашу уведу. Баушк, пойдемте куда-нибудь туда. *(Взял под руку.)* У меня тоже мамаша есть... странно, но есть. И тоже во всякую чертовщинку верит, и кряхтит тоже... Вот я вас познакомлю, вы станете там вместе... ковры там вышивать, кофе пить... *(Увел.)*

8.

Бададошкин. Вам от окошечка, ваша светлость, не надует?

Князь. От окошка? Нет, бла-адарю. *(Пауза)*. Э, кто такая?

Бададошкин. А то я могу закрыть, а?

Князь. Закрыть. А?.. Почему? Нет, бла-адарю.

Бададошкин. Хм, большое дело затеваете, ваша светлость!

Князь. Да, порядочное.

Бададошкин. Великое!

Князь. Да... значительное.

Бададошкин. Шикарная жисть будет. *(Кричит.)* Прокофий, лошадей!! *(Князь напуган.)* Э, не пугайтесь, ваша светлость! Я пошутил...

Князь. Да, да, ты шутник. Бла-адарю. *(Оба смеются.)* Эта бабочка... очень приятная. Я люблю приятных. Я вообще люблю.

Бададошкин. Флюсик бы вам от окошка не нагнало!

Князь. Э, нет, бла-адарю. Небось у нее сто любовников... и сам, поди, ударяешь!

Бададошкин *(конфузливо)*. Помилуйте... Я уж одной ногой тово... да, тово.

Князь. Вот я ее у тебя отобью. Я у нее сто первым буду! Хе, а тебя позову да за дверью с ружьем поставлю...

Бададошкин *(пугливо)*. Она вся в родинках, ваша светлость.

Князь. Э, ничего, я люблю родинки

Бададошкин. У нее глисты, ваша светлость!

Князь. Э, ничего, я люблю глисты... *(Внезапно напыжась.)* Э, не хами, братец, не хами!

9.

Барин. А вот и остальные. Пожалуйте, проходите... Принимайте, хозяин.

Входят: Багдад, Крутилин, Варгушев и щуплый гражданин, у которого поминутно спадает пенсне и развязывается ботинок.

Бададошкин. А, Варгушев!.. и тебя, видно, баринок-то соблазнил.

Варгушев. Все там будем.

Барин. В строгой очереди знакомьтесь с князем. *(Щуплому.)* Одерните пиджак, чорт возьми! *(Князю.)* А вы постарайтесь говорить баритоном. Князь, а чорт знает, каким местом разговариваете.

Князь *(покорно)*. Да-да, я баритоном. Бла-адарю.

Б а г д а д *(весело)*. Здравия желаю, ваш-сиясь.

К н я з ь. Ты, как видно, из солдат, братец?

Б а г д а д. Так точно. В сорок осьмом Сибирском, на Карпатах... А потом, как нашего брата отэда шарахнули... Ведь все измена. Мы даже и песню склали. *(Уставляет руку в бок, запевает:)*

Вы-ысоки Арпатски горы...

Б а р и н. Очень хорошо, и голос неплохой. Ну-ну, сядь вон там...

К н я з ь. Сядь пока.

К р у т и л и н. Рекомендуюсь. Крутилин, Фока Матвеев.

Г р а ж д а н и н. Меня зовут странно, но не удивляйтесь. Серафим Петрович Вошкин! *(Протягивает руку, но ее вместо князя перехватывает барин и отводит его в сторону.)*

К н я з ь. Чудак какой!

В а р г у ш е в молча кланяется.

Б а р и н. Вот и прекрасно. Дай-ка спичечку, братец. Эй, кликните там гармониста с лестницы. Совершенно свой человек...

Б а д а д о ш к и н. Никитай, гармониста!

Г о л о с Н и к и т а я. Гармони-ист!..

Вошел г а р м о н и с т с папироской.

Б а р и н. Сядь, дружок, здесь. Как нажму — играй, разное играй. Ну, прошу размещаться, господа. Надеюсь, в этой пятерке все перезнакомились? Князь, разрешите кр)хотное вступленьице для новичков?

К н я з ь *(тенорком)*. Прошу. *(Басом)* Бла-адарю.

Б а р и н. Гасспада!!. *(Гармонист яростно играет, оратор жестикулирует. Когда гармонист играет тише, прорываются его возгласы.)* Надо же когда-нибудь осмелиться... газеты читайте, газеты!.. крестьянская стихия гудит... Мы решили пожертвовать Кремлем! *(Гармонный грохот, гармонист даже подпевает себе.)* Оставить им красные флаги, советы, выборы... пение развивает грудь, а нам нужна здоровая нация.. способная к победам... *(Щуплый одиноко аплодирует.)* В Твери, в Казани, в Семипалатинске... приветствуют зарю... *(гармонист играет.)*

Б а г д а д. Зарю-то какую?

Щ у п л ы й. Не мешайте...

Б а р и н. ...ветер попутный дует... Смело поднимайте парус... море глупо, даже когда грозно... лбам нужен пол, в который биться. За нами — планета!

Б а г д а д. Какая, какая планета?

Щ у п л ы й. Да не мешайте же сосредоточиться!

Г а р м о н и с т играет, б а р и н переходит на шопот с задыханиями.

Б а р и н. Мы приветствуем вас, достойные наследники нижегородского купца. Мы приветствуем вас, как протоплазму...

К р у т и л и н. Деньги-то кому вносить?

Барин. Да погодите вы с деньгами!.. Имеющие высказаться? Нет? Очень хорошо. Единодушие — залог всеобщего успеха. Итак, позвольте перейти к делу. Деньги вносите его светлости... Не спешите, граждане: Россия велика, всем хватит. *(Щуплому.)* Да что вы все гнетесь?.. лезьте под стол и сидите там!

Щуплый. У меня... у меня ботинок развязывается.

Барин *(кричит)*. Так завяжите его!! *(Крутилину.)* Ну, что же вам угодно было бы получить в том недалеком и светлом будущем, когда, по слову апостола, произойдет обличение вещей невидимых?

Крутилин *(роясь за пазухой.)*. Я... я вот тут на бумажке написал, а то самому как-то неловко. Извольте ознакомиться!

Князь. А ну, дай сюда. *(Читает, удивленно поднял брови.)* Что-о? Что он написал? Архимандрита? Да ты, любезный, в своем уме?

Крутилин. Не извольте сомневаться, семью семь сорок девять.

Князь *(не замечая знаков барина)*. Так ведь архимандрит лицо духовное!

Крутилин. Каб я в кредит, а то я наличными плачу. *(Пауза.)* Я с детства пристрастье к сему делу имел, да папаша подгадил, по торговой отрасли пустил.

Князь *(барину)*. У него в бороде лапша какая-то!

Крутилин. Лапшу вымем.

Барин. Ничего, соглашайтесь, князь. Он подучится, ведь не завтра же. Сколько?.. Я помечу. А, у вас в пакетике? Оч-чень хорошо. Да, позволь... чем до революции занимался?

Крутилин. Торговал. Как омнаковенно.

Барин *(помечая что-то)*. Торговал, так... оч-чень хорошо. Да, но ты запомни: ты должен духовно просиять. Ты поведешь свою паству туда, к немысленному солнцу!

Крутилин. Квитанцию бы мне.

Барин. Ну, какая же, братец, квитанция на архимандрита! Ты умно выбрал, каналья, сознаюсь. Странно, но сознаюсь. Только лавку-то тебе придется закрыть... или, еще лучше, на жену переведи. Ты меня понимаешь? Ну-ка, отойдите в сторонку пока, ваше преподобие. *(Варгушеву.)* Вам чего прикажете? Чин?

Варгушев *(горько)*. Что ты мне предлагаешь! Мне не надо ничего, даже спасиба твоего не надо. Мне павлинье перо не к лицу, барин. Я так дам, от сердца. Дашь медаль — скажу мерси. *(Дает и садится.)*

Барин. Бла-ародно, оч-чень знаменательно. Вы слышите, князь? Потомки оценят. Потомкам и делать будет нечего, кроме как оценивать благородство предков!.. Браво! *(Багдаду.)* А вы как это дело обдумали?

Багдад. Мне то уж что, не доживу поди. Рак, говорят, у меня.

Князь. Какой же, братец, у солдата. рак Застудил, верно!

Багдад. Никак нет, чую, шевелится, рак. А вот парнища у меня ростет, тринадцатый годок...

Барин *(князю)*. Оч-чень, знаете, даровитый такой брыкун. Так что же именно вы хотели бы для своего паренька?

Багдад. Да где уж потепле. *(Робко.)* В околодочные бы, если дозволите!

Князь. Какая простота!..

Барин. ...и мудрость, князь, мудрость! *(Щедро.)* Желай больше!

Крутилин. Дом проси, в Охотном ряду дом!

Багдад. Да чего ж больше-то... *(Долго думает.)* Не, давай уж в околодочные!

Барин. Ну, как угодно. Околодочные бывают и из людей. Князь, примите пожертвование. *(Поучительно Багдаду.)* Но только ты ему внуши, парнишке своему... не вели сразу-то хапать. Постепенно приучай, с выдержкой. До кожи стриги, а кожи не трогай!

Багдад. Уж доверия не омману, в самый раз потрафлю. Эх, чья очередь-то за мной?

Щуплый *(суча ногами)*. Именьице бы мне, с прудом. И чтоб карпы в пруду. Карпы — восхитительно. В закат, знаете, выйдешь к лознячку, а они и плывут, золотые, сердитые. Ситничка ему кинешь в воду, а он и жует, щекастый, как свинья...

Барин. Не сучи ногами.

Князь. Ну, карпов сам разведешь. Карпов придется заново.

Барин. Деньги давай сюда и быстро!

Щуплый. Деньги я счас... *(Ищет.)* А то все деньги на театры да на портвейн уходят, так и не купишь ничего. *(Все ищет.)* Да и в театрах-то нынче все только стреляют... так и сидишь точно после затрещины. *(Все ищет.)* Хорошенькое я одно именьице присмотрел, на Оке, да от станции далеко. Да где же деньги-то у меня? Ах, вот, оказывается в кулаке!

Князь. Однако что же он дает?

Барин. Покажите! *(Щуплому.)* Послушайте, вы мало даете!

Щуплый. Да мне немного и надо: если и пропадут, мне не жалко. А то можно и без усадьбы, я сам построюсь...

Варгушев *(ехидно)*. Вы ему дайте леску, он сам построится!

Барин. Вот казус!.. *(Махнув рукой.)* Ладно, чорт с ним, берите, князь! *(Щуплому.)* В Якутской бы губернии тебе именьице. Эх, стараешься-стараешься, а кто оценит? Аукционист при России, скажут... не обидно, а? *(Бададошкину.)* Ну, вы наверно такое придумали, что все только ахнут.

Бададошкин. Все думаю, как бы поскладней.

Барин. Выбирайте, время терпит. Губернатора-то, как же, отдумали?

Бададошкин. Да ведь стрелять будут!

Барин. Губернатор, конечно, опасно. А предводитель дворянства, например... как вам нравится? Очень почетно.

Князь *(поспешно)*. ...но вы же сами говорили, что он ростовщик?

Барин. Ну, так тогда только дворянам будет в рост давать... что из того!.. Как же, наконец? Можно бы, пожалуй, и в камергеры, но, предупреждаю, хлопотливо. Придется подтянуться, постричься и живот, живот долой. А то приятно... челядь этак суетится, карета, мундир, приемы... Чорт, может мы еще и опахала заведем! На камергеров у меня большой спрос...

Бададошкин *(жадно)*. А еще там выше-то что?

Барин. Выше?.. Ну, архирей, тайный советник. Тебе тайный-то к лицу, ты и подпух малость. Фельдмаршал наконец.

Бададошкин. Барин, а фермаршалу ордена положены?

Барин. За ордена особая доплата, разумеется!

10.

Бададошкин. Во, нашел... голова-то ровно картонная стала. Помочи-ка мне башку, кум. Теперь Никитаю... *(Кричит.)* Эй, Никитай! *(Вошел Никитай.)* Вот оно, племя мое... Ну, вали, чего хочешь, проси... даю.

Никитай *(осторожно)*. Я жизнию своею доволен, папаша. Мне ничего... гребеночка вот только у меня сломалась.

Бададошкин. Ха, гребеночку дураку!.. *(Упоенно.)* Ему городок запиши небольшой, чтоб сидел там и правил помаленьку и посреди полной тишины... без налогов, без жильцов. И пускай все тебя обожают, и ты тоже всех обожай! Осподи!.. Никитай, бери Калугу!!.

Никитай. На что мне Калуга, папаш? Из Калуги штей не сваришь.

Бададошкин. Бери, правь и властвуй... Ты — семя зрелое, чего тебе на ветхом будыле торчать. Настька меня покинула, все тебе! Мы с тобой-то что, а?.. Мы поперек всей Расеи вывеску наколотим: Бададошкин с сыном, а? Мы все скрутим... бери Калугу!

Багдад. Не ломайся, бери!

Крутилин. Не задярживай!

Никитай *(потупясь)*. Что ж, я из отцовской воли не выхожу...

Бададошкин. Эй, гармонист... играй теперь в нашу честь, что-нибудь веселое играй, на одоление супостатов! *(Гармонист играет.)* Веселей играй, возвышение Бададошкиных празднуем... *(Гармонный вихрь постепенно стихает.)* Никитаюшко, нá ключ... сам, сам им плати... Гляди на нас, барин!!

Никитай берет ключ, неспешно открывает шкап, берет денег и снова запирает.

Никитай. Слов моих нету за почет такой. *(Тихо.)* Дай мне казну твою, светлость твоя, я сам вложу. Пусть никто в целом свете не знает, сколько Никитай Бададошкин дал. *(Берет у князя бумажник, кладет его себе в карман.)* Ну, вот и все. Теперь складайтесь!

Князь. Шутник, право, шутник... бла-адарю.

Крутилин. Эй, парень... на могилке не шутят.

Никитай. Какой мне барыш с дураками шутить! Складайтесь, сказал!

Барин. Однако... эт-то же грабительство. Эт-то же среди бел-л-ла дня!

Никитай. Не ссорься со мною, барин. С Никитаем Бададошкиным говоришь! *(Кивая на дверь.)* Там у меня полно понятых, все с ноготками людишки. *(Общее враждебное движение.)* Ну, вы, тише... покупатели. Еще тише... совсем тихо. Вот так...

Багдад. Миленькой... так ведь деньги-то на святое дело...

Князь. Пардон, пардон... это притон какой-то!

Бададошкин. Отдай, щенок!

Никитай. Тиша, фермаршал!.. От тебя баба стонет, а доведется тебе на конь сесть, пушка бахнет, труба возгремит... вся причина из тебя вылетит... Мне Калуга-Калугой, да Калугу на себе не унесешь. Тише вы! *(Хлопает в ладоши, вошла Анна Петровна.)*

11.

Никитай. Я тут, Аннушка, дураковинки наскреб. Возьми счеты, клади. *(Разрывает первый пакетик.)* В первой бумажке, за анхимандрита... восемьдесят пять целковых. Положила? Да во второй, за околодочного... сто тридцать. Анна... три десятка-то, а ты два кладешь. Да еще от полного сердца... пятнадцать целковых. Да за именье... *(Со смехом.)* Трешница! Складай разом, за сколько Расея продается?

Анна Петровна. Двести тридцать три выходит.

Никитай. Подешевела, матушка... Какая стала: до рук моих докатилась! А маловато, поостереглись. Ну, Фока Матвеев, доложи сюды до круглого. Доложи, хуже будет...

Крутилин. Не дери шкуры-то, живой ведь.

Багдад. Ну, я домой побегу.

Никитай. Погодьте, гражданин. Давайте и вы сотню. Я много не беру: с дурака по шерстине — умному валенцы. *(Щуплому.)* Давай и ты что-нибудь, хлюст.

Щуплый. Нету-с... я бы и рад.

Никитай. Это что, часы у тебя?.. На ходу-то на анкерном? Давай часы, давай с цепкой... *(Собирает со всех.)* Вот на дорогу и хватит.

Барин *(на минутку отозвав его в сторону.)* Дай хоть половинку, молодой человек! *(Скороговоркой.)* Расходы же, ей-богу! Я этого князишку с угла взял, месяц кормил, пока он уверовал. Я же гармонисту кровные свои платил. А какую ты мне музыку расстроил! Одних камергеров пять голов наклевывалось... Странно, но наклевывалось! Монетный двор продавал, а на тебе споткнулся... Кого стрижешь? Актера безработного стрижешь! Дай, имей благородство!

Никитай. Благородства не держим. Вещь опасливая... Ну, теперь вон, все вон! Может, я спать хочу!.. Аннушк, проводи баринка да за польтами там последи!

Все торопятся уйти.

Анна Петровна. Не торопитесь, граждань, всем дорога будет.

Все ушли вместе с Анной; вошла старуха.

Никитай. Вот еще тоже, таскается круглый день! Надоешь ты мне, старуха! *(Отцу.)* А вы бы прилегли, папаш, отдохнули бы!

12.

Бададошкин *(тихо)*. Мать, правда-то есть на свете? *(Горько.)* У волков какая ж правда, у волков зубы. *(Встал, шатается.)* Вот и покончилась слава моя. Нырял, злодействовал, людей жевал, подкопы вел... В статские, в фермаршалы сбирался, холуйской масти шатия!.. чтоб колокола, чтоб опахала, а!.. Что ж это, с души-то штаны стащили?.. Прокофий, собаками его, хлюста, собаками... Прокошка, запор-рю!! *(Пауза.)* Не идет мой Прокофий. Прокофий в клуб пошел... флаг раскрашивать. Расея, петля моя... топчу, топчу тебя, вот так!! Спасибо вам, людишки, поучили маненько старичка.

Никитай. Брось извиваться, старик, — люди смотрят.

Бададошкин. Да-да, не надо. Тихо надо, тихо да с песенкой. А погодка-то, славен бог в Сионе, разгуливается. Ничего, мы и так. Мы и так, Никитаюшко. Мы с тобой и так, ровно слоны пройдем сквозь судьбу-то, все потопчем. Я горжусь тобой, из тебя выйдет прок. Ты как насчет слонов-то соображаешь?

Никитай *(ковыряя в зубах)*. Слон — изрядна насекомая.

Бададошкин. Вот-вот. Я тебе ключик-то давал, ты не потерял его?

Никитай. Притомился я, папаш. Какой ключик, от лавки, что ли?

Бададошкин. Зачем от лавки, я других ключей ищу.

Никитай. Больно нужны мне ключи. Из ключей штей не сваришь.

Бададошкин. Я к тому, что баушка нонче едет... деньжонок на дорогу дать. Я бы отвернулся, а ты бы ключик-то вон на краешек стола и положил. Я только возьму немножко, а ключик назад отдам. Я и сам потерять его боюсь.

Никитай. Душа у меня за вас болит. Зря суроп льете.

Бададошкин *(подойдя близко)*. Ты, сынок, с Аннушкой-то живешь, что ли? Ты живи с ней, живи. Бабочка молодая, ласки хочет... всяка ветка под дождик тянется, а я эвон какой гриб. Вот мы с тобой и поделимся!

Н и к и т а й. Что мое, то я сам возьму.

Б а д а д о ш к и н. Я б тебе, Никитаюшко, и кроватку подарил...

Н и к и т а й. Брысь... экий сквернавец!

Б а д а д о ш к и н *(сидя на полу и покачиваясь)*. Хо-хо, в люльке ты у меня качался, на коленях сидел, руки мне слюнил, махонький... и я не задушил тебя. Зато и мука мне ноне.

13.

В дверь осторожно просунулась с т а р у х а - з а к л а д ч и ц а.

Н и к и т а й *(не оборачиваясь)*. Кто еще там... входи, терзать буду!

С т а р у х а. Вот, батюшка, принесла вещь-то, принесла.

Б а д а д о ш к и н. Какая ж твоя вещь, покажи!

С т а р у х а. Сабля, батюшка, сабля, государев подарок. Покойник-то самого Излагир-бея ею покончил...

Б а д а д о ш к и н. Никитаюшко, дай ей рублик за государственную саблю. *(Никитай безмолствует.)* Опоздала ты, старуха, не нужна мне боле твоя сабля. Ты вот ему ее отдай, воителю моему.

С т а р у х а. Возьми, сынок, саблю ту. Хорошая сабля и в хозяйстве пригодится... капусту порубить, лучину поколоть. Без сабли уж какое хозяйство!

Н и к и т а й *(дико кричит.)* Отступи!! *(Старуха пятится в дверь.)*

14.

А н н а П е т р о в н а *(уже одетая)*. Извозчик стоит, дожидается. Забирал бы уж скорей, чего старика расстраивать зря! А ты лег бы хоть на сундучок, хозяин. Зазорно купцу на полу сидеть.

Н и к и т а й. Ты его покараулъ, Аннушк. Как бы мне его не зашибить невзначай. *(Идет к шкапу, раскладывает по карманам бададошкинские сокровища.)*

Б а д а д о ш к и н *(ложась на сундучок)*. Аннушк, ведь я живой еще, теплый, а? Пощупай меня... Слеза-то моя упадет на него, аль нет?

А н н а П е т р о в н а. На ево чугунная слеза нужна, да потяжельше. Лежи... ты заснуть постарайся!

Н и к и т а й. Ты ему подушку подложи. Папаш, этот ключ от нижнего?

Б а д а д о ш к и н. ...какой, этот? От нижнего, от нижнего. Там в бумажке-то не рассыпь!

Тем временем Д о м н а И в а н н а подошла к Н и к и т а ю, тянется рукой в шкап.

Н и к и т а й. Ты, бабк, куда... ополоумела?

Д о м н а И в а н н а *(ласково)*. Брошечкю я тут, голубок, присмотрела. Мне бы к шали-то. Шаль у меня такая есть, темная, с брусничничкой...

Никитай. Да ведь ты ж немая, бабка!

Домна Иванна *(напуганно)*. Ой, да я нямая и есть. Ой, нямая... забыла я, родной. Какая у старухи память!..

Анна Петровна. Вот чудеса-то начались: немые заговорили. Чего же ты молчала-то все сроки?

Домна Иванна. Дак это он мне молчать велел. Только я, милые, с вагону-то сошла, а он мне сразу: ты теперь немая, говорит. Слушай все, а потом мне доноси. Тут со страху одного онемеешь!

Анна Петровна. Да ведь ты ж и глухая, вдобавок!

Домна Иванна. А уж вот глухая, это правда. Ты вот говоришь, а по мне ровно бы вода шурстит.

Никитай. Ты все слышишь, только прикидываешься!

Домна Иванна *(гневно)*. Да каб я слышала то, да разве б я ему не донесла? *(Всплеснув руками.)* Оссподи, они еще не верят, что я глухая, а?

Анна Петровна. На поезд-то не опоздаем, Никитай?

Никитай. Да я уж и готов. Сразу-то и не подымешь всего... *(Ищет картуз.)* Ну, все в порядке... Присесть на дорожку. Присядь, баушка! *(Посидели.)* Двигайся, Аннушка. *(Проходя мимо отца.)* Вы поправляйтесь, папаша. *(Ушли.)*

15.

Домна Иванна *(смятенно шаря в шкапу)* И тут все выгреб, эка чистая работа! *(Кидаясь в дверь.)* Внучек мой, внучек... *(У окна.)* Поехали. И сидит-то как важно, псов сын!.. Никитаюшко, брошечкю-то оставь... на что тебе брошечкя!

Бададошкин. Ныряй, ныряй, Никитайка!.. Где-нибудь и тебя додушат!

Радио начинает хрипеть: «Алло, алло! Послушайте теперь вторую и заключительную часть великорусского концерта». Играет музыка, отвратительно бренчат балалайки.

Занавес.

Выстрел.

(Рассказ.)

Вл. Лидин.

Двери открылись, и толпа освобожденно полилась, оставляя судебный ал с его пятичасовой духотой разбирательства, красным столом с синими апками дела, окурками и тем жалким прахом, какой оставляет после :бя человек. Трамвайно лязгнули шашки сменившихся часовых. Челоэк, сидевший на скамье между них, захотел пить. Он подошел к столу, ардинальски простертому во всю длину досчатой эстрады, налил из граина воды и выпил, не отрываясь, стакан. Затем он вернулся и сел на камью обратно. Лицо его, — обыкновенное среднее лицо, с вылинявшими к эидцати пяти годам голубыми глазами, с щетинкой усов и по-военному ыбритым и тугим подбородком — не выражало в эти минуты ни особого олнения, ни напряжения. Не было на нем и той жалкой изумленности и зависимости, которые бывают обыкновенно на лицах людей, старающих1 до конца доказать, что они — только жертвы чужих происков, страстей ошибок. Нога легла на ногу, сапоги были ловко пригнаны, человек заурил папироску.

В зале стало просторно и тихо, толпа, выбравшаяся из духоты, адилась на подоконники вестибюля, разминалась, многие спустились иниз в судебный буфет, где из язычески-огромного самовара наливали ай, и люди — в большинстве защитники, стажеры и просто посетители, :катели чужих поражений, страстей и неистовств, — садились за досчае непокрытые столики и пили по-вокзальному чай. Некоторые из защитиков — известные адвокаты-уголовники в прошлом, участники большинства громких процессов почти за два десятилетия, уже отяжелевшие, ысеющие люди, с некоей непреднамеренной театральностью жестов и рой голоса, сели в стороне, к ним подсели стажеры послушать их, сахар азбалтывался в стаканах за этой обычной судебной беседой в перерывах, почти сейчас же к одному из защитников подошла немолодая и просто цетая женщина, с милым и утомленным, некогда прекрасным лицом.

— Простите, пожалуйста, — сказала она и остановилась несколько эодаль. — Вы — Игорь Александрович Жданович? Мне очень бы хотелось вами поговорить, и если можно, то сейчас в перерыве.

Защитник неохотно поднялся, привыкший к странным и неожиданным просьбам, и спросил учтиво и холодно:

— Чем могу быть полезен?

— Мне кажется, — сказала женщина очень спокойно и просто, — что я могла бы дать вам некоторые сведения, касающиеся подсудимого Заверждеева... сведения, которые помогли бы, быть может, вам разобраться во всем этом сложном, чрезвычайно сложном деле. Я хотела вам написать или увидеть вас еще во время судебного следствия, но я живу не в Москве и не могла получить отпуска. Свидетельницей я быть не могу, но мне кажется, что я очень продумала это дело и многое, что я скажу, может вам пригодиться...

Женщина говорила негромко и скорее грустно, в словах ее была некая убежденность, которую хорошо улавливают люди судебного толка, и Жданович уже внимательней и мягче сказал ей:

— Пожалуйста, сядем за тот крайний столик, нам не будут мешать. Не хотите ли чаю?

Женщина от чая отказалась. Они сели за крайний столик, и Жданович увидел вблизи лицо женщины. Это было утомленное, уже очень тронутое морщинками, но все еще не утратившее женственного обаяния лицо. Худыми красноватыми пальцами женщина доставала из сумочки пачку сложенных аккуратно листков.

— Меня зовут Вера Дмитриевна Сумская, — сказала женщина, не поднимая глаз и глядя на угол стола с отшибленной лункой сучка. — Я — фельдшерица больницы имени Ленина в Невлянске, где был Заверджеев заведующим хозяйством.

— А, — сказал Жданович, — значит, вы его часто встречали?

— Не очень часто, но достаточно, чтобы составить себе о нем представление. Он ко мне чувствовал доверие почему-то. — Она не подняла глаз и продолжала: — Если позволите, я расскажу все сначала. Заверджеев приехал в наш город в двадцать втором году. Он приехал прямо с фронта после демобилизации... кроме того, он был контужен. Я сказала — в наш город, но я родилась в Москве, и в Невлянск попала только после замужества... мой муж — преподаватель словесности, прежде он преподавал в мужской гимназии, потом в школе второй ступени, которая помещается в том же здании. Невлянск недалеко от Москвы, но, право, иногда мне кажется, что это за тысячи верст, такая невероятная человеческая глушь еще осталась в провинции! О приезде Заверджеева я узнала от одной из наших сестер при больнице... она сказала, что прислан новый заведующий, что он коммунист и что, наверное, он теперь наведет порядки. Все сначала были настороже, даже врачи, но он никого не задел, был очень предупредителен и старался ничем не выделяться среди остальных. Я увидела его в первый раз на собрании, он все время молчал и слушал, и мне показалось, что ему очень не по себе среди нас, и он скучает. После я ближе узнала его на культработе, и вот тогда я поняла, что это человек глубокий и скрытный. Я не знаю, имею ли я право передать вам это письмо,

написанное мне из тюрьмы, но когда решается судьба человека, я не хочу об этом раздумывать. Впрочем, если вы позволите, я прочту вам лишь выдержки из этого письма, многое совсем не касается дела... и к этому письму я кое-что добавлю еще от себя, потому что многое он пропустил и многое мы, женщины, умеем замечать гораздо точнее и тоньше.

Худыми своими пальцами женщина расправила листки, но читать не стала, и добавила еще, не поднимая глаз, как бы для того, чтобы не утратить ни одной черты из пристального своего мира.

— Мне кажется, что после приезда к нам он сразу потух... это не потому, что надо было начинать мирно строить, а он привык к войне, к опасностям, к жизни, непохожей на нашу. Нет, главное было то, что он почувствовал себя среди нас совсем чужим и многие относились к нему враждебно, но прикрывали это услужливостью, и он это понимал. Наш старший врач — человек сухой и другого поколения... он много и честно работал, но он старался совсем не касаться политики и был в стороне. Другому врачу казалось, что прислали невежду, который вмешивается в медицину, ничего в ней не понимая... То же думали и другие и старались ему мешать, но так, чтобы он не мог обнаружить этого. Теперь я хочу еще, прежде чем прочесть вам его письмо, сказать об Ольге Вуйович. Семью Вуйович я очень хорошо знаю, а Олечку я знала еще в гимназии; она — москвичка, но она была совсем девчонкой, когда я кончила гимназию Валицкой в Москве. Вуйович — товарищ моего мужа, тоже педагог, физик по специальности, но он гораздо старше его... от мужа я слыхала, что у Вуйовича была жена, очень милая женщина, но он обращался с ней ужасно, ревновал ее, и в конце концов она получила туберкулез и очень быстро сгорела. Я даже не знаю, как мог он понравиться Оле, она была еще совсем молоденькой, а ему было уже сорок пять лет, когда она стала его женой. Вуйович жили в доме напротив нас, и — как всегда бывает в провинции — каждый более или менее знает жизнь друг друга. Вуйович сразу стал держать Олечку взаперти, не позволял ей выходить без него из дому, а если бывали они где-нибудь вместе — в кинематографе или на вечерах, — он не отпускал ее от себя ни на минуту... Олечка иногда днем прибегала ко мне, она часто плакала и быстро стала как-то угасать. Я все говорила мужу, чтобы он поговорил с Вуйовичем; муж однажды стал говорить с ним об этом, но Вуйович оборвал его и сказал, что в свою личную жизнь он никому не позволяет вмешиваться. Только не думайте, пожалуйста, что у нас в провинции ни о чем не умеют мечтать... напротив, в провинции умеют мечтать и страдать, и знать человеческое чувство гораздо больше, чем здесь, в Москве, где жизнь разнообразнее и развлекает человека. Я знаю, что, несмотря на всю свою глухую жизнь, Олечка никогда не переставала мечтать,— по-моему, у нее это только и осталось. Вы, конечно, можете спросить, почему она не ушла от него, у женщины сейчас те же права, что и у мужчины, и за женщину сейчас есть кому заступиться. Но многие ли женщины так решительны, и ведь со старым не очень легко покончить, особенно когда женщина зависит от мужчины, и все-таки того,

что называется старыми предрассудками, еще столько в жизни, особенно в провинции... Олечка Вуйович жила очень скучно и грустно, и именно в это время приехал в Невлянск Завержеев. Ему должны были предоставить комнату, живут у нас очень тесно, а в квартире, где жили Вуйовичи, как раз освободилась комната... ему предоставили именно эту комнату, и он поселился в квартире Вуйович. Впрочем, об этом он пишет в письме, вот это место...

Женщина быстро просмотрела листки, исписанные мелко, как пишут обыкновенно, жалея бумагу, и нашла то место в письме, которое искала. Не изменяя голоса, очень торопливо и ровно, как читают протокол, она прочла:

«Я приехал в город и получил комнату в квартире Вуйович. Меня встретил Вуйович предупредительно и враждебно. Многое, впрочем, обнаружилось только в дальнейшем. Так, он запретил прислуге открывать мне после одиннадцати дверь, из комнаты моей он вынес все что мог, и в общем мне пришлось спать первые три ночи на полу, хотя в чулане у него были ненужные кровати. При выяснении моих отношений к Вуйовичу я все это показал на предварительном следствии, но я не думал, что это учтут как повод для моего озлобления против него. Я не могу скрыть и не скрывал, что Вуйович был мне противен, как притаившийся и приспособившийся обыватель, который, конечно, ненавидел революцию и всех нас с нею вместе. Но, конечно, не мои личные чувства к нему сыграли в этом деле решающую роль. Напротив, проверив себя, разобравшись в себе за месяцы предварительного следствия и тюрьмы, я пришел к заключению, что до самой последней минуты я был равнодушен к Вуйовичу и только в заключительный момент возненавидел его. Но, возвращаясь к началу письма, я хочу сказать о моем отношении к Ольге Андреевне...»

Женщина задержала свой палец на строчке, чтобы сразу найти ее, и прервала чтение письма.

— Я тоже думаю, что самое главное, это — выяснить характер отношений Завержеева к Олечке, — сказала она, глядя на защитника спокойно и пристально и даже чуть холодно. — Я могу сообщить вам следующее, что я знаю по этому поводу. Поселившись в квартире Вуйович, Завержеев сразу обратил внимание на его недостойное и жестокое обращение с женой. Она была так напугана и задергана, что боялась встречаться с Завержеевым даже в коридоре, он сам говорил мне об этом. Впоследствии она освоилась, стала с ним говорить, и в дальнейшем они даже подолгу беседовали, когда Вуйовича не было дома... причем главную потребность в этих беседах ощущала Олечка, которая так жадно искала живого человека. А Завержеев был живой человек, свежий человек, настоящий человек, несмотря ни на что! — сказала женщина еще упрямо и твердо.

— У вас сложилось такое впечатление от него? — спросил защитник быстро и как бы небрежно.

— Да, у меня сложилось такое впечатление... то есть я уверена в этом.

Женщина замолчала на миг, как бы собирая в себе разбросанный и сложный чертеж человека.

— Так вот, Заворжеев очень внимательно и с участием отнесся к Олечке, — сказала она затем. — Он мне сам говорил, что ей нужно порвать с мужем и уехать учиться в Москву, что в новой большой жизни каждому есть место и что здесь, в Невлянске, еще жив страшный прошлый мир, с которым борются уже столько лет и всё никак не могут вырвать его с корнем.

— Почему вы находите, что Заворжеев очень скучал, приехав в ваш город? — спросил вдруг защитник.

Женщина ответила не сразу.

— Видите ли, — сказал она затем, — я — женщина и никогда не была в партии и никогда не выполняла никаких больших дел, кроме обычных маленьких и будничных дел моей профессии и моей семейной жизни. Но я легко могу представить себе, что когда человек после жизни, полной событий и ответственности и дел, которые касаются целой страны, возвращается к обывателям, к их маленькому житью и сам поневоле должен вести с ними обывательскую жизнь, он может начать тосковать... ведь это очень трудно бывает убедить себя попервоначалу, что делаешь то же большое общее дело. Кроме того, в нашей среде Заворжеев особенно почувствовал себя одиноким... у нас был врач-общественник Верещагин, но он уехал с экспедицией в Якутскую область, а оставшиеся врачи были старики, хорошие специалисты, но они ничего не хотели знать кроме медицины, а персонал больницы был старый, многие служили по двадцать лет, и никто не сочувствовал новым порядкам. Мы вели культработу, но только среди молодежи,— в общем, новому человеку, и притом коммунисту, было очень трудно среди нас. Заворжеев сам пишет об этом...

И женщина отпустила палец, которым все время придерживала нужную строчку прерванного письма.

— «Отношение мое к Ольге Андреевне во многом объясняется той средой, которая ее окружала и с которой пришлось познакомиться и мне». Она прочитала это тем же протокольным и как бы бесстрастным голосом. — «Я сразу ощутил к ней сочувствие, и мне захотелось помочь ей все же вырваться из этой жизни, в которой она тосковала. На предварительном следствии меня особенно часто допрашивали об этом, и я могу теперь повторить только то, что я говорил неоднократно судебному следователю: ничего, кроме сочувствия, у меня к Ольге Андреевне не было. Смешно ведь говорить о чувстве или о любви, если бы это было — я бы не отрекся от них, а следователь именно хотел свести все это дело к обывательскому случаю, когда люди не поделили женщину. Конечно, я, может быть, и допустил кое-что, что̀ дало повод для разговоров и сплетен, но допустил я это только во имя сочувствия к человеку, и я предупреждал Ольгу Андреевну, но она не хотела слушать. Она словно от одной противоположности кинулась к другой, и насколько она сначала была осторожна и опаслива, настолько она стала затем неосторожна и даже

безрассудна. Она часто приходила ко мне в комнату и подолгу у меня оставалась. Она словно не могла изговорить себя за все годы своего молчания. Правда, сначала я охотно вел с ней эти беседы, но когда я заметил, что Вуйович вымещает на ней свою ненависть ко мне и подозревает ее в невозможных поступках, я постарался сократить эти беседы и даже обидел ее, и — помню — она раз плакала от моего невнимания. Но, конечно, это было не невнимание, а только желание избавить ее от унизительных сцен, которые устраивал ей Вуйович. Не я виноват во всех сплетнях, не я давал для них повод. Я думаю теперь, что сплетни эти сеял сам Вуйович, чтобы зачернить меня и чтобы испачкать меня как партийца и человека».

— Я могу добавить к этому еще следующее, — сказала женщина, прерывая чтение письма. — Однажды ко мне пришла Олечка и очень долго выспрашивала у меня мое мнение насчет Завержеева, спрашивала она меня также, нравится ли он мне. Я ей сказала тогда откровенно, что считаю его очень честным и прямым человеком, и я сказала ей еще, что он у нас не удержится, что у нас его, вероятно, затравят и что, конечно, он у нас — залетная птица... Я помню, как она тогда огорчилась и расстроилась, и она сказала мне, что это будет ужасно, если уедет единственный настоящий человек. Я знала, что Олечка большая мечтательница, что, может быть, она уже по-своему наделила качествами человека, но я тогда не придала всему этому значения. Теперь, конечно, я многое понимаю, что когда женщина так ужасно задавлена душевно и мечтает, — достаточно первого человека, чтобы она на нем остановила свою мечту. Вероятно, так случилось и с Завержеевым, но сначала я должна сказать о той ужасной сплетне, которая поползла из дома Вуйович, и я прочту вам то место из письма, где Завержеев сам пишет и об этом. Видите ли, уже два месяца спустя, после того как Завержеев поселился в квартире Вуйович, поползли сплетни. Это были очень грязные сплетни, и поскольку они касались его чести и чести Олечки, я предупредила об этом и его и ее. Я должна еще сказать вам об Олечке, о ее душевном состоянии в эту пору. Я думаю, что я не ошибусь, сказав, что Олечка была счастлива и преобразилась. Как это всегда бывает, от большой сдержанности она перешла к безрассудству. Мне кажется, что внимание Завержеева к ней она объяснила себе иначе или, по крайней мере, хотела объяснить иначе. Ей казалось, вероятно, что у нее есть теперь защитник, и она осмелела и вышла из подчинения Вуйовичу. Она иногда прибегала ко мне и всегда была как-то возбуждена и говорила мне, что она словно проспала всю свою юность. Я сначала думала, что она просто увлеклась Завержеевым — и все это от той же ее мечтательности, которая была задавлена. Но потом я поняла, что это не только увлечение, и самое ужасное во всем этом было то, что Завержеев ни в чем не был повинен, и ему даже не приходило в голову, что его искреннее желание помочь ей она приняла совсем за другое. Но вот здесь дальше в письме он пишет об этом. Вот это место.

И женщина снова вернулась к письму:

«К Ольге Андреевне я отнесся как человек, и кроме того в отношении к ней Вуйовича было столько мерзости и старого самодурства, что я и как коммунист не мог остаться равнодушным к такому попирательству женщины. Вуйович стал запирать ее на ключ и несколько раз даже бил. Когда я вмешался и сказал, что не позволю ему бить женщину, что я доведу об этом до сведения общественности, он мне ответил, что и у него есть кое-какой материал, который он может довести до сведения общественности и который скомпрометирует меня. Я понял, что это из области тех же сплетен, и предупредил об этом Ольгу Андреевну и просил ее реже заходить ко мне в комнату. Но она сказала, что Вуйович — трус, и это только бессильная угроза с его стороны. Между тем, я узнал, что Вуйович предпринимает уже кое-какие шаги, и в частности в нашу ячейку было прислано анонимное письмо, где писали, что коммунист соблазняет чужую жену и что распущенность коммунистов в этом отношении только дискредитирует партию и коммунистов. Меня вызвали тогда в ячейку, и я доказал, что это ложь и обывательская клевета. Все-таки я не могу не признать, что доля недоверия ко мне осталась даже в ячейке. Мне известно, что при характеристике моей личности в ячейке дали неполные и уклончивые сведения. Так, например, писали, что я — человек новый, присмотреться ко мне успели не вполне и что я на собраниях, случалось, вел себя иногда демагогически. Это, конечно, неверно. Я просто восставал всегда против половинчатых решений, на военной работе я привык решать все отчетливо и до конца. Однако анонимным письмом кто-то не довольствовался, и, как вы знаете, скоро появилась заметка в стенной газете, причем кто автор этой заметки — выяснить не удалось, не удалось это сделать впоследствии и следователю, так как номер газеты оказался уничтоженным».

— В этом номере стенгазеты, — сказала женщина, глядя на письмо и как бы продолжая его чтение, — была напечатана заметка о непорядках в больнице, сопровождавшаяся куплетами на Завержеева. Всех куплетов я не помню, но первое четверостишие я запомнила и записала. Вот оно:

В больнице вешают приказы,
Но зав спешит скорей гулять,
Предпочитает он проказы,
Чем директивы выполнять, —

и дальше в этом же роде. Стишки были гаденькие и гладкие, и здесь чувствовалась опытная рука. Завержеев мог обратиться и в ячейку и к прокурору наконец, но он сам говорил мне, что не хочет раздувать этого грязного пасквиля, который, конечно, подхватит провинция — и Олечке тогда не будет проходу. Сколько я знаю, он написал заявление в ячейку, но какие это дало результаты, — мне неизвестно, и, судя по всему, ячейка так и не расследовала этого дела, а впоследствии, когда всю ячейку распустили и нескольких комсомольцев вычистили из комсомола, то даже не нашли и номера этой стенгазеты; кто-то постарался его уничтожить. Мне тогда же стало ясно, что Вуйович ведет кампанию против Завержеева: у Вуйовича

были связи в городе, и он мог сделать много гадкого. Я говорила об этом мужу и просила его, чтобы он переговорил с Вуйовичем, но Вуйович ответил ему, что все это результат одной игры против его, Вуйовича, чести и что раз он беспартийный, а за женой его ухаживает коммунист, он должен терпеть, чтобы не лишиться места и не оказаться совсем за бортом.

— А Завержеев, — спросил вдруг быстро Жданович, — что же делал он, чтобы прекратить эти сплетни? Неужели он довольствовался заявлением в ячейку, а не предпринял других решительных шагов? Ведь он сам пишет, что привык решать все по-военному.

Женщина ответила:

— Мне кажется, он делал все, что было в его силах. Он боролся и протестовал и хотел даже переехать с квартиры Вуйовича.... но ему не позволяло достоинство сделать это, — тогда все говорили бы, что он сдался и бежал, и кроме того он жалел Олечку. Ее состояние в эту пору было ужасно, а больше всего она боялась, что он поддастся этим слухам и уедет, и она опять останется одна без человека. Об этой паре и об Олечке он пишет в письме: «Меня неоднократно допрашивал следователь о моем отношении к Ольге Андреевне и о том, что могло быть у нас с ней общего и о чем мы говорили подолгу. Прислуга показала, что Ольга Андреевна часто заходила ко мне в комнату и подолгу у меня оставалась. Я повторил только то, что показал на предварительном следствии, и повторяю теперь это вам, потому что именно вы должны знать всю правду. Я уговаривал Ольгу Андреевну бросить Вуйовича и обещал ей помочь устроиться в один из вузов в Москве. Я делал это только потому, что хотел спасти человека, и из общественных побуждений. Я ни разу не дал ей повода подумать об этом иначе. Мне казалось, что если ей дать отдохнуть и расправить себя, она может принести много пользы, а ведь сотни таких способных и одаренных женщин гибнут в провинции и хоронятся семьей и предрассудками, мешающими им начать новую жизнь. Конечно, у Вуйовича были поводы меня ненавидеть, но совсем не в том направлении, в котором он вел борьбу против меня и сеял грязь и мерзость, не жалея ни своей чести, ни чести жены. Скандал на маскараде лишний раз подтвердил всю его ничтожность и подлость...»

— Это история с маской? — спросил Жданович.

— Да... но я хотела бы все же остановиться на этом.

Женщина задумалась на минуту и даже сощурилась, вызывая в памяти воспоминание.

— Я уже говорила вам, что в провинции осталось много такого, что может вызвать удивление у вас, в столице. Не знаю, похожи ли другие провинциальные города на Невлянск, но в Невлянске революция отразилась только тем, что люди переменили службы и приспособились к новым условиям, а в общем все осталось по-старому. У нас до сих пор много пьют и играют в карты и даже устраивают маскарады и танцовальные вечера.... Правда, молодежь рвется к новой жизни и бежит в столицу

учиться, но на вечера собираются обыватели, а их в Невлянске больше всего. История с маской произошла на маскараде в клубе имени Расторгуева... Расторгуев — уроженец Невлянска и командир одной из дивизий, бравшей Перекоп. Я на этом вечере не была, но я достоверно знаю, что на нем произошло. В начале вечера был небольшой митинг, и Завержеев выступил с речью по поводу годовщины Красной армии. Он мне говорил впоследствии, что если бы он знал, что вечер завершится таким обывательским маскарадом, он бы ни за что не согласился выступить в клубе. После митинга был объявлен перерыв, а затем начался музыкальный вечер и танцы. Комсомольцы организовали шествие политических масок, тут были и Чемберлен в цилиндре, и другие... а потом появились просто ряженые в разных масках животных, все это перемешалось, и вдруг появилась маска, вызвавшая сначала некоторое смятение, а затем любопытство и смех. Человек был одет в медицинский халат, на груди у него был военный кавалерийский значок: подкова и хлыст, и в руке он нес большую бутыль с рецептом, на котором написано было: «Для шкрабов». Все сразу стали шептаться, сначала многие не поняли, но кто-то услужливо все разъяснил... Конечно, фигура в медицинском халате с кавалерийским значком должна была изображать Завержеева, так как раньше он ведь служил в кавалерии, а смысл бутыли с рецептом был ясен всем, кто слышал сплетни об Ольге Вуйович. Когда Завержеев увидел маску, он сейчас же направился к коменданту клуба и потребовал, чтобы тот задержал маску и выяснил, кто под нею скрывается. Но комендант сказал, что в маске ничего оскорбительного нет, нет в ней и никакого указания на то, что эта маска — пасквиль на Завержеева. Тогда Завержеев сказал, что он сам задержит человека и сорвет с него маску, даже если и произойдет скандал. Комендант побоялся скандала и все же задержал человека, который оказался пьяным музыкантом из кинематографа «Палас» и который ничего не мог объяснить, а впоследствии объяснил все же, что костюм придумал не он, смысла его сам не понимал, но был пьян в этот вечер и ему было все равно, кого изображать. Добиться у него, кто придумал для него такой костюм, не удалось, так как он весь вечер перед этим пил в компании, и кто именно его научил — он не помнил. Все это начало принимать характер травли. Главное было, что все это неуловимо, что неизвестно, с кем бороться и что здесь все же замешана честь женщины. Я знаю, что Завержеев очень страдал, он на другое утро после маскарада прислал мне записку... вот она, я ее сохранила.

Женщина порылась в листках и нашла лоскуток разграфленной на клетки бумаги.

— Вот что он мне написал на другое утро: «Вчера меня оскорбили на маскараде подло и пошло. Вся эта история зашла слишком далеко, и я не знаю, как с ней бороться. Если бы я знал виновника, я бы сумел с ним расправиться Но я виновника не знаю, а одних предположений недостаточно. Поэтому, я не могу обратиться к прокурору. Меня хотят задавить страшной силой, эта сила — обыватель, и клянусь вам, что я,

никогда не знавший страха на фронте, испытываю теперь ужас и страх». Что я могла ему ответить? Я сама знала, какая это страшная сила, и ни ячейка, ни горсточка людей не могли бы, конечно, с ней справиться. У нас затравили молодого врача-еврея, затравили безжалостно, он покушался на самоубийство, приезжала следственная комиссия, и на два месяца после этого все затихло, а потом началось снова. Я даже не знаю, откуда и как шла эта сила.... но вот представьте себе, что человеку сначала начинают не доверять, потом он повсюду наталкивается на глухую стену равнодушия и враждебности, которые никогда не действуют в открытую, а только исподтишка, его травят каждый день, час за часом... есть от чего притти в отчаяние! Доктор Зусманович, которого затравили, был, конечно, слабый человек, но ведь даже такой сильный человек как Завержеев пришел в отчаяние. Все это страшно сгустилось вокруг него, и тут дело подошло к той развязке, которой не ожидал никто и меньше всего ожидал сам Завержеев. У него был выбор: или ходатайствовать о переводе его в другой город, но это значило бы сдаться и дать кому-то возможность торжествовать, или стиснуть зубы и продолжать делать дело, для которого его послали сюда. Ему сочувствовали многие из персонала, и все были уверены, что это дело рук Вуйовича, но не было никаких доказательств. Положение Завержеева в нашем городе стало невыносимым... он постепенно как бы стал терять свой авторитет, а некоторые даже прямо говорили, что это нечестно ставить в такое положение женщину. Надо открыто забрать ее у мужа, а не позволять трепать ее имя по всем подворотням. Я несколько раз говорила об этом с Олечкой, но она не была удручена ничуть и словно была глуха ко всему; мне показалось, что она живет в своем миру и только с этим своим миром хочет считаться. О Завержееве она говорила восторженно и ясно, и я сейчас даже не знаю, было ли в этом больше увлечения, чем протеста против всей той жизни, в которую погрузил ее так безнадежно Вуйович. Я все же пыталась уговорить ее и указывала ей на всю трудность положения и ее самоё, и Завержеева, но она ни о чем не хотела слушать и сказала мне: «Я ненавижу этот гнусный город с его грязью и пошлостью... все равно ко мне ничто не пристанет, как бы меня ни пачкали». Да и по правде говоря, что я могла предложить ей практически? Все это должно было затянуться еще на многие месяцы, но развязка наступила неожиданно скоро. Мне думается, что лучше всего, если я прочту вам конец письма Завержеева. Он все это описывает очень подробно и точно...

В буфете опустело, буфетчик перемывал стаканы и блюдца, а потом начался перерыв, очевидно, в другом судебном заседании, опять торопливо стали сбегать люди по лестнице и садиться за столики, снова зазвякали ложечки в стаканах. Женщина просмотрела две странички письма, видимо, не имевшие отношения к делу.

— Ну, здесь он просит об устройстве некоторых его дел, — сказала она мельком, — а вот отсюда о самом главном.

Жданович изредка привычно и несколько театрально приглаживал волосы на огромном своем лысеющем лбу, снимал пенсне, покачивал его

на шнурочке и снова надевал на нос, стрелка часов методически совершала свой круг, отмеряя время назначенного перерыва, и женщина продолжила чтение письма.

«Я несколько раз давал показания касательно этого вечера. Память моя была очень расплеснута совершившимся, и весьма возможно, что есть небольшое расхождение между моими первоначальными показаниями и показаниями позднейшими. Теперь, собрав себя за все месяцы моей тюрьмы и тщательно, минута за минутой и слово за словом, восстановив в себе подробности этого вечера, я постараюсь передать их вам во всей последовательности. 18 марта этого года меня разбудила утром прислуга в восемь часов и сказала, что прачка пришла за бельем. Я отдал ей за дверь белье, затем оделся и сам себе, как обычно, согрел на примусе чай. В десятом часу, когда я уже уходил на работу, прислуга Варвара, которую вы знаете, сказала мне, что Ольга Андреевна еще с вечера просила меня разрешить взять из комнаты мой стол, так как сегодня именины мужа, у них будут гости и придется составить стол для обеда. Я снял со своего стола книги, вынул из него ящик со всем, что в нем находилось, и помог Варваре вынести стол в коридор. Потом я запер комнату и ушел на службу. В этот день была выдача жалования, потом составление требования в аптекарский склад, наконец заседание месткома. Я со всем этим провозился и даже не успел пообедать, а выпил чаю с сухим хлебом. После месткома было заседание ячейки, это была как раз среда, партийный день, и я страшно устал и вернулся домой только в десятом часу вечера. По дороге я купил в Церабкоопе какой-то еды и, придя к себе, прямо повалился на постель. У Вуйовичей были еще гости, судя по голосам — там выпили, страшно накурили, даже в моей комнате пахло табаком. Потом заводили граммофон, для которого Вуйович выписал как-то пластинки из Москвы, и даже, судя по грохоту ног, пытались танцовать. Должен сказать, что я вернулся домой совершенно незаметно, у меня был свой ключ, и я лежал на постели, не зажигая огня, потому что очень утомился и хотел за час уснуть. Вероятно, я даже уснул на полчаса или час, а потом я услышал, что провожают гостей. Наверное, все-таки это было поздно, в двенадцатом часу; я на часы не смотрел. Гости очень долго одевались, я слышал совсем пьяные голоса мужчин, женщины хохотали, а потом кто-то спросил: «А где же коммунист пропадает?» — Но на него зашикали, потому что я ведь мог быть и дома. Гости разошлись, и я услышал затем, как начали раздвигать стол и двигать стульями, видимо наводя порядок. Опять, вероятно, за всем этим прошло полчаса. Мне было очень лень вставать, и я решил уже не возиться с едой и уснуть так, только раздеться. Я зажег свет и стал читать газету, которую не успел прочесть с утра. Вдруг я услышал страшную возню, затем крик Ольги Андреевны и какой-то грохот... Я вскочил с постели, что-то полетело и разбилось в их комнате, и я понял, что Вуйович бьет жену. Я открыл дверь и выбежал в переднюю и сейчас же опять услыхал крик и возню. Я стал стучать в их двери, но дверь почти сейчас же распахнулась: я увидел Вуйовича потного и красного без

пиджака и совсем растерзанную плачущую Ольгу Андреевну. Вуйович закричал: «Выбирай сама: я или он» — или что-то в этом роде, не помню, и он почти насильно втащил меня в их комнату. В комнате был страшный беспорядок, вещи разбросаны, платье на Ольге Андреевне было разорвано, в общем — она была почти обнажена. Я обратился к Вуйовичу и предложил ему прекратить это неслыханное издевательство над женщиной, но он не слушал меня и все время кричал ей: «Выбирай сама: я или он»... — Тут он вдруг обрушился на меня и стал кричать, что я, коммунист, соблазнил его жену, что он обратится в верховный орган партии, что я могу убираться вместе с его женой, потому что ему нужна честная жена, а не потаскушка... он выразился, конечно, грубее. Я потребовал, чтобы он замолчал. Я не могу скрыть и не скрывал этого ни в одном своем показании, что я его ненавидел в эту минуту и он пробуждал во мне ярость и отвращение. Но тут вдруг случилось то, что я меньше всего мог предвидеть и что смешало во мне все в ту минуту. Ольга Андреевна поднялась и закричала ему, что если ей нужно выбрать, то она выбирает меня, что она его давно ненавидит и многое еще другое в этом же роде... Я стоял в замешательстве, не зная, как мне это принять и что мне с ней делать, но Вуйович стал ее толкать к дверям и кричать: «Ну, и убирайся к нему!» — и он вытолкнул ее полураздетую в переднюю. Она страшно рыдала и была почти в беспамятстве, и я бросился ее успокаивать и поднимать с пола. Тут Вуйович захлопнул свою дверь, и мы остались с ней вдвоем в передней. Что мне было с ней делать? Она рыдала и повторяла, что Вуйович погубил ее жизнь, что он теперь не пустит ее обратно, и ей лучше всего покончить с собой. Я успокаивал ее и мне ничего не оставалось, как отвести ее в свою комнату... я отвел ее в свою комнату и дал ей воды. Я говорил ей, что ей нужно совсем успокоиться и порвать с Вуйовичем, что она должна уехать в Москву и там поступить в вуз, что теперь не те времена, когда мужчина может расправляться с женщиной, и я завтра же подниму вопрос, могут ли такие педагоги преподавать в советской школе... Она немного успокоилась, но вся дрожала и просила меня простить ее за то, что она сказала мужу, что выбирает меня, но ей ничего не оставалось делать. Она была страшно утомлена и разбита, я уложил ее на свою постель, и она почти сейчас же уснула от пережитого. Я сидел в стороне и выходил в переднюю и курил папиросу за папиросой. Так я выкурил всю коробку. В квартире было тихо, из комнаты Вуйовича не было слышно ни звука, и я решил пойти, наконец, к нему и объясниться и потребовать, чтобы он пустил жену обратно к себе, потому что положение создалось невообразимое, а главное — как же должен чувствовать себя во всем этом я! Я подошел к двери Вуйовича и постучал, сейчас же кто-то отбежал от двери, и я понял, что он все время подслушивал. Я вошел в комнату, Вуйович стоял почему-то с ногами на кровати, и он сейчас же закричал мне: «Ну, что, переспал с женой... сволочь, коммунист!» — и он прибавил еще много гнусного по поводу этих двух часов, что Ольга Андреевна спала в моей комнате, а я курил папиросу за папиросой. Я помню только,

что в моих глазах все потемнело, это была такая подлость, тишину в моей комнате он понял иначе... как будто я увел его жену на его глазах в свою комнату, и мы там все это время, пока она страдала и мучилась, а я придумывал способ, как ей помочь, были близки друг другу. Я сказал ему, чтобы он сейчас же замолчал, что я не ручаюсь за себя, но он продолжал стоять на кровати и повторял всю эту гнусность и обливал меня и ее помоями. Вероятно, в эту минуту я достал из кармана револьвер, потому что Вуйович нырнул вдруг в кровать за дубовую спинку, но сейчас же опять высунул голову и снова выкрикнул гнусность... Я помню отчетливо его растрепанные усы, редкие волосы, которые перепутались на лысине, и раскрытый, какой-то клыкастый ужасающий рот, из которого летели плевки и ругательства. Странное дело, вспоминая потом момент, когда я нажал спуск револьвера, я не помню, чтобы я целился в Вуойвича или даже в его направлении... я стрелял, очевидно, в то страшное рыло, в ту пасть провинции, обывательщины, хамства и низости, которая с первого часа моего приезда в этот город меня преследовала, и не меня одного, а многих еще, которых ей удалось затравить. Когда голова нырнула за дубовую спинку кровати, чтобы больше не появиться совсем, я не почувствовал раскаяния или сожаления в своем поступке. В ту минуту я ощутил только полное небывалое спокойствие. Впоследствии, конечно, проверив себя, многое заново для себя пересчитав, я не только раскаялся, но и понял, что то, что я совершил, не заслуживает ни оправдания, ни снисхождения. До, и вот еще что: ночью пошел первый мартовский дождь. Всю ночь дождь шумел о крышу, за окнами был непроглядный туман, сходили снега. Я сидел и слушал шум дождя, папирос у меня не было; я все выкурил. Потом я уснул. Вот и все. Что касается вашего ко мне отношения...» — Но тут о другом.

И женщина, мельком еще пробежав несколько строчек глазами, сложила письмо.

— Я хотела доставить вам это письмо еще до начала процесса, — сказала она затем, пряча аккуратно листки в свою ветхую сумочку, — но мне казалось, что если к этому письму я дам пояснения, многое, может быть, покажется иначе и глубже. Я знаю, что вряд ли Завержеев может рассчитывать на снисхождение, исключение из партии было для него самым большим осуждением... но мне хотелось, чтобы именно вы знали вполне о человеке, которого вы защищаете.

Жданович скинул пенсне, минуту поиграл им на шнурочке и надел снова.

— Вы мне позволите задать вам один вопрос? — сказал он затем.

Женщина ответила негромко и не взглянув на него:

— Пожалуйста.

— Скажите, почему Завержеев в письме к вам пишет, что именно вы должны его понять и именно вам он считает себя обязанным сказать всю правду?

Женщина молчала, попрежнему не глядя на него, не сделав ни одного движения.

— И еще один вопрос, если позволите, — говорил Жданович быстро и испытующе.

Она ответила ему так же:

— Пожалуйста.

— Относился ли Заверщеев к вам иначе, чем к другим женщинам, с которыми он познакомился в вашем городе?

Женщина покачала головой очень медленно:

— Нет...

— Тогда... может быть, вы относились к нему иначе, чем к вашим другим знакомым?

На этот раз женщина молчала дольше.

— Если бы это имело отношение к делу, я бы ответила вам, — сказала она затем.

И Жданович быстро откинулся на спинку скамьи. Все это подземное убежище с торопливо пьющими чай людьми, с буфетчиком за стойкой со стаканчиками простокваши, прикрытыми пергаментом, казалось отодвинутым в эту минуту далекой перспективой каких-то городских, посетивших на минуту видений. Перспектива сдвинулась, мир стал на привычное место. Женщина застегивала дешевенький мех, прикрывавший простую фланелевую блузку.

— Меня зовут Вера Дмитриевна Сумская... мой адрес — Невлянск, городская больница, если это может понадобиться вам.

Минуту спустя она ушла. Жданович еще ощущал в своей ладони ее худые холодноватые пальцы. Адвокатский портфель, привычно начиненный синими папками с делами, глянул вдруг раскрытым по-человечески зевом. Легкое облако, проплывшее недавно над женщиной, сидевшей на скамейке напротив, сменилось самоварным дымком вновь добавленного и согретого самовара, поджидающего пересохшие глотки ораторов и искателей человеческих падений и страстей. Новая толпа спускалась по лестнице, кончался один перерыв, начался другой.

Блистательная жизнь.

Повесть.

С. Сергеев-Ценский.

I.

До четырех лет он совсем почему-то не говорил, и первое слово, которое он твердо усвоил и вполне правильно произнес, — так же, как твердо говорили его отец и мать, содержатели маленькой пивной, — было: «откубрить». Можно было думать, судя по такому началу, что из него выйдет горький пьяница, но нет, не пьяница, а совсем напротив — вышел из него трезвейший и рассудительнейший человек.

Даже и женился он, имея тридцать два года отроду, только тогда, когда очень дешево, по случаю, приобрел небольшой домик на окраине города: иначе куда же было ввести жену как хозяйку? Говорили, что кроме домашней рухляди он и приданого за нею никакого не взял, и этому можно было поверить.

Служба у него была хотя и в частной страховой конторе, но прочная, и, казалось бы, причин для беспокойства не появлялось, однако странный человек этот всегда имел необычайно озабоченный вид и не улыбался: может быть, не умел делать этого и в детстве.

Люди, совершенно неспособные улыбаться, производят разное впечатление. Их называют или строгими, или глубокомысленными, или угнетенными большим горем. Иногда их уважают, иногда их побаиваются, иногда им сочувствуют до того, что, глядя на них, перестают улыбаться сами.

Но когда проходил по улице безулыбочный Гуржин Мирон Мироныч, все, знавшие его, снисходительно улыбались ему вслед. Между тем по виду он был вполне приличен: ростом не низок и не слишком высок, лицом не уродлив, костюмом опрятен. Если узнавал, какой галстук считается самым модным, непременно покупал именно такой, а старый укладывал в стол, где лежало порядочно других галстуков на всякий случай: мода переменчива, и кто знает, может быть, какой-нибудь из этих отверженцев войдет снова в моду, — тогда незачем будет тратиться на покупку: разыскать его у себя в столе, надеть и носить

Походка его была нетороплива, хотя сам по себе он был отнюдь не тяжел: просто — торопиться было не в его натуре: к чему? и куда именно? и зачем?

Кроме того он был подозрителен и очень осторожен. Это последнее, может быть, появилось в нем оттого, что он служил в страховом агентстве, куда приходит кто-нибудь, как будто с виду и положительный, — застраховать дом, а через какие-нибудь три-четыре месяца дом его вдруг сгорел. Заподозреть злой умысел трудно, однако не заподозреть еще труднее.

— Что же это вы, так-таки и погорели?.. И отчего же это? — не улыбаясь, спрашивал клиента Мирон Мироныч.

— Что будешь делать, когда огонь такой горячий? — весело отвечал клиент и улыбался.

Не принять страховку нельзя, и поручиться за то, что клиент — надежный, тоже нельзя, и доказать, что поджог, — поди, докажи, — а страховому обществу явный убыток.

Может быть именно такая служба, где приличные с виду люди иногда вдруг обнаруживали себя как жулики, повлияла на Мирона Мироныча в сторону подозрительных взглядов и нерешительных слов, но он сложился именно таким к зрелым годам своей жизни.

Много ли тридцать пять лет, когда люди доживают и до ста? Но вот именно в этом возрасте, как-то летом, когда, как известно, всюду в домах идут ремонты, он особенно удивил свою жену, сказавши тихо и несколько грустно:

— Предполагаю я, что надо уширить наш коридорчик так еще на поларшина.

— Ка-ак это так у-ши-рить?

Жена его, Феона Петровна, была ниже его и толще и, подняв на него мутные маленькие глазки, старалась понять ход его мыслей.

— Уширить по соображениям такого свойства, — начал объяснять он. — Например умираю я, скажем, в спальне... Как меня вынести оттуда, если соблюдать, разумеется, уважение к мертвому телу?.. Я ложился на пол, и вытягивал я ноги, как у меня это будет тогда, и я примерялся и так и этак, — оказалось, никак нельзя!.. Поэтому я и пришел к мысли, что...

Напрасно махала на него налитыми руками — короткими и тяжелыми — Феона Петровна, даже принималась плакать несколько раз, — переубедить его было нельзя. И к концу лета в их домике в четыре комнатки (три окна на улицу, два во двор) появились плотники, урезали, раздвинули, и комнатки вышли уже, коридор шире на поларшина.

Тогда же, в сентябре, он как-то приехал домой на извозчике, — привез большой чугунный узорный намогильный крест, покрашенный в серьезный и прочный аспидный цвет.

— Господи! Что это за страсти такие? — испугалась Феона Петровна.

— Дешево: всего шесть рублей, — ответил он ей, помогая извозчику выгрузить и внести во двор покупку.

— Да на что же, на что же он нам?

— Как же так неосмысленно спрашивать, на что? — укорял Мирон Мироныч. — Никто из нас не знает дня кончины, а вот когда помрем, пригодится.

— Такая вещь, она свово дождется! — говорил и извозчик, кряхтя.

— Да ведь я же теперь спать больше не буду! — ужасалась Феона Петровна.

— Ничего, я думаю: привыкнешь, — скромно, но упорно опровергал Мирон Мироныч.

— Сон придет, уснешь! — поддерживал извозчик.

Так водворился в сарае чугунный крест; был он, конечно, прочен и ждать мог долго.

Когда же Феона Петровна, скучая без живого существа, за которым она могла бы ухаживать, задумала купить корову, Мирон Мироныч долго ходил по комнате, опустив голову и шевеля губами, наконец сел к столу, взял лист бумаги и карандаш и начал графить и писать своим убористым четким почерком.

— Что же ничего ты мне не говоришь насчет коровы? — спросила жена.

— А разве можно сказать так сразу? — ответил муж. — Сообразить надо и... вычислить.

— Сколько корму на нее пойдет?.. Это я уж считала.

— Кор-му!.. Ум женский!.. Разве дело в корме?.. Дело совсем не в корме... А вот, например, она заболела... Хорошо... Заболела... И ведь ее же не спросишь: чем ты, корова, заболела?.. Скорее надо, например, прирезать, чтобы кровь стекла... Хорошо, как это случится в октябре, в ноябре, в декабре... Или, начиная с нового года, — в январе, в феврале, в марте месяце... А если в мае? Если в июне? Если в июле?.. Что будем делать тогда мы с мясом? Солить нельзя: летом никто не солит мяса... Мяснику продать, — не иначе... А мясник воспользуется случаем да даст совершенные какие-нибудь пустяки, а торговаться с ним как станешь?.. Держать мяса долго нельзя, погода жаркая, — значит, вот и придется отдавать за бесценок... А то еще может и такое быть, что мяса и продать нельзя: сибирка, например, чума, — да мало ли их есть, болезней страшных?

Речь Мирона Мироныча, вдумчивая и богатая злыми примерами, тщательно внесенными на графленный лист, окончательно сбила с толку Феону Петровну, и от коровы она отказалась. Зато подобрала она где-то брошенного котенка, маленького, беленького, тоненького и с огромнейшими прозрачнейшими ушами.

— Безжалостные люди, — говорила она мужу, — бросили животное, а ведь оно может пропасть без пищи!.. Иду я, слышу: пищит, как из земли, а оно в ямку забилось и пищит... И где-то в колючках лазало:

из одного только животика я семнадцать штук повытаскивала... Шутка ли было ему терпеть, бедному?.. И вот вымыла я его теплой водой да на окно посадила сушить, боюсь, кабы не простудился... Кажись, даже покашливать начал.

Мирон Мироныч долго смотрел на котенка, дрожавшего на окне, хоть и закутанного в теплый вязанный платок, и сказал наконец:

— Ничтожно!

А после этого долго ходил по комнате и думал.

Крысы в его домике не водились, а от мышей Мирон Мироныч ставил мышеловки, в которых каждого мышонка сосредоточенно колол шилом, прежде чем обварить его кипятком. Минут через двадцать после усиленного обдумыванья вопроса о котенке он добавил к слову «Ничтожно» еще:

— И бесполезно.

Однако котенок не простудился, а недели через две появился у Феоны Петровны другой котенок — дымчатый, а еще через месяц — трехцветный.

— Больше этого числа я запрещаю, — твердо сказал ей муж.

— Больше я и сама не буду: хватит и этих, — сказала жена.

Котята выросли, сделались котами, и так как Мирон Мироныч не любил их, то дал им имена и отчества своих врагов по службе и по соседству, и даже Феона Петровна, звавшая сначала котят то Мурчиком, то Мурзиком, то Мырчалкой, стала называть их сложно: одного — Яков Сергеич (был такой бухгалтер в страховом агентстве), другого — Семен Сидорыч (старший помощник агента), третьего — Мордухай-Болтовский (был по соседству такой отставной подполковник, пьяница и задира, который, встречаясь на улице с Мироном Миронычем, норовил смотреть на него уничтожающе или даже толкнуть его локтем и обругать мужицкими словами).

Затрагивать кого-нибудь из этих трех своих врагов Мирон Мироныч боялся, но, получивши от того или иного из них какую-нибудь очередную обиду или неприятность, он подходил к мирно дремавшему на подоконнике или на стуле коту, носящему имя обидчика, и, прицелившись хорошенько, давал ему в середину выпуклого лба такого щелчка, что кот как ошпаренный вскакивал и вылетал стремглав из комнаты. Больше всех доставалось трехцветному Мордухай-Болтовскому...

Когда же в агентство на летние месяцы как-то вместо Якова Сергеича, получившего месячный отпуск для лечения гемороя, был приглашен молодой человек Кишмишов, сразу не поладивший с Мироном Миронычем, то Феона Петровна сообразительно подобрала четвертого котенка, сразу получившего кличку: Нахалюга Кишмишов. Впрочем этот котенок приятного рыженького цвета стал получать так не по возрасту много щелчков и таких сильных, что скоро сбежал, и это вышло, конечно, кстати: вернулся Яков Сергеич.

Кто-то завел по той улице, по которой обычно проходил Мирон Мироныч, огромного сен-бернара, любившего лежать около своей калитки

на тротуаре. Сен-бернар этот был уже старый и необыкновенно мирного склада, но Мирон Мироныч непобедимо испугался его в первый же раз и поспешно повернул обратно, потом перешел на другую сторону этой очень широкой улицы, чтобы, пройдя квартал, опять перейти ту же улицу и итти по своей привычной стороне.

Иногда сен-бернара даже и не было видно на тротуаре, но ведь он мог выйти из калитки как раз в ту минуту, когда Мирону Миронычу придется проходить мимо. И Мирон Мироныч все-таки не решался итти прямо и переходил через улицу, делая кружный путь.

Так он делал четыре года, пока огромная собака наконец не издохла. Тогда, измеривши точно шагами ширину улицы, помножив эту ширину на два, а что получилось — еще на два, так как обходить собаку приходилось два раза в день, потом подсчитав, сколько дней было в четырех годах, Мирон Мироныч как-то на досуге высчитал, что сделал он всего крюку сто двадцать верст... И ради кого?

Сказал он жене скорбно:

— Ведь это все равно, что в Москву пешком дойти!.. Эх, люди!

А Феона Петровна соображала вслух:

— Посчитать бы еще, сколько такая собака стоила ее содержать!.. Ей-богу, дороже лошади, если лошадь одним только сеном кормить!.. Ну, так ведь от лошади же польза, — не с собакой сравнить!..

Все-таки задумавшись по этому случаю прилежно: зачем люди заводят собак, — она втайне решила завести на случай ночных воров домашнего сторожа, — маленькую комнатную собачку (все-таки даст знать, когда уснешь крепко) и достала совсем куцого крохотного лохматого черненького щеночка с висячими ушками и белыми еще глазами, назвала Куклой.

Кукла оказалась, правда, комнатной, — ее не обманули, — и скоро в низких комнатах зазвенел высокий заливчатый лай очень уверенной в себе собачонки, которую даже Мирон Мироныч не называл глупой.

Нет, она даже удивляла его тем, что отлично ужилась и ладила с тремя котами, а когда наиболее подвижной из них Мордухай-Болтовский затевал с нею оживленную игру, трогал ее лапкой, отскакивал, проносился мимо нее вихрем, стараясь задеть ее весьма пушистым хвостом, ложился перед нею на спину с видом большой покорности, а она на него победно лаяла изо всех сил, и Феона Петровна, глядя на них, восхищенно била себя по жирным ляжкам и вскрикивала: «У-мо-ра» — тогда и Мирон Мироныч устремлял на них свои задумчивые глаза не без удовольствия.

Правда, ни один мускул не шевелился при этом на его лице, сработанном аккуратно, без всяких следов страстей и без резких линий сильных характеров, но зато он говорил веско, обдуманно и резонно:

— Д-д-да... действительно!

2.

Еще когда был он холост, хотел Мирон Мироныч сдать экзамен на чин при местной гимназии и сосредоточенно читал необходимые учебники, однако непостижимо провалился по всем предметам: даже «Отче наш» не мог правильно прочитать. А на вопрос математика:

— Какие бывают треугольники?

Он ответил вдумчиво и неторопливо:

— Треугольники бывают: треугольные, четыреугольные, пятиугольные, шестиугольные и многоугольные вообще.

Когда же математик показал ему на угол стола и спросил:

— Может быть вы знаете, какой это угол?

Мирон Мироныч ответил презрительно и высокомерно:

— Деревянный.

Что он не был лишен честолюбия, он показал в девятьсот пятом году, когда конторские служащие всего города собирали подписи под своим заявлением какого-то политического свойства. Он только справился тогда:

— А не опасно ли будет подписаться?

Ему ответили:

— Как же может быть опасно, когда объявлена конституция?

И он взял лист и торжественно вывел на нем:

«К сему прошению всецело подписуюсь. Мирон Гуржин».

— Это и многословно и не совсем точно, — сказали ему.

Но он ответил вызывающе:

— Ничего! Пусть!.. Пусть во всем городе знают, какой у меня красивый почерк!

Когда он бил комаров на себе летом, то приговаривал однообразно, однако вполне серьезно:

— Дай, боже, и мне такой же легкой смерти!

А когда покупал что-нибудь в магазине, то никогда, принеся домой пакеты, не резал на них шпагата ножом, а непременно развязывал, какие бы ни были тугие узлы: это чтобы не выводились в доме деньги.

Феона Петровна говорила «вифлеёмица» вместо «инфлуэнца», «животрепячая рыба», «клетчистое платье» и в первое время, когда вышла замуж, ретиво учила своего мужа по вечерам играть в какие-то «лягушечьи дурачки».

Но серьезный Мирон Мироныч этому не поддался.

Иногда она грустила по своей веселой девичьей поре, говоря мечтательно:

— Бывало, соберемся и танцуем, танцуем себе, танцуем, пока гармонист наш «Тоску по родине» не заиграет... Тогда уж, разумеется, расходись по своим домам.

И добавляла к этому соблазняюще:

— Хоть бы когда в театр нам сходить'

Он же отвечал каменно-твердо:

— Ничего... Хороши и без театра...

— Ну, как же так хороши!.. Все-таки там что-нибудь иной раз увидишь!.. — убеждала она.

А он:

— Что же из того, что увидишь?.. И яблоки у соседа в саду вон висят, и мы их со двора своего тоже видим, а они все не наши с тобой... Увидишь, в карман не положишь...

Пробовала Феона Петровна дома в первое время веселиться так: встретит его, когда он только что вернется со службы и скинет фуражку, и скажет ему таинственно и вся лучась сквозь щели узеньких серых глаз:

— А у меня медведь!

— Ка-кой мед-ведь? — отступит он боязливо.

— Такой! Настоящий!

— Где медведь? — занесет ногу назад за порог Мирон Мироныч.

— Вот он!

Тут она кидалась ему на шею и ерошила его волосы, как могла:

— Посмотри теперь на себя в зеркало: — не медведь?

Но Мирон Мироныч неспособен был понимать никаких шуток, — он только запомнил это, чтобы отучить ее петь.

И когда она начинала петь тонким и жалостным голосом, возясь над тем или иным по хозяйству, он подходил к окну на улицу, отворял его (или форточку в нем, если это случалось зимою) и говорил мрачно, как будто кому-то назойливому:

— Это не ваша гиена воет, нет, не ваша!.. Что из того, что зверинец у вас разбежался?.. Никакого нам дела до этого нет!.. Похоже на вашу гиену?.. Ну, что же, что похоже!.. А только это — наша гиена, а совсем не ваша!

Так понемногу Феона Петровна совсем отвыкла петь.

Уже к пятому году супружества она одомашнела до того, что когда пришлось ей быть свидетельницей на суде, где и предложили-то ей всего только два вопроса, — и то от волненья потеряла она за один день восемь фунтов весу.

И если думающий о смерти Мирон Мироныч без ее ведома купил чугунный крест на могилу, то она, поглощенная заботами о жизни, в первый же год замужества, проходя с базару мимо одного скромного дома и разобравши крупное объявление на его воротах: «Богословские книги, проповеди и супружеская кровать продаются» сделала тоже самочинную покупку и, конечно, не богословскими книгами и проповедями, а супружеской кроватью вдовой попадьи украсилась спальня Мирона Мироныча.

Однако кровать оказалась несчастливой: Феона Петровна не тяжелела и говорила по этому поводу недоуменно:

— Что же это такое? Вроде как пострамление!.. Или это мне за то, что я на полотенце к образам ангела вышила, а он у меня какой-то кривой оказался?.. Ну, так разве же это я нарочно?

Но убиваясь и оплакивая в одиночестве свою бесплодность, она неудержимо толстела.

К скромному жалованью своему Мирон Мироныч прирабатывал немного в тех случаях, когда его посылали определять убытки при маловажных пожарах. Тогда каждому хозяину хотелось, чтобы в протоколе осмотра сгоревшего было гораздо больше, чем на самом деле, и для достижения этого под протокол подсовывалась та или иная кредитка скромных качеств.

И Феона Петровна не тратила денег на пустяки: она хозяйничала толково, аккуратно, ретиво и с полным пониманием своего дела.

3.

Есть персидская пословица: «Время — отец чудес»... Но время летело над домиком Мирона Мироныча, — чудес же от него не было.

Может быть они и хотели иногда проникнуть в какое-либо из пяти окошек этого обиталища, но останавливались перед несокрушимой стеною безулыбочности и расчетливости, как известно, не допускающей никаких чудес.

Даже когда Феона Петровна, не в меру располоневшая и засыпавшая почему-то только на левом боку, вскакивала среди ночи от перебоев сердца и начинала жаловаться на страшные сны, Мирон Мироныч спрашивал несочувственно:

— Что же ты, все-таки, такое страшное видишь?

— Да все их же, поганых: чертей! — стонала Феона Петровна.

— Гм... И что же они?.. Как же?

— Да все гонятся за мною и гонятся, гонятся и гонятся, проклятые!

— А догнать, значит, они тебя не могут?

— От них какое же еще спасенье? Возьму да проснусь со страху!

— И как же у них, — все, стало быть, явственно? И рожки и хвосты видно?

— Ну, а как же еще?

Мирон Мироныч добросовестно думал минут десять и, когда супруга вновь уже засыпала, кое-как устроившись на правом боку, он объяснял ей серьезно и спокойно:

— Это, наверно, козлы какие-нибудь тебе снились.

Тогда Феона Петровна обижалась — и на то, что он ее разбудил снова, и на то, что не поверил в ее опытность, — и ворчала:

— Ну, вот, что я их — отличать, что ли, не умею?.. Городит чорт-те что-о: коз-лы-ы!.. Пусть ты меня такой уж из дур дурой считаешь, однакож рукавов я еще пока не жую!..

Сам же Мирон Мироныч или совсем не видал снов или забывал их бесповоротно тут же, как просыпался. Он не хотел придавать значения снам: он находил, что и без снов жизнь достаточно загадочна и требует всегда неусыпных забот и размышлений: где и как, например, обойти?

какой поспешностью отступить? Как и чем отклонить грозящую неприятэсть: молчаливостью, вежливым ли поклоном или же положиться на эоворство ног?

И когда началась внезапно и грозно мировая война, он присвистнул іхо и сказал озабоченно:

— Ну, вот и на-тебе!.. Опять война!.. Давно ли была с японцем, — іперь с немцами!.. Хорошего от этой истории я ничего не жду!

Война же лично его не касалась: как раз перед войною в апреле эсяце ему исполнилось сорок три года, так что и в ополченцы его взять не огли.

Газет никогда не читал он раньше, — не читал и теперь, а в телеграмıх, расклеенных на улицах, он сначала удивлялся тому, сколько пленых берут наши армии и сколько орудий и пулеметов. Привыкший иметь ло с жилыми домами, которые большей частью и страховались в их агентве, он сначала изумлялся: куда же денут такую уйму пленных, — наприэр, девяносто тысяч?..

Он говорил Феоне Петровне ошеломленно:

— Ты пойми: ведь для них три таких города надо построить, как ıш, чтобы их разместить только!

Но уже через несколько дней трех городов оказалось мало, — надо ıло десять или одиннадцать, а потом Мирон Мироныч потерял даже и ет этим предполагаемым городам.

В их же городе, между тем, дома как-то сразу перестали строить, со страховыми делами началась какая-то непонятная странность.

Деньги падали, — надо было повышать страховые, а клиенты, махая ками, говорили на это возмущенно:

— Ну, вот еще! Что это выдумывать такое зря!

— Однакоже, — пробовал объяснять Мирон Мироныч, — лимон ера жена моя пошла в лавочку покупать, а прибегает оттудова сама не эя, и лица на ней нет... Я: «Что ты, Феня? Что с тобой?.. Или эдце?..» А она: «Ты пойми: двадцать пять копеек... — «Что? Лин?» — Лимон! А то что же еще? «Ли-мон!.. Тот самый, какому кровная на пятачок!»

Но на это возражали Мирону Миронычу клиенты:

— Лимоны, — они заграничные... И скоро их совсем, похоже, не дет... А страховые конторы — они наши, православные, и никуда от с они уйти не могут...

Хозяин Мирона Мироныча, которого он называл за глаза принцином, а в глаза — Августом Эрнестычем, страховой агент «Первого росйского страхового агентства», важный и плотный старик, хотя и был эский подданный, чувствовал теперь себя, как немец, не совсем ловко. когда, подымая кулак и откачивая бородатую лобатую голову, он крит, блистая очками:

— О-о! Мы им покажем, этим немцам!

То даже и Мирон Мироныч, потупясь, отводил от него глаза.

За год перед войною Август Эрнестович вошел в партию октябристов, и, конечно, в ту же партию записались вслед за ним, чтобы поддержать его на выборах, все служащие в его конторе: и Семен Сидорыч, и Яков Сергеич, и Мирон Мироныч.

Записавшись в октябристы, последний долго ходил задумчивый, наконец сказал об этом жене.

— И что же, набавка жалованья тебе за это будет? — живо осведомилась Феона Петровна.

Со всех сторон еще раз, но безмолвно обдумал происшедшее Мирон Мироныч, наконец сказал:

— Дело новое... И ко многому может оно привести...

Однако та война, которая шла и шла, не переставая, оказалась делом еще более новым.

Город Мирона Мироныча хотя и был из очень хорошо запрятанных в лесные дебри, однакож к осени пятнадцатого года дохлестнули и до него беженцы из Галиции, из Польши, из Белоруссии, и на улицах зазвучала речь, до того совершенно неслыханная для четы Гуржиных, и появились непривычные для глаз черные вздутые муаровые картузы и пейсы под ними, смушковые высокие шапки, белые войлочные шляпы, — и много всякого, — и в городе стало заметно теснее. Замелькали и команды пленных австрийцев...

— Была я на кладбище, — рассказывала Феона Петровна мужу: — мамашу поминала, как ей теперь ровно двенадцать лет смерти, — и стоит там один хохол, — дите похоронил, — стоит и сам ругается: дорого с него взяли — пять рублей могилку детскую выкопать... — «А ты бы, — говорю ему, — дядя, взял бы да сам выкопал, как ты с землей обращаться умеешь»... А он на меня как гаркнет: — «Хиба ж у нас оттака зымля?.. Я на цию зэмлю и плевать нэ хочу!» Вон они какие, беженцы называются!

А Мирон Мироныч говорил опасливо:

— Нынче к нам еще двое полячков наниматься приходили, чтобы в конторе писать... Каждый день ходят! Каждый день ходят!.. Теперь за место всеми зубами держись, а то возьмут и вырвут!.. Август Эрнестыч приказал себя Антоном Эрастычем звать... Говорит, будто это — одно и то же... Мы зовем: Антон Эрастыч, — что ж!.. Язык не отвалится... И прежде явственно он подписывался: Кесслер, а теперь по подписи как будто Киселев он выходит... Русскую рубашку косым воротом и петушками вышитую надел...

Подполковник Мордухай-Болтовский в первые же месяцы войны был мобилизован, и куда-то угнали его в ополченскую дружину, так что трехшерстный кот, ставший теперь очень важным и ленивым, совсем уж не получал щелчков.

Яков Сергеич и Семен Сидорыч иногда еще досаждали Мирону Миронычу тем или иным, и соответствующие коты соответственным образом страдали.

Кукла же разжирела, как и ее хозяйка, очень взлохматела, много спала на мягком стуле и оравнодушела ко всему на свете.

Но вот, вдруг, в конце февраля царь почему-то не захотел больше править Россией и отрекся, и в первый раз за всю жизнь Мирона Мироныча стала Россия без царя.

— Что же это такое?.. Как же теперь будет? — воззрилась на мужа Феона Петровна, принеся эту страшную новость с базару, так как Мирону Миронычу нездоровилось и он уже два дня не ходил в контору.

Он выслушал новость эту ошеломленный, но даже и сомневаться в ней не стал: он только захлопал беспомощно глазами, и в раскрытый рот его, перескакивая через утлые усы (бороду он брил), вдруг потекли крупные слезы.

Когда же он получил возможность говорить, он сказал жене укоризненно, веско и веще:

— А ты еще пилила меня тогда: зачем я за шесть целковых крест чугунный купил!..

Все это показалось Феоне Петровне до того необъяснимо ужасным, что и она заплакала и шлепнула тяжкой ладонью Куклу, спавшую в это время на ее супружеской кровати: не дрыхни, подлая, безмятежно, когда такое настало!

Царя так и не оказалось, полицейских тоже сняли, но страховое агентство еще кое-как скрипело, и даже вместо невнятного «Киселев» опять появилось на бумагах принципала довольно отчетливое «Кесслер», и когда в имени-отчестве его стали сбиваться опять на прежнее, он уже не поправлял...

Он говорил теперь раскатисто:

— В данное время, господа, раз царя нет, то скорый и почетный должен быть мир!.. Скорый и почетный... и... и... и вечный!.. Мировой пожар скоро будет потушен, — это знайте!

И, передавая эти слова жене, Мирон Мироныч добавил полушопотом:

— А Яков Сергеич, от большого-то ума, возьми, да и спроси после этого: — «А какое же агентство будет по этому пожару убытки платить?» Ведь вот же неймется человеку... Ах-ах-ах!.. Август Эрнестыч на него только глянул, а сказать ничего не сказал... За подобный вопрос, если теперь так все переменилось и войну до победного конца объявили, — он ведь его может с места долой!.. Ясно, что платить немцы будут!.. Наши уж на них так в наступление и рвутся!..

Но потом, когда густо и неудержимо повалил солдат с фронта домой, Мирон Мироныч загрустил. Походит-походит по комнате, остановится вдруг и скажет громко: «Викжель!..» Потом опять зашагает из угла в угол.

Однажды он даже купил газету и сначала прочитал ее всю про себя, потом начал читать ее снова и вслух Феоне Петровне.

К тому, чтобы Мирон Мироныч говорил очень долго подряд, хотя бы и читая вслух, она не привыкла; больше того, — ее пугало это, и она все

норовила улизнуть от него куда-нибудь по хозяйству. Но он неотступно двигался за ней и читал: она на кухню, и он на кухню; она в сарай, — и он в сарай... Так что взмолилась она наконец:

— Господи! Да что же это за наказание!..

В то, что читал ей муж, она совершенно не вникала и даже никак не могла вникнуть, но даже виски у нее взмокли от напряжения.

А он читал о том, что «нашими солдатами зверски убит помощник фронтового комиссара Романенко», что «несмотря на наши сильные природные позиции у Микулинце и Струсова, немцы переправились в этих пунктах через реку Серет», что «Ллойд-Джордж принял звание председателя нового клуба «Русско-британского братства», и это показывает, что он не утратил еще веры в будущее России»...

Как-то в октябре что-то случилось еще, повидимому самое страшное, потому что вскоре собрался неожиданно и исчез куда-то из города Август Эрнестович.

В воскресенье занятий в конторе не было, а утром в понедельник пришел Мирон Мироныч, — и контора оказалась запертой.

Потом подошел Яков Сергеич, подергал все двери, заглянул во все окна и сказал наконец:

— Значит, сбежал, немец проклятый!

Справились у дворника. Оказалось, что действительно, в воскресенье, в обед, куда-то уехал со всем семейством, но вещей домашних с собой не вез, только чемоданы, корзины.

— И много ли чемоданов? — справился Яков Сергеич.

— Чемоданов-корзинов... так что порядочно, — ответил дворник.

Семен Сидорыч почему-то тоже не явился. Пошли было к нему на квартиру, но так и не добились, дома ли он или тоже скрылся. Однако вышла к ним с заднего крыльца его жена, вся расстроенная и шепнула:

— Говорят, большевики октябристов арестуют!

Мирон Мироныч не стал ожидать, что предпримет Яков Сергеич: он махнул рукою, сказал убежденно: «Я предчувствовал» — и пошел домой.

Три ночи он не спал: все ждал, что к нему явятся какие-то неведомые и потащут в тюрьму. Наконец не выдержал: надел на себя все самое старое, дырявое, взял узелок с домашними пышками и пошел к городской тюрьме.

Около тюрьмы прохаживался какой-то маленький человек с большой винтовкой-берданкой и с красной повязкой на рукаве обыкновенной байковой ватной куртки.

Мирон Мироныч подошел к нему, усталый, измученный бессоницей, и сказал хрипло:

— Сажай и меня в это здание: — я октябрист!

И хотя человек с винтовкой крикнул в ответ на это:

— Пшел отседа, а то заколю! — и действительно, грозно выставил штык, — Мирон Мироныч только отошел неспеша на противоположную

сторону тюремной площади, сел на пень какого-то дерева и сидел до вечера, неотрывно впившись глазами в тюремные ворота, к которым иногда подъезжали автомобили.

Только к ночи Феона Петровна, пришедшая проведать его в тюрьме и узнать, не надо ли ему еще пышек и дали ли ему чаю и сахару, нашла его на этом пне и не без некоторых усилий увела домой.

Несколько дней понадобилось на то, чтобы он успокоился и пришел в себя.

Однако страховая контора все-таки продолжала оставаться запертой, никто не платил Мирону Миронычу привычного жалованья, никто не посылал его определять убытки от пожаров...

— Приходится переждать пока, — говорил он жене задумчиво и не совсем убежденно.

5.

Потом началось самое странное.

Август Эрнестович как в воду канул; и все другие страховые агентства и конторы нотариусов, и даже камеры мировых судей, и все вообще привычные места, где писали такие же Мироны Мироныч, закрылись, а вместо них открывалось что-то новое и с новыми непохожими людьми.

Жизнь дорожала; Феона Петровна начала худеть, Мирон Мироныч — сутулиться и глядеть исподлобья, и волосы его стали седеть прядями. Если бы он остригся наголо, то голова его казалась бы точно усеянной серебряными пятачками. Даже и в черных лохматых бровях засеребрело.

Однажды, — это было тоже осенью, через год после того, как бежал Кесслер, — в городе замаршировали по улицам военные отряды, блестя страстью ружейных стволов, на-рысьях проскакал взвод кавалеристов, и вороные сытые лошади, нагнув головы, провезли одну за другой шесть пушек мимо домика Гуржиных куда-то в поле.

А потом домик весь сотрясался от орудийных залпов, с подоконников на пол падали стаканы, и Феона Петровна, ползая по полу боком, подбирала осколки, Мирон же Мироныч, весь смятенный и укротившийся, шептал:

— Да ведь это же значит — бой!.. Как же у нас бой.. С кем?.. А если крышу провалят?..

В сумерки вороные лошади провезли пушки обратно, промчалось несколько кавалеристов галопом, потянулся обоз, очень шумный и бестолковый, и, наконец, замелькали беспорядочно пехотинцы.

Очень страшно было на улицах, но когда стемнело, оказалось, что дома сидеть еще почему-то страшней. И вот, в темноте и в осенней сырости, оба они, привязав Куклу снаружи стеречь дом, который заперли всеми замками, крадучись по задворкам, ушли, перебравшись через два невысоких забора в сад к соседу, где была старенькая гнилая беседка в такой глуши, что кто же новый, не зная, ее найдет темной ночью?..

Там они просидели час, два, три, пока отгремели какие-то близкие выстрелы и отсвистели пули вверху.

— Боже мой, боже мой! — шептала Феона Петровна, крестясь.

— Господи! господи! — шептал Мирон Мироныч.

Но вот утихла стрельба, — только как будто сопела и кряхтела кругом окраина. И часам к двенадцати ночи выбрался из своего убежища Мирон Мироныч и, держа за руку жену, осторожнененько, прислушиваясь, вглядываясь в слоящуюся темноту кругом, долго он пробирался задами к своему дому.

Нет, все-таки это было единственное надежное — свой дом, самое прочное из всего в этой утлой расколыхавшейся жизни... Все-таки можно, придя, лечь на свою честную преданную кровать, и, может быть, удастся уснуть, а завтра будет видно, что это была за пальба и в кого палили.

Когда же выбрались они к своему двору, больно поразило их: фыркали лошади в их сарае — в том самом сарае, в котором сколько уж лет были у них только дрова, куры да чугунный крест!

Сначала они даже не поверили ушам, но нет, — и пахло лошадью... и намешанная лошадиными копытами грязь чавкала под ногами.

Когда же из-за сарая открылся дом, он так и прянул ярко в глаза освещенными окнами!

— Неужто зажгли все три лампы? — прошептал Мирон Мироныч, едва шевеля губами.

— И сколько ж мы керосин берегли — прятали, — неужто ж нашли? — прошептала Феона Петровна.

А в грязи на дворе вдруг слабо пискнуло что-то, и при свете из окна разглядели они, что это (ах, злодеи, злодеи!) валялся их сторож. Кукла, раздавленная так, что уж не могла подняться.

Кукла узнала их, Кукла начала визжать громче: они были ее боги, они были всесильны, они должны были взять ее, вымыть и высушить, положить на мягкий стул, сделать ее прежней здоровой, резвой собачкой.

Феона Петровна плакала бы по ней, если бы не опустилось в ней все, если б не такая страшная тоска, что даже заболели сразу все зубы на правой стороне.

— Куда же теперь? — беззвучно спросил Мирон Мироныч.

В это время вдруг вышел из сарая какой-то солдат с охапкой дров, — солдат настоящий, в фуражке с кокардой.

Они стояли в темной тени, и он их не заметил, прошел в дом.

— Печку топят! — шепнула Феона Петровна.

— Добровольцы! — шепнул ей Мирон Мироныч.

И как будто с этим солдатом, пронесшим охапку их дров, отошла часть страха, сковавшего ноги; они осторожно, за шагом шаг и держась тени, придвинулись к ближнему окну и глянули внутрь.

Лампа горела во-всю, и даже красный язык тянулся в стекло, но не замечали, что коптит она, офицеры, рывшиеся в сундуке, в котором лежали платья Феоны Петровны, теперь разбросанные всюду по комнате.

Один из офицеров был белобрысый, молодой и плотный, другой — с черными усиками, а сам плешивый, третий же был старик, и погоны его — две красных полоски по золотому полю — почему-то, неопределимо — почему, — показались знакомыми Мирону Миронычу, и мясистое розовое ухо старика этого тоже и еще больше напоминало кого-то очень знакомого.

А когда старик поднял голову от сундука и стал дрожащей рукой прикручивать лампу, оба — и Мирон Мироныч и Феона Петровна — присели в одно время и толкнули друг друга локтями: это был Мордухай-Болтовский.

Он постарел страшно, он похудел, он подстриг себе бороду, — но это был он.

И Мирон Мироныч почувствовал всем телом, что нет у него больше дома. Это уж не оторопь была: оторопь приходит и проходит, — это было опустошение внезапное, но последнее.

Мирон Мироныч решительно потянул жену от окна, и жена покорно двинулась за ним следом.

Дрожащие и бескостные какие-то оболочки двух людей, — хлюпанье и студенистый трепет, — переползли они опять через ночные осенние скользкие и невнятные заборы, добрались до той гнилой беседки, в которой перед тем сидели, но не задержались в ней, — пошли дальше.

Куда именно? Неизвестно!.. Они не растворились же, конечно, в этой темной испуганной ночи, нет, но они больше уж не приходили в свой дом. Им не пришлось умереть на своей супружеской кровати, и напрасно, значит, уширял коридорчик на поларшина Мирон Мироныч: его тело не суждено было выносить из спальни!.. Напрасно купил он и чугунный крест, окрашенный в прочную аспидную краску... Все было напрасно... и вообще очень трудно человеку угадать свою судьбу...

Говорили, что дней через пять после того, как они ушли, когда добровольцы уж снова были выбиты из города, три разномастных кота в их разграбленном домике жрали чей-то, «повидимому человеческий» желудок, набитый пшеной кашей... Но коты ведь вообще имеют обыкновение тащить в дом все, что попадется им в зубы... И, может быть, желудок этот был совсем даже не «человеческий»... И, наконец, какое отношение мог иметь этот желудок к пропавшим Мирону Миронычу и его жене?

Я не верю, чтобы так-таки бесследно и пропала эта чета... Она непременно укрепилась где-нибудь в другом месте... Велика страна наша, и добрые люди ее населяют, и если вы знаете, где живут они теперь — Мирон Мироныч Гуржин, лет этак пятидесяти семи, и Феона Петровна, лет на тринадцать моложе, — то сообщите об этом.

Переделка американца.

Михаил Кольцов.

Зимой двадцать первого года Америка осерчала на нас. Мы тоже чего-то такое обиделись. Полуофициальная советская миссия в Нью-Йорке во главе с товарищем Мартенсом объявила о демонстративном своем отъезде.

Мы встречали работников миссии в Петрограде, на пустынном, занесенном снегами Балтийском вокзале. С запасных путей подали целый вагон людей в кургузых пальто, бледных, как от морской болезни, женщин, плачущих ребятишек. Все — мужчины, женщины дети — были в больших круглых марсианских очках. Это было ново для России, внушало уважение, жалость и легкую тревогу.

Американцы навезли с собой много домашнего барахла. Зная о блокаде, о товарном голоде и просто голоде, каждый из них припас себе по дюжине зубных щеток, по шести пар очков, по пять дюжин вязаного белья. Один взял с собой громадную бутыль чернил для своей самопишущей ручки; чернила сначала замерзли от холода в нетопленном вагоне, потом бутыль взорвалась в чемодане и залила все вещи. Второй из путешественников — большой верзила, в каких-то особенно толстых, прямо водолазных очках, — видимо больше всего испугался отсутствия в России шнурков для сапог и привез их целую катушку.

Верзила этот, после выгрузки советских американцев в Петрограде и распыления их по разным учреждениям, как-то больше других уцелел в поле зрения. Звали верзилу Сэм Эснис, — по-нашему это выходило Соломон Осипович Аснис. У него были ярко пылающий цвет лица, жена Берта и неисчерпаемое, как это нам казалось, обилие банок со сгущенным молоком и консервированным мясом. Неисчерпаемость вытекала из той легкости, с которой Аснис раздавал свои банки после первого же знакомства жадным петроградцам. Он совал плитки с шоколадом, карандаши с наконечниками, вязаные шарфы и толстые шерстяные носки:

— Берите, берите пожалуйста! У меня есть, для меня еще хватит, у меня еще много останется

В городе даже в теплые дни люди ходили в валенках, зябко кутались в крестьянские зипуны. От вечного — иногда даже не физического, а

психического голода — вечно что-нибудь жевали: старую хлебную корку, грязную сосульку расплавленного на свечке сахара, сырую овсяную крупу. Высшим аристократическим лакомством считались привозные перепревшие бобы, почему-то прозванные красинскими (Красин закупал), и американский шпик — белое полужидкое топленое свиное сало. Эти деликатесы выдавались по пайкам первых категорий — рабочим горячих вредных цехов и ответственным работникам.

Аснис отказывался, когда его в ответ на подарки приглашали к столу. Его явно поташнивало при одном взгляде на белый шпик. Он мягко, извинительно говорил:

— Да... это у нас называется «лард». В Америке этим... смазывают разные... вещи... и... еще... кормят... разных... животных... я... еще.. не привык... я потом... тоже научусь... это кушать... Вы... может быть, возьмете у меня еще коробочку мясных консервов? Даю вам мое честное — она мне совсем не нужна, у меня еще много! Если вы настоящий товарищ, возьмите пожалуйста! Не заставляйте так упрашивать! Ведь вы настоящий товарищ!

В отношении молока и консервов все оказывались настоящими товарищами. Никто не заставлял себя долго упрашивать. Так же обстояло и с шерстяными носками, шарфами, сахаром, самопишущими ручками, галстуками. Мы пробовали взывать к благоразумию Асниса, но он был непреклонно, ликующе щедр, как будто в его распоряжении стоял в порту запасный пароход, доверху груженый шоколадом и теплыми шарфами.

Кончилось это быстро и категорически. Аснис усох сразу, он лопнул, как банк с громадными вывесками, но без всякого капитала. Не успела пройти слава о недалеком и богатом американце, швыряющем вокруг себя жизненные блага, как его уже до тла обобрала, объела, опила до последней капли чернил и иоду в дорожной аптечке орава новых знакомых. Каюсь, и я слегка участвовал в этом грабеже, прикрывая стыд гнилыми иллюзиями: не обеднеет этот Аснис от банки молока.

Но Аснис обеднел. Он пришел утром общипанный, перепуганный и жалкий, даже как-то ниже ростом, похожий на себя только прежними очками с двойными стеклами. От его американской бодрости не осталось и следа.

Из чистой, хорошо отапливаемой гостиницы для иностранцев новоприбывших уже не любезно выселяли, очищая комнаты для следующих приезжих. Надо было немедленно переезжать — неизвестно куда. Надо было устраиваться — неизвестно как, получать паек и обеды — неизвестно откуда, начать работать — неизвестно где. На сегодняшний день у Аснисов не было ни крошки хлеба, ни полена дров, никакой, хоть самой завалящей, продовольственной карточки, хоть на керосин, хоть на канареечное семя.

Я не удержался и начал желчные нравоучения.

— Вот видите, товарищ Аснис. Вы тут держались как Рокфеллер, все всем раздавали, а теперь сами остались на бобах — если бы еще на

бобах! На холодной воде из водопровода остались вы теперь, Аснис. А будь у вас запасы, вы на них продержались бы до службы, до комнаты, до пайка. А теперь...

Дальше поучать не было никакого смысла. Аснис и так был раздавлен, уничтожен до конца. Даже неприятно было видеть, как растерялся этот пришелец из страны энергичных и крепких людей, столкнувшись с суровым бытом революции.

— Ну, вот что. Вы эти дни как-нибудь перебейтесь, нажарьте лепешек из этой вашей белой американской муки, а я пока похлопочу насчет службы и пайка для вас.

— Муки уже... тоже... не имеется. Так что... моя супруга... не может... заняться пищеварением, согласно вашего совета.

Аснис говорил по-русски гладкими хрестоматийными фразами, автоматически образуя составные слова. «Пищеварение» означало варку пищи. Но сейчас это было не смешно.

— Ах ты, чорт! Как же быть? Я бы вам охотно дал немножко топленого сала, но ведь вы его не переносите .

Бывший Рокфеллер улыбнулся бледной библейской улыбкой.

— Вы знаете... когда человек значительно голоден... у него... заменяются вкусы... на другие вкусы..

Когда мы выполоскали баночку из-под горчицы и стали накладывать туда шпик, Аснис опять вспомнил о приличиях и от смущения начал почти всхлипывать.

— Зачем же... так много... ведь вы... ограничиваете запасы вашего питания... Ведь это... будет неблагоприятно... для организмов... вашего уважаемого семейства.

Аснис начал в буквальном смысле жизнь Робинзона. Его островом оказалась чудовищная, полутемная, со сводчатым потолком, абсолютно пустая свирепо-готическая комната на Гороховой. Там высадился он вдвоем со своей Пятницей-женой. Не совсем уж вдвоем, потому что внутри жены уже пошевеливался третий, маленький Аснис, зарожденный еще в Нью-Йорке, в суматохе перед эвакуацией советской миссии.

Мы пришли на Гороховую к Аснису. Из опустошенных ленинградскими приятелями чемоданов и сундука он сделал себе «мебель». Посредине на полу лежал старый матрац, видимо со свалки; торчали пружины и рыжие клочья морской травы. Фиолетовый пар шел из наших уст и таял в готическом поднебесьи. Даже в те поры это было страшновато.

Аснис, когда с него облетели заграничные шарфы и банки с молоком, оказался простым, хорошим парнем. Работал он в Нью-Йорке на химическом заводе, вступил в движение, потом в партийную организацию, выдвинулся как хороший пропагандист. Когда в Америке «самозародилась» советская миссия, сблизился с ней, начал для нее работать, потом совсем вошел в ее аппарат. И когда пришло время — охотно, без всяких колебаний поехал в Россию.

Он был коммунист, охотно и даже с некоторым молитвенным остервенением выполнял все партийные обязанности. Но многое отличало от нас его — прибитого волнами к нашему берегу человека из другого полушария.

Он лучше, тоньше и точнее петроградского рабочего чувствовал силу и безграничную жестокость капитализма. Он рассказывал ярко и живописно о тонкой стальной юридической сетке, которой опутан американский пролетарий в каждом своем шаге. Описывал, как по воскресеньям на американской фабрике, чтобы машины не стояли, к ним приставляют «зеленых» эмигрантов — литовцев, евреев, итальянцев — из безработных. В картонажной мастерской, где он работал, будучи «зеленым», вдруг сквозь гул машин резнул крик. Подростку-итальянцу оторвало ножом два пальца. Вошел смотритель, потный, ленивый, раскисший от жары. Обрывком газеты поднял с пола пальцы, швырнул в плевательницу и рявкнул в сторону:

— В следующий раз не приходи!

Аснис шире и подробнее видел врага — недаром приехал он из классической страны современного капитализма. Но виды и способы борьбы представлялись ему беднее и ограниченнее. Восхищался Красной армией, но нравственно страшился гражданской войны, как и всякой. От смертной казни, от расстрелов, от террора — красного и белого — его, видимо, просто мутило, о чем он иногда смущенно и робко заговаривал. Неприятна ему была и грубо-пренебрежительная большевистская манера разговаривать о всяких научных, литературных и политических авторитетах, стоящих по ту сторону баррикады. Для него Вильсон был как-никак, а все-таки большая фигура, искренний, хоть и круто заблуждающийся миротворец. Ллойд-Джордж — как-никак, а большой государственный муж. У нас же огульно всех звали дураками и сволочами, — такое упрощение огорчало Асниса. Он не понимал, что рабочий и красноармеец, если и не разберется до точности во всех тех, «которые Антанта», — он все равно будет выполнять свой подвиг — с пустым желудком и без сапог на морозе отстоит советскую власть от четырнадцати государств... После Асниса много еще пришлось мне встретить приезжих американских рабочих-коммунистов, и все они были на-круг такие же: великолепная классовая ненависть, яркое, свежее ощущение врага — и вместе с тем легкое отравление газами демократии, пацифистские мечтания, затаенная, скрытая детская надежда, что вдруг все в мире перевернется сразу, без крови и без войны, одним всенародным голосованием против капиталистов.

Асниса сурово взяла в лапы петроградская голодная стужа. Он выпил всю чашу до дна. Познал вкус ржаных оладий, испеченных «на воде», прогорклое дыхание железной печки-буржуйки и тихую прелесть замороженного клозета. Познал — и одолел.

Исчезло пламя с его щек, но исчез и первоначальный испуг перед трудностями, окрепла и оживилась речь, суконные фразы из хрестоматии запестрели веселыми и крепкими восклицаниями. Жена же Берта, худая

и бледная, обскакала мужа. Так завертелась в кружках, в лекциях и в марксистских беседах, что некогда было есть, некогда растапливать чугунную буржуйку.

Потом стало немножко легче. Асниса перевели из профсоюза, где он был инструктором, в отдел охраны зданий иностранных посольств. Там паек был получше, выдавали больше конины, иногда распределяли изюм и даже бурый, похожий цветом на кирпич, а вкусом на кору, овсяный шоколад. Аснис сразу... вернулся,— правда, в жалких масштабах,— к роли американского богача:

— Отчего у вас вечно столько гостей? Чем вы их кормите?

— Меня посещают очень уважаемые и интересные лица. Что же касается угощения, то я придерживаюсь известной русской пословицы: «Чем богаты, тем и веселимся».

— Не «тем и веселимся», а «тем и рады»!

У маленького служащего, нищего и невлиятельного, в самом деле образовался «салон», очень странный и любопытный. Сюда приходили и за стаканом морковного чая просиживали вечера известные писатели, ученые с мировым именем, знаменитые артисты, видные партийцы.

Что приводило их сюда? Не кусочки же пайкового хлеба и прозрачные ломтики сыра, в убогом величии расставленные на столе? Не горсточка же изюма на стеклянном блюдце?

Отчасти и это. Голод был так велик, что для многих измученных и опустившихся людей соблазном был подкрашенный кипяток с огрызком сахара.

Но больше притягивало к Аснису его радушие, его приподнято-торжественное, немного смешное, немного трогательное и вместе с тем почтительное покровительство людям культуры. В угрюмые, занесенные снегом года, когда в тылу у героической, спаянной в один слиток армии обыватель загораживался от мира и ближних своей саженью мелко исколотых дров — всякое гостеприимство ценилось высоко, считалось благородной редкостью.

...В городе наступили тревожные и томительные дни. Ползли слухи, росли и множились зловещие сплетни. Потом стало кое-что проступать и наружу. Появились контрреволюционные листовки, на нескольких заводах начались «волынки», то есть, попросту говоря, забастовки. В городе ждали выступления, неизвестно чьего: эсеров, меньшевиков, монархистов. Всех партийцев мобилизовали. Аснис получил винтовку и стал неузнаваем. Глаза его светились из-под толстых очков, как пароходные огни сквозь прозрачную броню иллюминаторов. Он был воинственен и кровожаден.

— Так вы говорите, Аснис, расстреливать? И вам не жалко?

— Нет, не жалко. Ведь они хотят ликвидировать советскую власть, это совершенно недопустимо!

— Ну, если недопустимо, это другое дело...

Скоро нарыв прорвался, прошел в сторону, боком, кронштадтским мятежом. Аснис с величайшим волнением прибежал провожать меня на Кронштадт. Он принес снятые с себя громадные башмаки, подбитые зверски красивыми медными гвоздями. В каждый башмак входило две моих ноги. Но отказаться было невозможно — Аснис пристал с ножом к горлу. Пришлось надеть — и как это вышло хорошо! Даже под огнем восьмидюймовых крепостных орудий, на скользком льду у острова Котлина — ноги в тепло набитых газетами американских башмаках чувствовали себя дома...

...Однажды он прибежал расстроенный и несчастный, просил запереть дверь для секретного разговора.

В отделе охраны иностранных посольств — воровали. По ведомостям и спискам все сходилось, бухгалтерские книги велись в порядке. Но под книгами и ведомостями тихо протекала речка. Уплывали люстры, гардины, этажерки, комплекты столового белья, картины, фарфор. Администраторы сидели на службе хмурые и в дырявых валенках. Но квартиры их понемногу превращались в музеи изящных искусств. Асниса несколько раз прозрачно приглашали принять в этом участие, но натолкнулись на его возмущенное удивление. После этого его враждебно изолировали, но красть не перестали, рассчитывая на аснисово добродушие.

— Они плюют на меня. Они себя и в ус не толкают.

— Нет такого выражения, Аснис. Есть «в ус не дует» или «ни в зуб толкнуть». А такого — нет.

— Ну, хорошо. Но как же быть?

— Ясно, как. Сообщить в ВЧК.

— И их всех арестуют?

— А вернее всего и расстреляют.

Аснис потемнел.

— Что же можно сделать?

— Сами понимаете, ничего кроме ЧК.

У него было лицо Авраама, приносящего в жертву Исаака. Он почти со скрипом кивнул головой.

— Хорошо...

Вскоре после этого начались аресты, а потом и суд над охранителями иностранных посольств. Злоупотребления оказались не так велики. Никого не расстреляли, обошлось тюрьмой и высылками, отдел расформировали и здания передали в более надежные руки. Аснис окончательно вошел в нашу действительность, он из американского коммуниста стал советским партийцем.

В начале нэпа он совсем пропал из виду. Как-то спросил о нем у приезжего из Петрограда.

— Аснис? Как же! Работает в Главнауке. Занимает ответственный пост.

Эту справку колко дал мне видный петроградский профессор. Один из тех, кто когда-то грелся у маленькой аснисовой печки.

— Почему же в Главнауке?

— Как почему! Руководит нами! Направляет русскую науку! Вершит судьбами! Разве не в порядке вещей? Разве не на каждом шагу нас, ученых, учат Аснисы?

Профессор был настроен саркастически. Сарказм его быстро отлился в форму поступка: он уехал за границу и не вернулся. Насчет Асниса он, как потом оказалось, передернул. Бедняга действительно короткое время работал в Главнауке, но в должности заведующего то ли баней, то ли прачечной. При всеобщей перетасовке он остался без работы, без хлеба и взял эту должность как первую попавшуюся.

В Петроград начали наезжать знатные иностранцы. Из Америки потянулись высокопоставленные соглядатаи — сенаторы, депутаты, профессора. Губисполком приставлял к ним Асниса в качестве переводчика— всегда с большим успехом. Он выполнял свои обязанности тактично, без нажима, но силою вещей неизменно превращался во вдохновенного агитатора и приводил своих клиентов в восторг. Даже кандидат в президенты, восьмидесятилетняя развалина, сенатор Лафоллет разгорелся от священного огня своего переводчика. Он долго благодарил губисполкомщиков за «любезное содействие мистера Асниса», а самому «мистеру» прислал уже из Америки благодарственное письмо и приглашение вернуться, с гарантией дать работу на заводе. В промежутках между высокими посещениями Аснис бедствовал и усиленно подголадывал. При редких наших встречах имел вид тусклый и замотанный. У него было уже и потомство, в количестве двух единиц.

— А может быть вы бы, в самом деле, съездили, Аснис, в Америку? Раз есть легальная возможность... Попробовали бы там вести партийную работу или что...

— Что вы, что вы! Мне здесь очень хорошо. Жаль только, что я не могу предлагать нашему рынку определенную специальность.

Эта странноватая фраза разъяснилась позднее, еще года через два, когда по московской улице пролетел мимо спешащий верзила с прежним, импортным своим пылающим цветом лица.

— Аснис, вы ли? Что с вами? Хорошо вам? Видать — хорошо?

— Очень хорошо! Прекрасно! Вам не нужен шарф? Вот пощупайте, какой шарф. Возьмите его себе и потом напишите мне в Ленинград, хороший ли это шарф.

— Аснис, вы опять раздаете шарфы! Вы принялись за старое? Вы ездили в Америку?

Он рассмеялся на всю улицу на всю страну, на весь мир. Каждый раскат уносился как радио, далеко, через материки, через океаны.

— Да, я раздаю! Я раздаю, но это не американские шарфы, это советские, из советской пряжи, хотя они и весят на пятнадцать процентов меньше. Я делаю эти шарфы в Ленинграде — и шерстяные носки, и детские рейтузики, и вязаные жилеты и всевозможный трикотаж! Я их делаю, мы их делаем, у нас артель, промысловая кооперация! У нас нет

больше пряжи, но я приехал сюда в Москву и получу здесь пряжу, и мы будем дальше работать!

Это был вулкан в толстых стеклянных очках — вулкан, поглощающий пряжу и изрыгающий трикотаж. Трудно было стоять вблизи вулкана, — он вместе с трикотажем изливал лаву восклицаний, цифр, справок и драчливых восклицаний.

Аснис организовал во всем Ленинграде кустарей-трикотажников. Он втянул этих забитых, разбросанных по трущобам мрачных полулюдей в колесо советской общественности, кооперации. Повел среди них культурную работу. Приспособил к требованиям рынка. Перевел на ходкие вязаные вещи. Создал крепкое кооперативное ядро. А потом начал кристаллизовать вокруг ядра безработных Ленинграда. Не квалифицированных безработных, которые раньше или позже, но непременно получат работу на заводе. Нет, он вытащил на свет самых безнадежных, оторванных от производства, больных и инвалидов, многосемейных стариков. Поставил к ним в темные углы веселые, блистающие серебром трикотажные машины, дал заказ, сырье, норму, цену и — главное — живые деньги за труд.

Начали с пустяков, а выросли в большую, сильную организацию. Густо посыпались навстречу ненасытному советскому потребителю чулки, кофточки, жилеты, рукавички, вязаные шарфы — совсем такие, как те, американские, что снимал с себя и раздавал Аснис восемь лет назад. Навстречу, в голодные семьи безработных посыпались рубли, такие нужные, долгожданные, сытные, обогревающие трудовые рубли. Все бы чудесно, если бы не одно:

— Пряжа, нам нужна пряжа! Не дают ее в Ленинграде. Надо ездить сюда за пряжей. Вы знаете, вы меня извините, но, по-моему, здесь, в Москве, еще больше бюрократизма, чем в Ленинграде! Я тут уже три дня, нашей кооперации стоит моя гостиница и мои обеды, а пряжи не дают! Но, вы меня извините, я думаю, что мне все-таки дадут пряжу, я в этом уверен!

Аснис стал врываться на московский горизонт каждые два месяца. Там, в Ленинграде его дело цвело. Росли и прибавлялись новые трикотажные артели. Возникали новые мастерские, восстанавливались какие-то старые текстильные фабрики, оживали десятки и сотни полузадохшихся от нужды семей. Сюда, в Москву надо было бегать за кислородом для всего этого племени — за пряжей.

И Аснис бегал. Иногда он казался ликующим женихом (дали пряжу!), иногда — бесноватым мучеником, которого пытают на дыбе. Он кричал, брызгал слюной, жалобно скулил и физически задыхался. Ясно чувствовалось, как позади него угасают и задыхаются все его кооператоры, чулочники, вязальщики, инвалиды, безработные.

Совершенно непонятно было, почему Аснису и его «Промкусту» не дают пряжи. Заявки были очень скромные, цели самые полезные, самые общественно и производственно нужные. Но пряжи не давали. Это было удивительно, вопиюще, но именно так.

Аснис принес и бросил мне на стол пачку документов, справок, протоколов московских учреждений, распределяющих текстильные полуфабрикаты. Материал был самый возмутительный. Совершенно очевидно было, что пряжа уползает в сторону, к частным спекулянтам, минуя советские и кооперативные фабрики, изнывающие без сырья.

— Напишите в газетах. Ведь это настоящая склоака!

— Нет, Аснис, слова «склоака». Есть либо склока, либо клоака. Хотя... не вредно было бы, если ваше слово существовало бы. Напишу непременно. Ведь это совершенно явные злоупотребления! Этих людей надо к чертям уничтожить!

Вечером он звонил с вокзала, из автомата:

— Может быть, вы немножко подождете печатать в газетах?

— А что?

— Они нам таки дали пряжу. Мне кажется, они не такие плохие люди. Им стало стыдно перед ленинградской кооперацией.

— Это вам, Аснис, должно быть стыдно за ваше благодушие. Только что так шумели, доставали материалы, а теперь сразу скисли!..

Он сконфузился. Очень быстро в газетах пошел материал о злоупотреблениях с пряжей. Аснис, вероятно, чувствовал себя великим инквизитором. Напрасно. Уже до Асниса те, кому надлежит, заинтересовались «шерстяными развлечениями» некоторых наших регулирующих чиновников.

Этой осенью Аснис промелькнул совсем уже наэлектризованным. В нем что-то натянулось, как струна.

— Я готовлю один большой подарок к Октябрю. Но не дают работать. Ай, бюрократы, ай, саботажники, ай, мерзавцы, ай, контрреволюционеры! Но я нашел хорошую помощь. Я связался с комсмолом. Мы действуем вместе.

Он по-американски пропускал второе «о» в слове «комсомол», отчего и само знакомое это слово казалось другим, американистым, очень энергичным и деловитым.

— А как с пряжей?

— С пряжей плохо, хотя вот «Промкуст» пустил уже свою прядильную фабрику. Но еще хуже с иголками. Двадцать тысяч иголок нужно для всех машин и по две тысячи иголок в месяц на замену сломанных. А мы еле-еле получили всего пятнадцать тысяч. У Госшвеймашины в Ленинграде были иголки. Мы их умоляем — дайте «Промкусту»! А они взяли и послали иголки в Москву. Вот я теперь приехал за ними сюда.

— То-то вы сидите, как на иголках.

Остроумие такого сорта не доходит до него. Он даже из вежливости не улыбался и задумчиво ответил:

— Нам еще нужны электромоторы. Тогда будет трикотажная революция.

Секрет октябрьского подарка мы узнали из большой статьи с фотографиями в ленинградской газете «Смена» — «Безработица, взятая за горло»:

«О ней очень мало знает комсомольский Ленинград.

«Даже работники облкома с трудом находят ход в эту мастерскую, раскинувшуюся на 7-й линии Васильевского острова в доме № 18.

«...По ступенькам каменной лестницы, заставленной ящиками, досками, мы поднимаемся из этажа в этаж, из одного отдела мастерской в другой.

«В светлых, просторных комнатах встречаем молодые, радостно улыбающиеся лица девушек-работниц мастерской. Некоторые из них в красных платочках, некоторые — в кепках, и немало одетых в юнгштурмовские костюмы.

«— Давно работаешь?

«— Вторую неделю. Только еще учусь. Недавно лишь райком направил.

«— Ну, а как заработок?

«— Да какой там еще заработок? Пока рубль в день зарабатываем.

«— А я уже три слишком рубля зашибаю, — добавляет девушка, проработавшая в мастерской около двух месяцев.

«В мастерскую она попала совершенно незнакомой с трикотажным ремеслом. Внимательно относясь к работе, она уже теперь стала неплохой трикотажницей.

«...Из одной комнаты мы проходили в другую и всюду встречаем в большинстве молодых , приветливо улыбающихся девушек. В мастерской, принадлежащей «Промкусту» (промысловая артель кустарей-трикотажников), работает свыше 120 чел. Большинство из них в мастерскую попало недавно. Большинство из них не знает, что за мастерская, кто ее хозяин, как она создавалась.

«Когда мы задавали не одной, не двум, а доброму десятку работниц вопрос:

«— Кто организовал эту мастерскую? — то от всех слышали один ответ:

«— Не знаю.

«— На комсомольском собрании об этом еще не говорили, — рассказывают комсомолки».

Молодую «Смену» солидно дополняла «Ленинградская правда». В политическом дневнике, сейчас же вслед за критикой коварного Болдуина, рассказывалось о мастерской на Васильевском острове:

«Несколько комсомольских работников, в целях борьбы с молодежной безработицей, решили использовать возможности кустарной промышленности и создать комсомольскую артель. Инициаторы этого дела остановились на трикотажном промысле, исходя из того, что девчата являются наиболее застойно безработной группой и помощь им необходима в первую очередь.

«Товарищество кустарей «Промкуст» решило поддержать здоровое начинание и организовать мастерскую. Но путь организационного периода был тернист. За каждой мелочью приходилось бегать днями, за ка-

ждый килограмм пряжи спорить, убеждать, доказывать, за каждую иголку низко кланяться, благодарить.

«Обкому ВЛКСМ стоило немалых усилий добиться удовлетворения всех нужд мастерской. За помещение пришлось воевать с крупным конкурентом, за пряжей несколько раз ездить в Москву, а за машинами путешествовать в Полтаву.

«Сейчас в мастерской работает 50 комсомолок. Через неделю начинает работать 2-я смена, т. е. еще пятьдесят девчат.

«Необходимо отметить, что все комсомолки пришли в мастерскую без всякой квалификации, без всякой специальности. Все они впервые здесь познакомились с чулочным производством. С первого же дня каждая работница получает 1 р. 50 к. в день из средств «Промкуста». Когда молодые работницы станут настоящими чулочницами, все эти затраты окупятся. Некоторые из них уже сейчас переводятся на сдельную оплату.

«Мастерская занимает прекрасное помещение. Большие окна с обеих сторон пропускают много света. Отдельные ящики для одежды, умывальники. В ближайшее время оборудуется столовая с дешевыми обедами и «красный уголок». Предположено развернуть большую культурно-воспитательную работу.

«Но трудности еще впереди. Большие опасения вызывает вопрос бесперебойного снабжения мастерской пряжей и иголками. В особенности последними. Иголки являются остро дефицитным товаром, импортным товаром, за который нам приходится расплачиваться золотом. «Бережнее с иголками!» — стало лозунгом мастерской.

«Организация комсомольской кустарной мастерской является большим событием для промкооперации Ленинграда. Через нее в кустарную промышленность вливается пролетарское коммунистическое ядро. На смену старым кустарям, работающим в затхлых конурах, чадных кухнях, в подвалах и на чердаках, на основе примитивных дедовских рецептов, идет молодая и бодрая смена».

Захотелось найти Асниса, узнать все подробности. Сияющая американская рожа в очках выглянула со снимка в следующем номере «Смены»: «Председатель «Промкуста» т. Аснис, открывший мастерскую». Тут же были подробности:

«Шестиэтажный флигель на углу 7-й линии переполнен. По узкой лестнице вверх и вниз бегают молодые работницы... Сегодня торжественный пуск первой в Ленинграде, может быть и в СССР, кустарно-промысловой трикотажно-вязальной комсомольской мастерской, организованной при кооперативном объединении «Промкуст». Несмотря на то, что мастерская еще только открывается, в ней уже работает 150 девушек. Вчерашние безработные сейчас обеспечены твердым, хотя, может быть, на первое время и небольшим заработком. Председатель «Промкуста» т. Аснис рассказывает присутствующим о том в каких невероятных трудностях рождалась мастерская...

«Целый час тратим на осмотр. Огромные длинные залы пропитаны светом, который падает из широких окон, находящихся по обеим сторонам комнат. Всюду чистота. На свежих, новеньких столах стоят машины. Молодые работницы с удовольствием объясняют гостям, как нужно на них вязать чулки.

«В вязальном отделении комсомолки говорят о своем заработке, называют фамилии «первачей» — тех девчат, которые в короткий месячный срок солидно обучились новому производству. Швецова уже заработала за первый месяц 51 рубль, Штерн — 47 р. 60 к., Шабанина — тоже 47 рублей.

«— Это на первое время. А там дальше, когда мы как следует научимся производству, наш заработок, конечно, значительно увеличится,— говорят комсомолки.

«А рядом идет речь о том, сколько трикотажно-вязальная мастерская сможет выпустить изделий. Кто-то из администрации уверенным тоном сообщает, что когда в мастерской будут работать 200 девушек (что будет не позднее 1 января), комсомольская мастерская будет выпускать в день 400 дюжин, в месяц — 10 000 дюжин чулок.

«Вдруг раздаются звуки оркестра. Шумной гурьбой бегут девушки в то отделение мастерской, где будет проведено торжественное заседание. После марша оркестр играет вальс и начинаются танцы. Сначала вертится несколько пар, а потом помещение мастерской для вальсирующих оказывается недостаточным. Под звуки «Интернационала» открывается торжественное заседание».

Оркестр!

Играет оркестр, комсомолки танцуют вальс у чулочных машин, и Аснис раздает вязаные шарфы.

Подумаешь, идиллия!

Профессор — тот, что приходил на морковный чай с изюмом, а потом ехидничал и негодовал, — он сделает из-за границы пренебрежительную мину. Стоило ли писать об этаком!

Моя жизнь.

С. Подьячев.

Жизнь прожить — не поле перейти.

В метрической книге села Никольского, Горушки тож, Дмитровского уезда, Московской губернии, записано, что 28 января 1866 г. у жителя того же села Павла Афанасьева Подъячева и законной жены его Анны Игнатьевой родился сын «Симеон». Восприемниками были того же села «диакон» Александр Михайлович Доброклонский и московская мещанка Евдокия Минаева.

Этот записанный тогда в метрическую книгу «младенец мужеска пола Симеон» в настоящее время есть я — старик Семен Павлович Подъячев, который «на старости лет» оглянулся на свою прошлую жизнь и, «не мудроствуя лукаво», записал ее так, как она прошла у него за долгие-долгие годы.

Отец мой из крепостных крестьян графа Олсуфьева, мать — из крепостных помещика Обольянинова. Оба в детстве взяты были в «барские хоромы» на побегушки: отец — к Олсуфьеву, мать — к Обольянинову. У Обольянинова была дочь, вышедшая за сына Олсуфьева с большим «приданым». Мать моя, уже девушкой, попала в число этого приданого и таким образом из-под власти Обольянинова попала под власть Олсуфьева, т. е. другими словами «из огня, да в полымя». Здесь она познакомилась с моим отцом, и они, понравившись друг другу, с позволения «господ», — обвенчались. От этого брака родился я.

Кроме меня у них были еще дети, старше меня, братья и сестры мои, которые теперь уже померли.

Отец мой был хорошо грамотный, не пьющий, трудолюбивый; любил читать и послушать и потихоньку напевать тягучие жалобные песни вроде: «Лучина ль ты моя, лучинушка» или «Снега белы, лопушисты выпадали на поля».

Читал он много и особенно любил читать газеты.

Мать была неграмотной, тихого, кроткого характера. Отца моего, своего мужа, она величала «Павлом Афанасьевичем, батюшкой». «Господ» боялась, ставила их превыше всего, «трепетала» перед ними каким-то особенным рабским трепетом.

Отец часто болел страшной головной болью — мигренью. Валялся он на постели от этой болезни по целым суткам, с каким-то почерневшим лицом. Мы в то время ходили нацыпочках, боясь стукнуть, ибо каждый стук действовал на него самым удручающим образом. Стиснув ладошками виски, он лежал, уткнувшись в подушку, и стонал, боясь пошевелиться, но в то же самое время (вот что удивительно) стоило только его хозяину, сиятельному графу, вышедшему утром на прогулку и проходившему неподалеку от нашей квартиры, крикнуть: «Эй, Павел!» — как отец стремглав, точно его укусила змея или кто-нибудь ударил, срывался с постели (лежал на постели он в верхней одежде и в сапогах, скидая то и другое только на ночь), обдергивался и бежал на зов графа. Помню и как сейчас вижу больного отца, сорвавшегося с постели и бегущего, как собачонка с поджатым хвостом, к нему навстречу!

С этим графом, в качестве слуги, отец мой был в Севастополе во время осады его, и однажды пришлось ему с графом, посланным с каким-то донесением к царю Николаю I, скакать на курьерских в тогдашний Петербург.

— Скакали мы, — рассказывал отец, — сломя голову и день и ночь. Подкатим к станции, а уж здесь стоит другая тройка — ждет. Пересядем на нее, — опять гони! И вот раз разболелась у меня голова — свету божьего не вижу, а граф вдруг, понимаешь, хватился своего портфеля — на последней станции слезал, забыл где-то. Остановились мы там на короткое время, чаю стакан выпил, а я не доглядел. Батюшки-светы, что было-то!! — «Пашка, — кричит, — беги, сукин сын, ищи! Убью!» Соскочил я, побежал назад. Бегу — плачу. А уж верст десять от станции отскакали. Господи, а голова-то! Смерть моя! А место открытое — жара! Прибежал на станцию, гляжу, слава богу, здесь портфель. Схватил его, побежал назад. Не помню уж как добежал. Кровь из носу хлынула, а он кричит: «Нашел?» — Нашел! — «То-то, сукин сын! Са-адись! Пошел!» Вскочил я, он сидит — все место занял. Я назади приткнулся, скорчился. Трясет, голова раскалывается, железом каленым жжет. Не забыть мне этого!!

Многое узнал я от него про жизнь во времена крепостного права. Но про жизнь ту он рассказывал неохотно, как-то боязливо и редко.

Мать с своей стороны, запуганная и робкая, пропитанная насквозь рабским духом, еще с большей боязнью рассказывала мне тоже кое-что из ужасов крепостного права.

— Эх, сынок-батюшка! Кабы ты знал, видел, что было-то! Вот дедушку твоего Игнатия, царство ему небесное, пресветлый рай, насмерть кнутом барин засек, ей-богу!

— За что? Расскажи.

— В лесу он был... лес стерег, и случись какая-то порубка, кража, а барину донесли об этом. Велел он дедушку-то твоего голышем к березе привязать. Ну, взяли, привязали, а барин зачал хлестать его плетью, кнутом ли, хорошо не знаю, по чем попало! Так и захлестал до смерти. Мертвого от березы отвязали. Вот какие дела-то! Ты только, сынок, молчи про это, не говори никому, а то, спаси бог, до господ дойдет, прогневаются.

Такие и им подобные рассказы сделали то, что я с детства впитал в свою душу непримиримую ненависть к тому сословию, которое называло себя «белой костью» и глумилось над нами, называя нас «подлыми людишками».

Помню, дело было осенним пасмурным утром, сидел я на полу и усердно мастерил «пленку» для ловли петлями синиц и снигирей. Мать хлопотала около большой топившейся печки, что-то готовила к завтраку. Вошел отец, взял меня за руку, поднял с полу и сказал:

— Ну, брат, одевайся. Пойдем в школу Делом пора заниматься.

— Куда это ты его, батюшка Пал Афанасич? — спросила, услыхав его слова, мать.

— В училище. Нечего собак гонять. Пора учиться. Пойдем, одевайся.

— А не рано ли еще ему, батюшка Пал Афанасич, учиться-то? Еще ведь он совсем ребенок.

— Ладно, рано! Ничего не рано! Пойдем! Молись богу!

Он поставил меня на колени лицом к иконам, встал сам, велел сделать то же самое матери и сказал:

— Молись, сынок, проси бога, чтобы он вразумил тебя. Не будешь учиться — пропадешь!

Мать заплакала. Глядя на нее, заплакал и я.

Когда я оделся, отец повел меня в школу.

Школа была здесь же, в селе. Учили в ней ребятишек старая учительница да отец-диакон. Я, как и водится, попервоначалу попал в младшее отделение, где учила учительница. Эту учительницу я как-то смутно припоминаю. Помню что-то черненькое, небольшого роста, сердитое. Просидел я у нее две зимы и на третью перешел к отцу-диакону. На первом же уроке он дал мне кличку. Вместо Подъячева Семена окрестил меня новым именем «Клим». Так этот «Клим» и остался за мной, пока я не кончил школу.

Кличка эта была мне не в обиду, ибо отец-диакон помимо меня давал названия, выдумывая их, для каждого ученика. Были у него, как сейчас помню (теперь все почти «на том свете»): «Ротозей», «Большой мужик», «Похлебка», «Синица», «Икала», «Кум», «Кутузов-Смоленский», «Робинзон» и т. д., и т. д.

Сам он — этот отец-диакон, наш учитель — был высокого роста, богатырского сложения, обладавший здоровеннейшим басом и такой же физической силой.

Время моего учения у этого отца-диакона я всегда вспоминаю с особенным волнующим меня чувством. Думаю, что он первый сумел вложить в меня любовь к литературе.

Зимою, когда «господа уезжали» в Москву или на «теплые воды» за границу, отец-диакон мог брать из шкапов в ихней библиотеке книги, какие ему угодно. Ключи от шкапов оставлялись ему. Он брал там книги и очень часто приносил в школу, где и читал нам, ребятишкам, вслух, что находил подходящим для нашего разумения. Читал он с великой любовью, увлекаясь сам и увлекая нас.

Из первого прочитанного им я помню «Тараса Бульбу» Гоголя и помню то какое-то особенное сердечное замирание и внутреннюю дрожь, какую я почувствовал, слушая его чтение.

Мальчишка я был впечатлительный, напуганный рассказами про чертей, домовых, покойников, удавленников, и помню, когда отец-диакон прочел нам «Вия», — я пришел в какое-то болезненное состояние и ночью, закутавшись с головой, дрожал весь и с ужасом видел перед собой этого самого страшного Вия, стоявшего на черте позади Хомы Брута и указывающего на него железным пальцем.

Помимо Гоголя многое и другое читал нам отец-диакон, объясняя простыми словами непонятное, и заставлял иногда читать кого-нибудь из нас, поправляя и указывая, как это надо по возможности старательно и хорошо делать. Иногда он хвалил за хорошее чтение, и услыхать похвалу от него было особенно как-то радостно.

Как сейчас гляжу: пришел он как-то раз, принес какую-то в желтом переплете книжку, сел на угол длинного стола-«парты» и, поманив меня рукой, сказал своим густым ласкающим басом:

— А нука-ся, Клим, выходи сюда на расправу!

Я подошел.

Он постучал пальцами по переплету принесенной им книжки и спросил:

— Знаешь, что это?

Я молчал.

— Пушкин это, друг ты мой любезный, Климушка. Понимаешь, Пу-у-шкин! Бог поэзии! Н-да, бог! Вырастешь, может, поймешь когда-нибудь. Да где тебе понять! Не придется понять. Не дадут тебе понять! Н-да! Эх, вы, галчата мои, куда вы ни полетите, везде вас дерьмо клевать заставят. Н-да! Прочту я вам, устинам, историю одну, — «Капитанская дочка» называется. Прочесть?

— Прочитайте, отец-диакон, прочитайте! — закричали ребята.

— Ладно. А пока-что, ну-ка, Клим, прочитай нам всем вслух стихи вот эти. Послушаю я, как ты читаешь. Ну-ка, на!

Он показал пальцем, что читать, и сказав: «Ну, валяй!», зажмурился.

— «Полтавский бой», — прочел я заглавие и, набрав духу и чувствуя, что мой голос задрожал от охватившего меня волнения, стал читать:

Горит восток зарею новой,
Уж на равнине, по холмам,
Грохочут пушки, дым багровый
Клубами всходит к небесам.

— Молодчина, — говорит отец-диакон, когда я кончаю. — Важно, ай да Клим! Вот кабы ты такой же мастер по арифметике был. Лучше бы быть не надо.

А по арифметике я, действительно, был не мастер. Этот предмет был мое мученье. Дело доходило до слез, когда приходилось решать какую-нибудь задачу. Не могу, бывало, решить, хоть убей! Так этот предмет и вообще счет во всю мою жизнь внушал мне какой-то страх и отвращение.

Отец-диакон под веселую руку, выпимши, — а это с ним случалось нередко, — любил иногда подтрунить надо мной насчет арифметики, чем и делал мне большое горе.

— А ну-ка, Клим, скажи, сколько дважды два? Ха, ха, ха! Не знаешь? Ну, а два дважды сколько? Да ты по пальцам-то не считай, а в уме складывай. И что ты за чудак такой уродился, не понимаешь. Дело-то ведь проще пареной репы. Погоди, я вот отцу скажу, чтобы он тебя отодрал хорошенько. Тогда поймешь. Хо, хо, хо!

Отец очень огорчался, что я плох по счету.

— Вырастешь, — говорил он, — куда будешь годен, коли счету не знаешь? Без этого не проживешь. Самое это нужное дело, а ты не знаешь. Эх, ты!

А мать шептала где-нибудь наедине:

— Ты, сынок-батюшка, богу молись хорошенько. Его, царя небесного, проси, чтобы вразумил тебя премудрости. Вон в житии преподобного отца нашего Сергия-чудотворца сказано, как он, батюшка, тоже в книжной премудрости плох был, а стал господу молиться — и услышал его господь, открыл ум, просветился. Молись и ты хорошенько!

Я пробовал молиться. Но не помогала молитва, хотя я молился горячо и искренне, ибо был приучен к этому делу с пеленок.

По воскресеньям, по праздникам, к заутрени и обедне, ко всяким царским молебнам, я приучен был ходить не протестуя. По средам и пятницам ел постное. Постом великим говел два раза: на первой и на последней неделе. Бывало, как только послышится иной раз поутру, «чем свет», звук колокола с колокольни, мать с каким-то благоговейным испугом говорила мне:

— Ударили! Сынок-батюшка, собирайся, скорей иди!

Помимо отца и матери докоряла меня божественным еще моя мать крестная — старуха девица, Авдотья Минишна.

Это была какая-то чудная старушонка. Жила она в так называемой «богадельне» вместе с другими, старыми, в отставке бывшими крепостными людьми-слугами, в углу, где было сыро, полутемно, мрачно и постоянно пахло лекарственными травами, которые в пучках висели на протянутой веревочке под потолком. Жила эта старуха в своем углу «на спокое», получая месячное содержание в размере пуда ржаной муки и полтинника деньгами. Этот нищенский паек она заслужила от своих «благодетелей-господ», прослужив им верой и правдой всю свою долгую рабскую жизнь.

Она была грамотна. Весь ее угол, где она ютилась, заставлен был иконами разных размеров, а на угольнике, перед иконами, на самом видном месте, лежало несколько толстых в старинных переплетах книг божественного содержания, которые она, надев на нос круглые большие очки, постоянно читала вслух, невзирая на то, что была одна и слушать ее чтение было некому.

Я избегал ходить к ней потому, что она, если ей удавалось почти силком затащить меня к себе в угол, начинала учить, как надо молиться, как креститься, какие читать молитвы, и, сверх того, заставляла слушать свое чтение, в котором я мало смыслил.

— Становись, — строго приказывала она, — сюда вот перед иконами! Умились душою, вознесись духом к создателю, молись с чувством. Говори за мной: «Господи, помилуй меня, грешного, недостойного раба твоего!» — И помолчав, опять:

— Читай за мной! Повторяй: «Благослови душе моя, господа; господи, боже мой, возвеличился еси зело; во исповедание и в велелепоту облекся еси; одеяйся светом яко ризою, простираяй небо яко кожу; покрываяй водами превыспренняя своя, полагаяй облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню», — и т. д., и т. д.

Рядом с ней — и тоже в углу — жил сердитый старичок, небольшого роста, седой, оборванный, — бывший буфетчик, которого тоже за выслугу лет посадили «на спокой» в угол на паек.

Я иногда в щелку перегородки подглядывал за ним, что он делает, и видал, как он, держа в правой руке большое круглое увеличительное стекло, водил им по строчкам в какой-то развернутой толстой книге, читая что-то, или же, раздевшись донага, ловил в рубашке вшей и убивал их молоточком на подоконнике. Во время этого последнего занятия лицо его перекашивалось в сторону, а в открытом рте страшно как-то торчал черный клык.

С моей «мамашей-хресной» он часто ссорился, выводя ее из терпения разговорами про попов, которых ненавидел.

Я узнал после от отца, что он ненавидел их за дело, а именно за то, что однажды «на духу», когда говел, покаялся попу в каком-то особенном своем грехе, а поп этот его особенный грех взял да и доложил барыне-помещице, которая и сказала ему про это. С тех пор он возненавидел попа, перестал ходить в церковь, перестал говеть, перестал принимать иконы.

Я его очень боялся, потому что он часто бывал пьян и в пьяном виде, когда приходилось ему увидать, что я сижу у «хресной», кричал, топоча ногами:

— Пошел отсюда, постреленок, вон! Вот я спущу порчонки-то тебе да отхолю как надо — не будешь ходить! Чему она тебя научит, дура? Пришибу вот я ее когда-нибудь на месте! Не слушай ее! Плюнь ей в харю-то, поповской прихвостне! Врет все! Все они врут, дьявола! Не верь никому! Пошел вон, пока цел!

Сельскую школу я окончил, проходив туда четыре зимы. Несмотря на то, что плох был по арифметике, получил все-таки «аттестат», где по всем предметам было помечено «отлично».

В школе, благодаря отцу-диакону, я пристрастился к чтению и читал все, что только попадало под руку. Какой-то особенный мир сложился в моей голове, и страсть к чтению все возрастала. Я не мог равнодушно видеть ни одной книги, чтобы не воспользоваться ею и не прочесть ее.

Отец сначала не обращал на это внимания, а потом стал сердиться и высмеивать меня, называя «профессором кислых щей». А мать со страхом шептала мне, стараясь говорить как можно вразумительнее:

— Что это ты, сынок-батюшка, читаешь все? Бросил бы ты это занятие. Нехорошо! Не доведет тебя это до добра. Подумай-ка: ты ведь не барин какой. Спаси бог, до господ дойдет! Господа узнают, скажут: «Что такой у вас за сынок растет? Что он у вас, барченок что ли? Дворянский сын?» — Нехорошо! Брось! Молись лучше царю небесному. Ходи как можно чаще в храм. Молитвы читай. Не попадись ты, спаси бог, барину с книжкой-то! Ну их к богу, книжки-то твои! На что они тебе? Мы ведь не господа, читать-то их! Книжки тебя не прокормят. Стыдно, сынок-батюшка. Прошу я тебя: не огорчай нас с отцом, перестань!

По окончании мною сельской школы у родителей возник вопрос, куда же меня отдать в ученье? Отец настаивал отдать в слесаря, а матери этого не хотелось.

— Батюшка Пал Афанасич, — говорила она, — куда же его по его здоровию в слесаря? Ишь он у нас какой! Трудно ему там будет.

— Ну, куда ж его по-твоему, — сердился отец, — в министры, что ли? Там нехорошо, там трудно. Привыкнет, небось, не велик господин-то!

— Господ просить надо, батюшка Пал Афанасич. Им поклониться хорошенько. Что скажут? Они — не мы. Им только слово сказать — куды угодно приймут.

На этом они и порешили. Мать сама лично ходила просить, и помню, сколько мучения пережила она прежде, чем решилась на такой шаг. Но все-таки решилась!

Дело это случилось в воскресенье. Она сходила к заутрени, к обедне (я, конечно, тоже был с ней), «заказала» после обедни молебен преподоб-

ному Сергию Радонежскому чудотворцу, пришла домой, надела на голову какую-то белую косынку, на плечи накинула цветную шаль, несколько раз перекрестилась на наши иконы, перекрестила меня, крепко поцеловала и отправилась в «дом к господам».

Возвратилась она оттуда веселая. Господа, как оказалось, благосклонно выслушали ее просьбу и обещались, как она выразилась, «похлопотать» относительно меня.

Помню, отец, выслушав ее, сказал поморщившись:

— Эх, мать! Господская милость — кисельная сытость. Ну, уж ладно, увидим.

«Увидать» пришлось скоро. Господа выполнили обещание, «похлопотали», и вот я узнал, что меня в августе повезут куда-то далеко в Новгородскую губернию в город Череповец, где я буду учиться в каком-то техническом училище «на казенный счет» на «всем готовом».

Родителей моих, как я тогда увидал, всего больше радовало то, что я буду жить «на всем готовом» и что за мое ученье платить не надо.

— Смотри, сынок-батюшка, — говорила мать, — учись, старайся! Господь тебе щасье посылает. Не прогневи господ. Поминай их постоянно на молитве. Куды бы вот тебя деть-то, кабы не они!

Я принял это известие о моей поездке равнодушно, хорошенько, впрочем, не понимая его значения. Да и не до этого мне было. Я раздобыл книжек и, как говорила мать, «помешался на этих книжках».

Отец — и сам охотник почитать, как я уже и говорил, — стал сердиться на меня, и я, видя это, старался (особенно в летнее время) укрыться куда-нибудь в укромное местечко: в сарай, на чердак, в огород, в рожь. В конце концов мое «укрывание» кончилось бедой. Однажды забрался я в рожь и, сидя там на узенькой — только одному человеку пройти — меже, с обычным своим увлечением читал книжку, не обращая ни на что внимания, как вдруг позади себя услыхал собачий лай и, быстро оглянувшись, увидал, что на меня изо ржи глядит злобными глазами барская собака и лает. Первым моим движением было бежать, ибо я сейчас же понял, что собака эта очутилась здесь не одна, а со своим хозяином-барином, который всегда брал ее с собой, отправляясь на прогулку перед обедом вокруг своих полей, — но не успел, ибо сейчас же по меже, откидывая правой рукой в сторону колосья, прямо на меня вышел барин. Я, оторопев, вскочил и уронил книжку.

— Ты это что здесь делаешь, а? — сердито нахмурившись, спросил он.

Я со страха молчал.

Он взглянул на то место, где я сидел, на примятую рожь, на книжку и, еще больше нахмурившись, крикнул:

— Это что такое? Что ты здесь делал?

— Чи-и-тал, — запинаясь, ответил я.

— Чи-и-тал? — протянул он. — А ну-ка покажи, что? Нашел однако место. О-о-чень хорошо! Однако... Гм!..

Он двинулся вперед по меже мимо меня, посвистывая и махая тростью. Собака побежала за ним. Я, проводив их глазами, бросился бежать в ту сторону, откуда подошел ко мне барин, весь переполненный каким-то особенным, трясущим все мое тело страхом.

Домой перед вечером отец пришел с работы встревоженный и сердитый.

Мать сразу заметила, что он «не в духе», и с испугом спросила:

— Что это ты, батюшка Пал Афанасич, такой сердитый? Случилось что-нибудь, а?

— А это ты вон у кого спрашивай, — показав на меня, сказал он, — у него! — и, обернувшись ко мне, сердито крикнул: — Ты что же это, долго ли с книжками-то со своими нас с матерью мучить будешь?! На-ка, в рожь забрался читать, а барин увидал, выговор мне сделал: «Что это, — говорит, — твой Семка, дела у него что ли никакого нет, романы во ржи читает? Не его бы это, кажется, дело». Хорошо мне это слушать было, а?

Мать встревожилась, испугалась, заплакала.

— Говорила, говорила я, постоянно говорила: перестань, брось, не доведут они тебя до добра, вот и вышло по-моему! Вот и дождался! И все ты виноват, — набросилась она на отца, — с кого он пример берет? — С тебя! Ты сам тоже словно махонький, — возьмет книжку, уткнется в нее и си-и-дит, как клуша на яйцах. Чем бы ребенку пример показать, отучить бы, а ты сам тоже делаешь!

— Так ему нешто романы читать полагается? — оправдывался отец. — Ему арифметику надо, задачи, а он вместо того романы. Драть надо, как рукой снимет! Одно средство: «не берет слово кротости, так поленом по кости».

Но «драть» он меня не стал. Да и вообще я не помню, чтобы он когда-нибудь меня бил. Непьющий, всегда трезвый, трудолюбивый, но вспыльчивый, он бывало накричит, нашумит, но рук своих, как выражалась мать, на меня «не отверзал».

Мне думается, что ему, насмотревшемуся на свою крепостную жизнь, на всевозможные издевательства и побои со стороны господ к несчастным рабам, — опротивело это, и он стыдился с своей стороны поднимать руку на беззащитного и слабого.

Он любил меня и, помнится, с какой-то затаенной грустью не один раз говорил мне:

— Эх, Семка, дожить бы мне, посмотреть, что из тебя будет?! Неужели и тебе такую же чашу пить придется, какую мы, рабы, пьем?

К нему приходил навещать его два раза на году брат его, мой дядя. Звали его Никоном. Этот дядя Никон был странник-бродяга. Высокого роста, в длинном монастырском засаленном подряснике, с палкой в руке и с черным лоснящимся на сутуловатой спине ранцем, являлся он к отцу обыкновенно вечером попозднее, стараясь делать это так, чтобы никто не видал. Приходил он всегда, по выражению отца, «голый», т. е. пропившийся

до креста, и всегда одинаково возбуждал к себе великую жалость со стороны матери. Она называла его «братцем», и я слыхал, как она говорила отцу:

— Батюшка Пал Афанасич, братец-Никон опять пришел. Ты уж, христа-ради, не обижай его словами-то! Не делай ему выговора. Жалости на него смотреть, а почем знать, может господь его нам на счастье посылает?

Этот дядя Никон производил на меня большое впечатление. Все в нем, начиная с его фигуры, удивляло и интересовало меня.

Придя, он обыкновенно говорил охрипшим басом: «Вот и мы опять к вам на своих гнедых приехали» и начинал разоблачаться, снимал ранец, клал его где-нибудь в угол, поправлял, примазывал ладошками рук длинные волосы на голове и, высморкавшись, садился.

— Откуда бог принес? — с насмешкой в голосе спрашивал отец, — из каких палестин?

— Да так, кой-откуда, — махнув рукой, неопределенно говорил дядя Никон и, помолчав, добавлял: — Путей у меня много, а нищему деревня не крюк. Нынче здесь, а завтра там.

— Опять, небось, с вином связался? — спрашивает отец.

— А когда я с ним, ангел мой, развязывался-то? — в свою очередь задает вопрос дядя Никон.

— Бросал бы ты, брат, это занятие, нехорошо.

Дядя Никон молчит, нахмурившись, и закуривает большую, всю почерневшую, пропитанную насквозь никотином трубку.

Мать торопилась накормить его. Доставала из печки чугунок со щами, наливала чашку, ставила на стол, нарезывала несколько ломтей черного хлеба и говорила, с любовной жалостью глядя на него:

— Братец Никон Афанасич, садись, покушай, чем господь послал. Устал, небось, проголодался? Водочки выпьешь? У меня есть немножко. От праздника еще, от Миколина дня, осталась, берегла для тебя.

— Спасибо, — говорит дядя Никон, пересаживаясь к столу. — Давай, ангел мой, коли есть, выпью.

Мать наливает ему «порцию», как он выражался, — чайный стакан водки, — и он, взяв его в правую руку, а левой постучав себя по голове и сказав: «Дай бог, не последняя», выпивает и с жадностью принимается за щи.

Приходил он постоянно грязный оборванный с каким-то своим особенным кислым запахом. Иной раз под его подрясником не было никакой рубашки. Тогда мать, увидав это, со слезами упрашивала отца позволить дать ему надеть какую-нибудь его рубашку. Отец обыкновенно на это только махал рукой и, сказав что-нибудь вроде «баловница» и «потатчица», уходил куда-нибудь, а мать, позвав дядю Никона в чуланчик за печку, заставляла его там надеть на себя заранее уже припасенное ею бельишко. Заставляла его мыться над большим корытом, подавала ему в чуланчик теплую воду и, помню, говорила:

— Ты, батюшка-братец, голову-то хорошенько мой, скреби ногтями-то хорошенько, не жалей мыла-то, я еще дам, мойся чище!

Вымывшись и переодевшись, дядя Никон, подув зачем-то на пальцы, брал деревянный желтого цвета с длинными зубьями гребень и, расчесав им бороду и волоса на голове, садился к столу пить чай.

Человек этот исходил пешком всю Россию. Все монастыри — мужские и женские — были ему знакомы. Он побывал в них и, в каждом, очевидно, не находя того, что ему было надо, покидал его и шел в другой, подгоняемый, как лошадь кнутом, надеждой, что вот в этом, другом, найдет то «тихое пристанище», которого ищет душа его.

Нашел ли он его, не знаю, ибо он пропал без вести, и мать долго поджидала его, горевала по нем и не раз «подавала» в церкви «о здравии» «путешествующего раба божиего Никона».

Но он не являлся и не явился, погибнув, очевидно, где-нибудь на чужой стороне, никому не нужный, от какой-нибудь, скорей всего «наглой», смерти.

(Продолжение следует.)

Косматый кулак.

(Глава из романа «Тадеуш».)

Юлий Каден-Бандровский.

— Вернуть сокращенных!
— Занять безработных!
— Всех!
— А как с повышением ставок?
— А относительно малолетних?

Требования были известные. Такие всегда выставляются и должны выставляться. Почему же такое волнение?

Потому что эти требования выставлялись после, видимо, сорвавшегося предательства союза на недавнем заседании труда и капитала в Совете шахт и заводов.

— Это уже не организация. Это наша стихия говорит сейчас! — крикнул Дусь.

Крикнул он голосом, или самим дыханием, своей потертой, копеечной фигурой, самой мыслью? Он кричал всем своим телом, каждым фибром распаленной души и страшной подземной мечтой, светившей ему долгими часами и днями над черной пустотой шахты, чтобы отсюда, из шахты Эразма, вывести человека в мир.

— Чтобы все вы, и каждый в отдельности, чувствовали себя солдатом всемирной армии труда — вот ваша рабочая стихия! Перед обнаружившимися черными фактами, фактами измены, никому ничего не остается, как бороться вне союза. Выдвинуть свои требования независимо от этой организации, стократно сейчас сгнившей. А нет — забастовка! Остановится все: «Эразм», «Флора», «Париж», «Екатерина», «Ирена».

Он с криком бросал названия. Ах, эти названия далеких городов, или неизвестных женщин, матерей или любовниц капитала, которые прославляет своею кровью несчастный рабочий класс!

Вслед за выкриками Дуся из груди собравшихся вырывались восклицания мощные и в то же время подчиненные какой-то внутренней дисциплине. Даже Мартизелю, которому стал уже чуждым язык юношеских идеалов, чудилось в этот момент, будто что-то огромное, какая-то коллективная воля напрягается в этих окриках толпы.

Требование, окрик — и снова послушнейшая тишина. Тишина, глухая как могила.

А ведь здесь были самые разнообразные люди, в этой сборной. Старые шахтеры, молодые, со всех сторон ; были незаметно вкраплены и некоторые надзиратели. Ибо никто не станет надзирателем, если не пользуется доверием, где следует.

Когда Дусь ясно, громовым голосом перечислял отдельные требования, а люди поддерживали криком, обрывая его внезапно мертвой тишиной, — даже надзирателей потрясала бессознательная торжественность этой церемонии.

Люди простые, несознательные, молодняк и уже обмякшие старики, которые здесь, на «Эразме», потеряли всю свою жизнь, — уже забывали, о чем главным образом идет речь, и только безмерно утопали в этом горьком счастьи выкликанья своих обид. Особенно пред лицом этих мест, этих стен и машин, и дней всех годов, которые стояли здесь сейчас свидетелями. Нигде шахтер так легко не понимает речей, как здесь, где он сам работает.

Дусь мог повести их своим словом, куда бы захотел, особенно когда брошено было заверение, что и на других шахтах всюду говорят так же и так же митингуют.

И вдруг неожиданно раздается голос из желтого резинового пальто, которое появляется в пустых дверях как раз этой сборной:

— Неправда, товарищи! Ложь, абсолютная ложь — и вовсе не так же. Абсолютная ложь, уважаемые товарищи!

Кто может так говорить:

— Абсолютная — уважаемые?!.

Кто может крикнуть с таким жаром убеждения? Таким раздражающе торжественным голосом? И притом так, чтобы сразу жилы на шее почернели? Заговорить с таким достоинством и вместе с тем так, словно знает людей как свой карман, но предвидит с их стороны все наиболее глупое и что это глупое произойдет неизбежно?

Так может говорить только один человек в Поселке, — конечно, из союза, конечно, сам секретарь, с вырезанной из бумаги красной гвоздикой в петлице резинового пальто, — Алоизий Коза.

Вот работа организации: шпионство...

Кто опять сообщил Козе о собрании, кто?

А результат?

Штейгерские иудины оконца приоткрыли деревянные веки, по мостовой голов сразу промелькнули тени, — люди уже не слушают.

Коза? Он вовсе не счел нужным влезать на стол, устраивать себе трибуну и произносить принципиальную речь.

Ничего подобного.

Шелестя резиновыми полами своего пальто, он сделал небрежно едва несколько шагов вперед. Перед ним сейчас же образовалась пустота. Люди любезно расступились. Сами.

И что же?

И он тотчас вошел в эту пустоту сознательной поступью власти.

В качестве власти он сразу сказал, что есть два пути.

Всегда и всегда два, то есть нет никакого.

Коза же видит два и вовсе не пугается. Он этому ни удивляется, ни страшится. Он говорит все это обиженным голосом. Как же, ему обидно, что приходится говорить об этом, да еще безработным, которые, будучи политически неустойчивыми, всеми будут выплюнуты.

— Согласно евангелия, чорт возьми!

Таковы были методы Козы. То «абсолютная ложь», то вдруг «евангелие», а то «выплюнуты». Как будто с полным почтением — и вместе с тем ощущение, что тебя тяжко бьют по морде.

И кончаю:

Являясь секретарем и получая свое содержание из членских взносов, он с достоинством лезет в карман и перед лицом всех отирает вспотевший лоб и все лицо цветным шелковым платочком.

Так как же теперь?

Труд — и такая роскошь?

Как же это все объединить?

Козе нет до этого никакого дела, он не ждет никаких объединений. Он держит себя, словно союз у него в кармане, и эти шахтеры в кармане, и шахта в кармане, — здесь же он выступает только из побуждений милосердия, причем громовым голосом...

Так какое ж милосердие?..

Тем же голосом он непосредственно извергает из себя такое предложение:

— Секретарь союза, то есть я, пока зондирует мнение делегатов шахт. Все остальное — всякие там постановления о забастовке — бузотерство! Сами знаете.

Он передвинул спортивную кепку, которую и не думал снимать, с левого уха на правое и прибавил, уже выходя.

— А если вам, быть может, нравится уподобляться разложившейся шляхте конца восемнадцатого века, — это уже не мое дело.

— Не мое дело, — гудел он сквозь густые струи дождя, громко, весело, обидчиво, направляясь к зданию бани, постоянно дымящемуся снизу белым паром. Здесь он скрылся за углом в обществе двух безработных. Собственно незаконно, но по ходатайству союза, им продлили пособие, и теперь они доставляли отовсюду лучшую информацию.

Коза коротко отпустил их властными словами:

— Вы мне больше не нужны, можете итти.

Он еще прислушался сквозь шипящий пар, хотя был уже уверен в успехе: в сборной было слишком шумно, говорило сразу по нескольку человек.

Ни к чему не придут...

Здесь за углом, в уединении, в одиночестве, он отирал лицо не шелковым платочком, а руками. Причем всесторонне огорчался: перед лицом этой шахты, за ее судьбы и за свои и за весь процесс протекания кризисов, который как-то не желал соединить судьбу «бедного секретаря» с упрямым руководством капитала.

При таком огромном общем напряжении, при такой благоприятной конъюнктуре, после блестящего отчета о митинге лидера в «Голосе Поселка» и в стольких ярких корреспонденциях в партийную прессу, после всего этого — ни тени изменения к лучшему в его карьере.

Одно точно и определенно, — при полной лойяльности: рабочее общественное мнение уже кипит против депутата Дронжека в самой высокой степени.

Всюду!

Коза с утра действовал именно в этом направлении, оставаясь, конечно, в пределах строгой лойяльности. Он обежал стихийные митинги в шахтах. Если где-либо происходило что-нибудь дурное — подавлял. И с полной лойяльностью мог сообщить Дронжеку о настроении рабочей массы и что при таких условиях руководство возможной забастовкой ускользнет из рук союза. Следовательно нужно изменить условия: партия должна отозвать отсюда депутата Дронжека. Дол-жна!

С этой мыслью Коза влетел и вбежал и ворвался — в такие моменты он все эти способы умел объединить в один — в секретариат Народного дома.

Третий этаж, сильно поврежденный последними заседанием делегатов, но уже отремонтированный. Здесь он застал депутата Дронжека — одного.

Как, в прекрасном настроении?! Такой глупый партийный кит на старости лет никогда не знает, что и откуда ему грозит. Он весь зарастает жиром. Ты тут вертишься, как в кипятке, пылинки с его пути сметаешь, а этакий партийный сановник пахнет утренним кофе, в углах глаз еще белое молочко от сна — и просматривает партийные газеты!

Много узнает!

Коза грохнулся за письменный стол, в кресло с войлочным, мягким тихим кружком (блаженство канцелярской работы). Дронжек спокойно, кладя ногу на ногу:

— У вас там большая почта на письменном столе, хотя в общем ничего любопытного.

Вот тебе все, что может сказать депутат угольного бассейна, да еще в такой момент.

И Коза, соответственно побледнев и насупив голос искренним волнением, говорит о положении, начиная со слов, в этом случае, кажется, простых и наиболее отвечающих:

— Я, товарищ депутат, не могу ничего смягчать перед вами.

Коза начинает рассказывать все подробно.

С третьего этажа виден двор женской гимназии, в каковом учебном заведении, — увы, лишенном канализации, — он едва не имел ребенка со старой служанкой.

Дождь стекает по жалобным деревцам гимназического садика. От времени до времени какая-нибудь девчушка в гимназическом фартуке пробегает по скользким доскам, вероятно в уборную.

Козе хорошо известно, что уборные находятся в конце двора, о чем не раз писалось под рубрикой «Гигиена» в собственном «Голосе Поселка».

За этим двором высятся дырявые, рябые стены жалких домов, а дальше снова видна крыша, глядя на которую во время своих союзных функций Коза слышал в себе одно четкое, полное слово: д в о р е ц.

Крыша дома, выгнутая, аристократически аспидная, крыша, под которой живут Кострыни со своей единственной дочерью.

За этой крышей высится пять огромных труб всем известного завода «Екатерина», при виде которых, в моменты тяжких нравственных коллизий, в секретаре раздается иногда следующий, от всего оторванный вопрос:

К о м у э т о м е ш а е т?

Из этих труб летит сейчас сквозь дождь огромный лоскут дыма. Летит, раздвигается в воздухе так быстро и точно, что можно ощущать его вкус даже здесь, в третьем этаже.

Он сладковато-кислый.

Коза выкладывает горькую правду депутату Дронжеку — как вдруг... неизвестно как это случилось! — широкое лицо депутата очутилось прямо перед глазами Козы, спокойно глядя в глаза секретаря глазами терпеливого вола, а не партийного человека.

Это лицо медленно отодвинулось, а перед ним, под самым носом секретаря Козы, появился кулак. Сжатый, огромный, чудовищный. Толстые волосики этого кулака неприятно касались полуоткрытых губ Козы.

Кулак вначале не двигался.

Через минуту он начал дрожать. Эта дрожь превратилась в ряд мелких, но все ускоряющихся взмахов. Затем над самым кулаком слова:

— Морду разобью! Разобью морду, слышишь?! Клоп вонючий! Ты меня будешь пугать партией? Я тебе покажу партию! Что ты, Коза, выделываешь тут подо мной, как ты подкапываешься, роешь, подрываешь, это я знаю, и не с сегодняшнего дня. Но последний экзамен ты сдал здесь, в этом самом Народном доме, на этом самом этаже во время последнего заседания делегатов. Кто меня здесь запер на ключ?! Так вот тебе мой партийный урок: кулак!

Кулак депутата Дронжека, блестящий темными волосами, поднял вверх кончик носа Козы.

— Довольно этой болтовни! Я тебе морду разобью. Гнида! Разобью тебе морду в десять лепешек. Ты у меня зубы в плевательнице оставишь. Вон — там, в углу у печки — в плевательнице этого Народного дома, который я на ваших костях, скоты, поставлю, а поставлю! Зачем я тебя

вытащил из нищеты, из твоей нужды паршивой? Чтобы ты служил, ты, дрянь, дохлая падаль!

Мощный пинок депутата выбил из-под секретаря стул.

Теплый кружок войлочной подстилки покатился далеко к печке, и вот Коза некоторым образом повис на собственном жилете, крепко захваченном рукой депутата Дронжека, другая рука которого — огромная, грозная, сжатая в могучий кулак, — продолжала блестеть перед носом Козы черными волосками.

Голос депутата словно расступался перед самим собой, из неизведанных глубин и недр издавая громовой рев.

Помещение секретариата, календари на стене, чернильница на столе, карты профессиональных организаций, — все содрогалось от этого могучего крика.

Вместе с голосом изменилась и депутатская наружность: красное до синевы лицо сжалось в один жилистый бифштекс, казалось, брызжущий кровью.

— Это, брат, не для формальности, — ревел Дронжек, — вовсе не для формальности. Я буду дубасить по морде так, чтобы морда болела.

Он потрясал Козой, поднимал его и опускал, наконец швырнул на диван.

Только теперь Коза пришел в себя. Он сорвался, вскочил на ноги, со свистящим дыханием, взбешенный внезапным унижением.

— Я... — заревел он голосом своих победоносных собраний — и оборвал...

Дронжек от стола замахнулся так, что зазвенели стекла. Что-то из подтяжек или пуговиц оторвалось у депутатских штанов, и товарищ-депутат уже несся с огромным как камень кулаком, высоко занесенным вверх, чтобы бить по морде.

Коза протяжно завыл, согнулся, упал на колени и заплакал.

— Садись, подлец, и учись, — рокотал Дронжек.

И сразу начался урок по методу депутата Дронжека.

— Теперь ты, дурак, узнаешь все, что происходит, чтобы ты ориентировался, а не потому, что ты стоишь того, чтобы понимать, что происходит. Это — первое. Ты узнаешь всю правду, потому что ты у меня в организации — собака на посылках и должен только еще учиться, как стать человеком. Это — два.

После двух шло три, четыре, пять, и шесть, и семь, каждая подробность тыкалась отчетливым кулаком депутата под нос секретарю.

— И если ты хоть слово пикнешь, то оставишь все свои зубы в плевательнице.

В пунктах от третьего до седьмого пока было оглашено:

— Относительно забастовки мы будем пока что приноравливаться к настроению масс. Всюду, где возможно, пустим большие митинги. Теперь мы сами против капитала. Раз уж до этого дошло. Люди должны снова нам поверить, а руководство стачечной кампанией должно остаться

у меня. В руках. В моих руках. В конце концов — так, сяк, или иначе — пойдем на компромисс. Поэтому нужно действовать путем слов, а не точных пунктов. А почему компромисс ? Потому, что как ты, так и каждый здесь, позволит себе разбить морду, но сам никого не укусит. Поэтому у вас будет Народный дом, — большое прекрасное здание, — по закладным придется платить не так уж много, — и здесь останется что-то, а не только ваши морды. На ваших костях я этот Дом построю — и это самое лучшее.

Депутат Дронжек повернулся к секретарю спиной в знак того, что дальше по этому вопросу и язык трепать не стоит. Он остановился у окна. Умолк.

Секретарь не шевельнулся. Молчал.

Под дорическими колоннами входа в театральный зал Народного дома, рабочие гасили известь. Депутата Дронжека особенно волновало это название, которое он, впрочем, плавно повторял за другими: дорические. Из дорита они, что ли?

Однако при постройке не приходилось практически слышать о камне дорит. Что это — послевоенный фабрикат или какая-нибудь местность?

Это напомнило депутату приезд лидера и униженные приплясыванья вокруг него секретаря. А также подлизыванье последнего к капиталистам на заседании в Совете шахт и заводов и раньше.

— Смотрю я на тебя, Коза, давно и не с сегодняшнего дня, — начал снова Дронжек, не поворачиваясь.

Чем же он смотрел — задом? Довольно и того, что он спиной поучал теперь этого гниляка.

— Я только постепенно должен сделать из тебя человека. Поэтому ты сейчас сядешь за стол и усердно напишешь на союзном бланке, что ввиду таких-то и таких-то инцидентов мы считаем переговоры прерванными. Ты это адресуешь в Совет шахт и заводов на имя их председателя Кострыня. И сам отнесешь это ему туда, напротив. Там, в Совете, на заседании с капиталистами, ты рта не открывал и тут с делегатами не сказал ни слова. Поэтому ты там этому сукину сыну Кострыню, с которым я могу хитрить, — но не ты, баран этакий! — ты ему от себя, будто бы частным образом, — от себя, от этакого вот глупого Козы, — выразишь свое классовое негодование. После этого ты уже не сможешь ускользать у меня между пальцев. Ну вот — пиши.

Депутат Дронжек отошел от окна не раньше, чем услышал стук пишущей машинки. Только тогда он подошел к Козе с соответственной полной достоинства милостивостью.

Ибо Коза уже переписывал письмо на машинке и вместе с тем плакал. Крупными частыми слезами, отклоняя в сторону голову, чтобы не замочить бумагу или клавиши машинки.

Слезам депутат Дронжек еще не верил, однако думал, что это — первый признак раскаянья.

— Придется тебе — знай это заранее — много еще пролить таких слез, прежде чем ты станешь человеком. — Он остановился около пишущего и, проехавшись ногтем вдоль ровнехонького пробора Козы, среди рыжих, прилизанных волос, прибавил:

— Ты еще только научился печатать на машинке. Составлять статьи и тому подобное. Сидишь здесь в тепле, чисто. Ты что ж думал: все это даром?

Письмо они подписали оба. Дронжек большим красным языком заклеил конверт, отдал Козе и еще раз взглянул из-под нависших век.

Коза хорошо понял. Тихонько надел у вешалки мокрое резиновое пальто, застегнул все пуговицы, дрожащими руками расправил пояс, остановился среди комнаты и подождал, пока взгляд депутата еще раз не остановился на нем. Тогда, наполняя глаза свежими слезами, он сказал простым, преданнейшим голосом:

— Благодарю вас, господин депутат. Очень вам, товарищ депутат, благодарен.

Товарищ — и вместе с тем — господин!

Довольно — или, быть может, слишком мало — или, может быть, достаточно?!

Коза спускался с третьего этажа как пьяный. Хорошо, что, хотя не законченная и полная мусора, эта лестница была снабжена деревянными перилами.

У секретаря шумело в ушах, мелькало в глазах, он мог свалиться вниз на первом повороте. И хорошо, что как раз никого сейчас на этой лестнице не было. Если бы в этот момент он встретил здесь кого-нибудь,— все равно кого, кого попало, всякого, собственного покойного отца, несчастного пекаря и пьяницу, — всякого он загрыз бы на-смерть.

От бессильной злобы, от отчаяннейшего отчаяния, — ах! от такого отчаяния!!

Он крался вдоль стены, не замечая пачкал мокрое резиновое пальто о стену и плакал. Не глупыми мокрыми слезами, как перед депутатом, а так, как плакал когда-то — когда-то — на четвертом слое шахты «Флора», при подвижных сточных трубах Риннейзена, когда он должен был ползать из конца в конец шахты, с опухшими ногами, по щиколки в воде, двенадцать, потом десять часов в сутки.

Он плакал гнетущей болью в углублении под ребрами, плакал каждой мыслью: ибо оказалось теперь, после стольких лет канцелярской работы — работы, которой, если б у нее были ноги, можно было б целовать их от благодарности, — оказалось, что при этой работе, раньше или позже, тебя тоже начнуть бить — и бьют же!

В воротах Народного дома он встретил своих безработных. Обоих. Тех, что сообщали о стихийных митингах.

— Что вы тут стоите? — набросился он на них.

Они убежали.

Он остался один.

Дождь лил и лил.

Направо — запотевшие окна Цеплика, направо — зеленая бонбоньерка, здание Совета шахт и заводов.

В здании — лестница .

Лестница — вещь мертвая. Камни. А все же раньше казалось, что эти камни живут человеческой его мечтой: пройти бы по ней во главе делегатов...

Коза шел теперь по лестнице, как по собственному трупу.

В Совете шахт и заводов, при самом входе, в передней, он, казалось, забыл обо всем, что его сегодня так больно поразило.

Что же поделаешь? У каждого человека свои вывихи и безумства. Что тут такого? Одна минута приятного беспамятства перед этой державой расчетов, этой массой богатства и могуществом власти, так удобно здесь устроившейся.

Когда он отдал визитную карточку:

Алоизий Коза
Редактор «Голоса Поселка»,

под ним подогнулись ноги.

Пусть скажет мир, пусть говорят все силы и все могущества, — что важнее?

Ради всего святого — что важнее? Дронжек, собственные зубы в плевательнице на третьем этаже Народного дома — или отец панны Зузы, председатель Совета шахт и заводов, директор Феликс Кострынь?

За стенами ли партии, верно, преданно, до смерти, с кулаком Дронжека под носом или какая-то другая, лучшая, собственная жизнь?..

— Господин директор просит, — лакей Совета шахт и заводов, — старый, хромой предатель — Матвей Циолек, открыл дверь.

Коза подтянул брюки, которые он еще с лета, с сезона своей модной поплиновой рубашки, носил на пояске. Он подтянул их, словно готовясь к прыжку, или к великому, величайшему состязанию — состязанию, где призом вся жизнь.

Он на цыпочках прошел первую комнату, где стучали машинистки, прошел другую — большую канцелярию, где в колечках папиросного дыма с достоинством заседал господин Скерский, — и вот приоткрыл следующие, двойные двери.

Ошибившись в направлении, куда они открывались, он потянул не в ту сторону и на секунду закрылся в словно подбитой ватой темноте, после чего, как бы сам собой перед ним появился директорский кабинет.

Письменный стол — над ним обвисшее лицо Кострыня — два клубных кресла по сторонам — по середине комнаты, вероятно на столе, — но Коза видел ее словно в пустом пространстве, — блестящая, тяжелая пепельница.

Словно маленькая звездочка.

Секретарь союза Коза не представился, не напомнил о себе директору, не сказал «здравствуйте», не поклонился.

Ничего.

Не доходя двух шагов до письменного стола, он остановился и с этого расстояния швырнул письмо на зеленую бумагу директорского стола.

Теперь — теперь — в обрывках секунды наступил момент выявления классового негодования.

Увы! Вместо негодования словно прямо перед глазами секретаря появились кулак Дронжека и торчащие на нем жесткие волосы.

— О, да! — крикнул Коза голосом, болезненно пропарывающимся сквозь всю грудь, — вы здесь — за этими золочеными стенами, мы — за стенами классового угнетения рабочих.

Хлопнув дверью, он возвращался через все комнаты Совета шахт и заводов, никому уже по дороге не кланяясь.

Перевод с польского Е. Усиевич.

Из стихов о доме.

I. Средневековье на дому.

Над майоратами мещан
Луна из желтого хряща.
Сытостью поражены,
Мужья — ремесленников стая —
С готовой плеткой для жены
Встают, о выпивке мечтая.
Пищат их туфли, зябнет стол,
Лампады луч пасется,
Они ныряют — сразу сто
В постельные колодцы.
Сосут соседи сон. Тайком
Владеет мясо мясником.
Он принял схиму топора.
Он, как судья — еретиком,
Владеет тушами с утра,
Во сне же видит комара,
Комар журчит над ручейком.
Чернильные герои хмеля —
Конторщики, задув огни,
Мадонн качают на постелях —
Девчонок ситцевых они.
Терзают блохи спин пустырь,
Как будто грабят монастырь...
Машинистка, как писец
Средневековый, мучится
Кошмаром, черным, что резец...
Парит над ней процессья букв
Шипящих и лютых,
И ей захватывает дух
От черных запятых.
В бумажный падает рулон
И, как конвейер, повторен

На шабаш пишущих машин
Он мчит ее — над снегом груд,
Бумажных груд, бумажных шин, —
Рождая в пальцах тонкий зуд,
Сидит великий Ундервуд.

II. Перелезая через ворота ночью.

Не трогай сонных сторожей, —
Они сидят собак рыжей,
Под ними каменное дно,
А ты приветствовал вино.
Их тулупы — не поэмы,
Сторожа темны и немы,
Как дворовая тропа, —
А у тебя друзей толпа.
Говорит с тобой решетка,
Чугунная кокетка,
Грудью вылепленной четко,
Татуированной метко.
Топча осколки льдинок,
Зови ее на поединок,
Но сонных сторожей не мучь,
Их мучит Жакт, их мучают жены,
Ты не стучи обломком туч
В их полуночные загоны.
Решетка, грешница, ворот,
Решетка, видевшая много,
Тебе уступит и поймет
И не осудит слишком строго.
Штурмуй ее — не сторожей,
Ты делишь все не по уставу, —
Ты счастлив в этом дележе,
А им от жизни нет забавы!

III. Вид на крыши.

Как села, крыши простодушны,
Подумаешь — тулупьи спины,
Родятся дымы — зайцев уши —
На этих рыцарях овчины.
Но с краю крейсера отсек,
И уж над ним никак не проще
Радиомачт густейший росчерк,
Как будто там стоянка всех

Судов, оставленных в запасе...
Эскадра тонет. В рыжем часе
Стоят леса, как волки буры,
И в тех лесах звенящей шкурой
О сучьев ложных переплет
Он трется нежно (дура-дурой),
Пришедший с Запада фокстрот.
Тогда к нему медведем тяжким
Трибунный голос водворен,
Он гонит пляску, как за кражу, —
В Сибирь, в Аляску — в небосклон.
Я принимаю грех жилища,
Смрад и копоть. Зов пространств.
К окну подходит, словно нищий,
Просящий места у костра.
Я отказать ему не в силах.
Окно скрипит, как сто ворот,
Какой мороз сюжета в жилах,
Какой у сердца рвется лед!

Николай Тихонов.

Рупóр.

1.

Почти всегда
    одна за чаем.
И мужа нет,
И сын ушел.

Случайно все:
    И мир случаен
    И платья праздничного шелк,
    Потелефонный смех подруги,
    Жестокое словцо «буржуй»,
    Расчет ворующей прислуге
    И незабвенный поцелуй,
    Задор весны и тяжесть лета,
    И снежной бури желчный вой,
И философия вот эта
Над пятой чашкой
                    и халвой..

Она смеется над собою
И философией своей.
Пора переменить обои —
Вот это будет поумней.

Но смех становится усталым
И грустным чуточку
                    и злым.
Она встает и бродит вяло
По тихим комнатам своим.

Все хорошо — и даже очень:
И заработок
                и семья.
Но все же скука
Сердце точит,
«Как подколодная змея»

(так в гимназические годы
она любила говорить).

Ведь если жизнь —
бессрочный отдых,
Не сохранишь былую прыть...

Не так давно ушла прислуга,
И тяжело скучать одной.
Часы домашнего досуга
Теперь не скрасишь воркотней.

Все хорошо. И любит мужа,
И сшито новое пальто.
Но если бы...
хотя бы хуже...
Но только...
что-нибудь...
не то!

Чтоб дни неслись,
Не докучая
Своей бесцветностью больной...

Случайна жизнь. И мир случаен.
Скучай за чаем!
Боже мой!

2.

Барахтается солнце в луже,
Но все же в луже нет огня.
Не радует подарок мужа
И сына милая возня.

Она с тоскою неуемной
Глядит, сощуривши глаза,
На пятиламповый приемник
И рупор...
шире колеса.

— Да... очень... очень мило спето.
Но если засвистит — беда!

Забавную игрушку эту
Она заводит иногда.

Послушать оперу — неплохо,
Но эти лекции... тоска!

Опять «советская эпоха»
И дерзости большевика.

Однако знаешь все на свете
И заполняешь вечера.
Приятно прочитать в газете
Все то, что слышала вчера.

Проходят дни довольно глупо,
Но веселее будний быт,
Коль милый собеседник — рупор —
Поет,
    читает,
        говорит.

Головку на плечо уронишь
И слушаешь мильон чудес.
Вот Харьков,
    Ленинград,
        Воронеж,
Наркомпочтель,
ГСПС,
Вот «самокритик без утайки»,
Красноармейский,
    детский час,
Час матери-домохозяйки,
Вот громогласный бассный ТАСС,
Концерты, передачи, циклы,
Моцарт, Бетховен, Бах, Гуно...

. . . .

Надоедает? Нет. Привыкла.
Довольно мило...
        и умно.

3.

— Алло? Ты слышишь? Между прочим,
Весь день мой в рупоре увяз.
Я бы советовала очень
Поставить радио у вас.

Нет, управлять не тяжело ведь!
Зато я знаю, как мне быть,
Как экономить, что готовить,
Как врачевать и где купить.

Готовя по рецепту ужин,
Болтая про свои дела,

Вчера я говорила мужу,
Какая власть мне подошла.

И сформулировала это,
Похохотавши с мужем всласть...
«Мила мне
Радио-советов
Сверхзамечательная власть».

4.

Да, в гимназические годы
Она хотела быть большой,
Возжаждавши большой свободы
«Своей страдающей душой».

И вот она теперь свободна.
Но что же делает она?
Вот это мило. Это модно.
Та изменила. Та верна.
Тот зарабатывает много.
Тот перешел в большевики...
Неужли длинные дороги
Заводят только в тупики?

5.

А все-таки досадно очень,
Когда подумаешь о том,
Что обращаются к рабочим
И цацкаются с мужиком.

Все время к селам и заводам
Летят слова, любви теплей,
И только разве мимоходом
Заходят на квартиру к ней.

6.

— Ты знаешь, папочка?
В шесть двадцать
Я слушал профсоюзный час,
А мама чуть не стала драться
И вдруг зачем-то... заперлась.

Там был доклад насчет Детройта
И балалаечный концерт.

А мама слушала какой-то
Рабочий
университет...

7.

Да, в гимназические годы,
Читая Надсона,
она
Ждала невиданной свободы
И горько плакала со сна.

Теперь
Живется так спокойно,
А в сердце —
Горестная брешь.

Проклятые людские войны!
Прокля`ый,
пагубный мятеж!

8.

— Ну, папа! Это непорядки.
Мне сам гы денежки отдашь.
Мамуся на моей тетрадке
Сломала новый карандаш...

Она смеется.
— Эги дети
Всегда так задирают нос...
Я на родительском совете
Вчера поставила вопрос...

Он изумленно поднял брови.
— Что? На совете? Вот так так!
Ну, ладно. Шествуй на здоровье.
А Петин карандаш —
пустяк.

Ты лучше слушай про другое.
На службе говорили мне,
Что Рыков белою мукою
Нас провоцирует к войне.

Бухарин тайно верит в бога
И сталинское большинство...

Она
Поморщилась немного,
Но не сказала ничего.

9.

— Под грохот зимней непогоды
Тут собираются друзья...
  («Как в гимназические годы» —
  Сказать хотелось,
      да... нельзя.)

Сегодня будет званый ужин.
Ох, эта доля не легка!
Придет сестра,
Кузина с мужем,
Три сослуживца муженька
И будут говорить о мире,
Чтоб, выпивая без конца,
То хрюкать, как «свинья в эфире»,
То обнажать свои сердца.

Сказала: — Много в людях щебня! —
И вспомнила, что средь хлопот
Забыла докупить учебник
Для лекции
  про пятый год.

— Простите, рупор, милой даме!
Она была навеселе...

Бутылки
Ровными рядами
Теснили яства на столе.

10.

Все это вышло так случайно!
Упившись,
  гости, как всегда,
Друг другу поверяли тайны
И сроки страшного суда.
— Да, скоро-скоро, — видит небо, —
Настанет заграничный суд.
Они ведь не имеют хлеба!
Его крестьяне не везут...

И вдруг:
  — Неправда!
      Мы имеем!
Я не люблю большевиков,
Но все же надо быть умнее
Да не кусаться без зубов...

Оратор положил котлету,
В недоумении застыв.
Он уверяет всех, что к лету
Неотвратим
Народный взрыв!

Глаза блестят, расстегнут ворот,
Но —
Остановка.
Боже ж мой!
Да с кем же, собственно, он спорит?
С женою!
Чорт возьми!
С женой!

Потеха! Истая потеха!
— Жена,
Ты большевистский гном! —

Он залился веселым смехом,
А после этого —
вином.

11.

Стал телефон забытым трупом.
Так хорошо с собой вдвоем!
Она теперь глядится в рупор,
Как раньше в зеркальце свое.

«Брут... Уленшпигель...
Маркс... д'Акоста...» —
Чертит задумчиво перо.
Неведомое беспокойство
Просачивается хитро́

Сквозь эти буквы на бумаге,
Сквозь эту злую чепуху,
Мешая в сердце сталь отваги
И жалкой трусости труху.

Кругом все то же. Люди те же.
Спокойна жизнь.
А между тем
Ей это нравится все реже
Или
не нравится совсем.

Все, как и прежде, сердцу мило.
Однако, — поглядишь, — она

То разозлилась, то вспылила,
То всем и вся удручена.

Что изменилось, в самом деле?
Кто чужд ей ныне? Кто сродни?
Да,
Если быстро мрут недели,
То, значит оживают дни.

12.

Она сидит одна за чаем.
Сердечный лепет прост и тих.
Нет! Этот рупор не случаен
Среди случайностей земных.

Морозный вечер черным глазом
Глядит из-за плеча окна.
Он сторожить ее обязан,
Когда нахлынет тишина.

Но вдруг молчанье раскололось.
Приветно,
хорошо,
тепло, —
Такой привычный громкий голос
Проговорил:
— Алло! Алло!

И вслед за издавна знакомым
Двукратным «Говорит Москва!»
Переливающимся громом
Зарокотали
Слова.

Приятной ленью мир затоплен.
Портрет сурового отца
Следит за радостным и теплым
Спокойствием ее лица.

Морозный вечер черным глазом
Обшарил комнату сполна.
Ветрище, каверзный пролаза,
Просунул пальцы в щель окна.

Потоки тишины сгущались
В зловеще замершем углу...
Постукивал
упрямый палец
По омертвевшему столу.

Дышать, как будто, стало нечем.
Все глубже глубже дышит грудь.
Зашевелились нервно плечи,
И зубы скрипнули чуть-чуть.

Прошло жестокое мгновенье.
Тоска! Тоска! Тоска близка!
Брезгливо вздрогнули колени
И резко хрустнула рука.

Удар ноги. Нет, нет, не надо!
И лампа, вспыхнувшая вдруг,
Вмиг обнажила жестокость взгляда
И заметавшийся испуг.

Она, волнуясь и терзаясь,
Кричала рупору-врагу:
— Не Партия!
Нет, нет, мерзавец!
Я не хочу!

Я не могу!

Она, вскочив, зажала уши.
(Тень радости
сквозь гнев и стыд...)
Упрямый голос глуше... глуше...
Но говорит он,
говорит!

«Мы — правда новых поколений.
В ней сила нас, большевиков.
И тема «Радио и Ленин»
Есть тема правды наших слов.

Бежать большевиков — напрасно.
Их правда, спасшая века,
Нежна как мать,
как жизнь прекрасна
И беспощадна как Чека.

Негромкий вой усталой шавки
Рванулся хрипло ввысь и вниз,
И рупор, сброшенный с подставки,
На проводе своем повис.

«Руками фабрик, шахт и пашен
Великий Ленин мир потряс.
Сердца хватает правда наша! —
И даже те, что против нас.

Вселенная горда и рада,
Что с Лениным идет она.
Всечеловеческая правда
Лишь в нашу правду включена!»

Ей был тот голос как страданье,
Как луч надежды,
как позор,
И как благое оправданье
И как жестокий приговор.

А беспощадные слова
Гремели медленно и мерно:
— Алло! Алло!
Говорит Москва!..
Говорит Москва!..
Радиостанция...
имени...
Коминтерна...

А. Безыменский.

Коммунизм бродит по всему миру.

(К десятилетию Коммунистического Интернационала.)

А. Лозовский.

Это было в 1919 г. 2 марта в 5 час. 10 мин. вечера, когда Ленин открыл первый конгресс Коммунистического Интернационала — конгресс, который вследствие блокады объединил далеко не все партии и коммунистические группы, которые уже боролись в капиталистических странах. Трудное время переживала тогда Советская Россия. Это было время обостренной гражданской войны, время, когда вся энергия рабочего класса и нашей партии находилась в состоянии высокого напряжения, время, когда упоенные победой союзники обратили свое оружие и финансовые и экономические ресурсы против СССР. Советская Россия держалась против врагов благодаря, во-первых, героизму рабочего класса и нашей партии и, во-вторых, активной симпатии широких пролетарских масс капиталистических стран к этой неведомой, непонятной, далекой, но близко родной Октябрьской революции. ВКП напрягала все силы в борьбе; тысячи и десятки тысяч лучших сынов рабочего класса шли с энтузиазмом на фронты, отдавая свою жизнь за дело коммунизма. Внутренний враг был еще силен, он был силен надеждой на помощь союзников и готовил всероссийскую резню на случай победы. А там, за линией огня, в капиталистических странах, где только что наступило перемирие и приостановились потоки крови, там глухо волновались рабочие, скованные идейно и организационно социал-демократией и реформистскими профсоюзами. Массы искали выхода; стихийные движения и восстания вспыхивали в разных концах Европы; Центральная Европа была объята пламенем, но это пламя недолго горело, ибо слабы — идейно и организационно — были те партии, которые должны были поддерживать неугасимый огонь пролетарской ненависти. Социал-демократия и реформистские профсоюзы использовали весь накопленный в течение десятков лет свой политический капитал, чтобы задушить растущее движение или направить его по безопасному для буржуазии пути. Традиции, привязанность масс к своим организациям и отсутствие серьезной силы, которая могла бы сломить штрейкбрехерство социал-демократии, — таковы причины того, что первая волна была отбита. Вот почему надо было, во что бы то ни стало и возможно скорее, собрать воедино разрозненные силы и повести их в бой.

Все кипело и бурлило. Капиталистический мир сотрясался в своих основах, и в это грозное и вместе с тем радостное время собрался в Москве конгресс, который бросил в мир могучий лозунг: «Революционные рабочие всех стран, соединяйтесь!»

* * *

Коммунистический Интернационал был рожден в грозе и буре. Инициатива его создания принадлежит ВКП, которая еще в начале войны бросила в рабочие массы лозунг: «II Интернационал позорно обанкротился, да здравствует III Интернационал». Через Циммервальд и Кинталь, через Циммервальдскую левую, через упорную, систематическую, неослабную работу большевиков тянется нить к этому конгрессу. На первой легальной большевистской конференции, которая собралась в Ленинграде в апреле 1917 г., было постановлено «взять на себя инициативу создания III Интернационала». Как только Октябрьская революция победила, идея III Интернационала нашла свою территорию. Так — из войны, многочисленных пролетарских восстаний, Октябрьской революции и многолетнего опыта большевистской партии — вырос новый Интернационал, который стал кошмаром для всего капиталистического мира. Мало партий собралось на первом конгрессе. Кроме ВКП было несколько небольших партий и несколько заграничных групп, всего 19 организаций. Несколько партий не могли быть представлены из-за огненного кольца, окружающего Советскую страну. Мало было представлено коммунистических организаций, ибо в важнейших капиталистических странах они были еще в зародыше. Между тем объективная обстановка была в высшей степени благоприятна для создания партий и объединения их в единый Интернационал. Объективная обстановка созрела для пролетарской революции, но не было субъективного фактора, не было мощных массовых компартий, их надо было еще только создать. Нельзя было ждать с созданием Коммунистического Интернационала до тех пор, пока во всех капиталистических странах окончательно не оформятся и не сложатся компартии. Надо было бросить клич, собрать имеющиеся армии, зажечь маяк на советской вышке и бросить с этой вышки, широко распространить в массах большевистский опыт и большевистские методы борьбы. Была объективно благоприятная обстановка, была одна могучая партия, победившая на одной шестой части земного шара, и долг этой партии был — собрать вокруг пролетарской диктатуры все революционные силы и понести в массы славное знамя большевизма. Но создать Интернационал, да еще в разгар гражданской войны, было делом очень трудным. Нужна была серьезная подготовка, а в это время большевизм был объявлен вне закона. Надо было собирать делегатов по одиночке. Конгресс можно было созвать только в Москве, ибо, кроме полицейских трудностей организации конгресса в капиталистических странах на этом конгрессе должен был играть руководящую роль Ленин: о поездке же его за пределы СССР нельзя было и думать.

Первый конгресс не мог быть ничем иным, как только демонстрацией единства всех коммунистических сил и глашатаем новой эры — эры Коммунистического Интернационала. Первый конгресс имел тем не менее гигантское агитационно-пропагандистское значение Он еще не создал законченной международной организации, но он наметил в самых общих чертах ее контуры; он кликнул клич, и на этот клич откликнулись рабочие из всех уголков земного шара. Так в огне революции и восстаний родился Коммунистический Интернационал, созданный по инициативе ВКП и под непосредственным руководством вождя и вдохновителя Октябрьской революции — Ленина.

* * *

Мировое рабочее движение переживало период подъема, и к Коммунистическому Интернационалу потянулся один отряд рабочих за другим. В целом ряде стран произошли расколы старых социал-демократических

партий. Революционные анархо-синдикалистские группы и организации так же откликнулись на этот призыв. Напор симпатий к СССР и к революционному Интернационалу был так велик, что руководители центристских групп и центристских партий вынуждены были играть лозунгом диктатуры пролетариата и советской системы. Начался период массовых присоединений к Коминтерну, период кристаллизации компартий, период идейной диференциации в рабочих массах, период собирания сил вокруг нового международного боевого товарищества рабочих-коммунистов.

Уже второй конгресс, собравшийся в середине марта 1920 г., мог зарегистрировать громадные успехи, и этот конгресс можно назвать учредительным конгрессом Коммунистического Интернационала. На втором конгрессе уже были обсуждены важнейшие вопросы коммунистической стратегии и тактики. Была разработана линия Коммунистического Интернационала, установлены основные принципы колониальной политики Коминтерна, тактика в профсоюзах и отношение партий к массам

Характерно для II конгресса, что он принял особую подробную резолюцию о роли партии. Это нужно было сделать для того, чтобы показать анархо-синдикалистским рабочим, что недостаточно кричать: «да здравствует мировая революция», чтобы быть революционером. Надо было показать, чем отличается компартия от анархистских групп и как Коминтерн понимает взаимоотношение между партией, классом и массами. Как завоевать массы — вот что проходит красной нитью через все тезисы и резолюции II конгресса Коммунистического Интернационала.

Характерно для того периода еще следующее. Руководители центристских партий под напором своих масс пытались проникнуть в новый Интернационал. Они шли туда со старыми идеями, подгоняемые ростом симпатии к Коминтерну со стороны передовых рабочих, но шли с камнем за пазухой, с оговорками, — словом, со всем своим багажом, полученным ими от правой социал-демократии. Эти центристские оговорочки и попытки отделаться от принципиальной постановки вопроса фразами встретили суровый отпор в Коминтерне. II конгресс выработал 21 условие и этим закрыл доступ в Коммунистический Интернационал путанникам, пронырам, людям фразы и героям оговорочек, скрытым и открытым реформистам.

Немецкие и английские независимцы после попытки обойти с тыла Коммунистической Интернационал, наткнувшись на сопротивление, создали центристский $2^1/_2$ (ни рыба, ни мясо) Интернационал. Как только революционная волна пошла на убыль и буржуазия перешла в наступление, эти «блудные сыны» вернулись в лоно социал-демократической церкви. Так подтвердилось недоверие Коминтерна к этим господам, — это были те же социал-демократы, но с революционными фразами на устах.

II конгресс выявил большевистское лицо Коммунистического Интернационала, его непримиримую ненависть к реформизму во всех его видах и проявлениях.

* * *

Непосредственно после II конгресса Коммунистического Интернационала выяснилось, что первые волны послевоенного подъема начинают спадать. Начался революционный отлив, буржуазия перешла в наступление, а между тем отдельные отряды революционных рабочих, не понимая изменившегося соотношения сил, продолжали вести лобовую атаку на капитал в надежде, что рабочие массы поддержат их инициативу. Как только выяснилась новая обстановка, Коммунистический Интернационал забил тревогу и поставил ребром вопрос перед всеми партиями о новых

методах и способах борьбы. Лобовая атака не удалась из-за отсутствия массовых партий. Отсюда вывод — надо создать массовые партии. Лобовая атака не удалась — надо, стало быть, применять другие методы, надо прибегнуть к обходным движениям. Самое главное — это проникнуть в массы и мобилизовать их против классового врага. Вот почему III конгресс Коммунистического Интернационала, собравшийся в середине 1921 г., констатировавший «замедление темпа» революции, провозгласил лозунг «в массы».

Но что значит итти в массы? Это значит встать во главе повседневной борьбы рабочих, не относиться свысока к элементарным повседневным требованиям масс и уметь сочетать борьбу за них с борьбой за конечную цель — за коммунизм. Это сочетание особенно важно, ибо в Коминтерне наметилось два крайне опасных уклона: с одной стороны, теория «наступления во что бы то ни стало» (Германия), а с другой стороны — «отступления во что бы то ни стало» (Италия). III конгресс подвел итоги мартовскому выступлению в Германии и банкротству итальянской секции Коминтерна в сентябре-октябре 1920 г. во время захвата рабочими фабрик и заводов. Эти два примера плюс десятки других боев были тщательно и всесторонне изучены, слабости и ошибки подчеркнуты, — так родилась знаменитая резолюция III конгресса о тактике, — резолюция, разработанная при активнейшем участии Ленина. Поскольку на III конгрессе была во весь рост поставлена проблема масс, III конгресс является переломным: он наметил пути к массам, он дал отпор ультралевым тенденциям, он повернул все компартии лицом к предприятиям. В этом основная заслуга III конгресса, который войдет в историю как конгресс, провозгласивший лозунг: «в массы».

* * *

Итти в массы — это значит уметь мобилизовать рабочих всех направлений против капитала. Итти в массы — это значит быть в авангарде движения рядовых рабочих. Итти в массы — это значит уметь повести рабочих единым фронтом в бой против капитала. Отсюда и идея единого фронта, которая была в центре внимания IV конгресса Коминтерна (1922 г.).

Что такое единый фронт? Это метод мобилизации масс, это способ вовлечения масс в борьбу. Единый фронт создается для борьбы, а не для взаимной амнистии. Единый фронт — это есть пакт между рабочими, направленный против капитала, а не пакт о ненападении между реформистами и коммунистами. Он имеет смысл и значение, когда создается снизу, причем даже в том случае, если во имя единого фронта приходится вести переговоры с верхушками, цель этих переговоров — поднять массы и двинуть их в бой. Идея единого фронта родилась из необходимости двинуть массы против наступающего капитала.

Но не так-то легко было проделать этот маневр. Международная организация, состоящая из нескольких десятков партий, находящихся на неодинаковом политическом и организационном уровне всегда встретит в своих недрах противодействие против каждого крутого поворота, — и тактика единого фронта встретила большое сопротивление в рядах французской, итальянской и некоторых других партий. Почему? Некоторые усматривали в этом оппортунизм, некоторые думали, что тактика единого фронта применима только в области экономической борьбы, но что в области политики эта тактика не годится. Эти возражения носили внешне революционный характер. «Мы не желаем разговаривать с реформистами». На самом деле под революционной фразой скрывалась сектантская прямо-

линейность анархистов, прикрывающая пассивность фразами. Чтобы проводить единый фронт, надо прежде всего проникнуть на заводы и фабрики; чтобы проводить единый фронт, надо было поставить перед собою конкретные задачи, а это не так-то легко. Легче кричать изо дня в день «да здравствует мировая революция», чем готовить в боях партии и массы к революции. Отсюда — критика тактики единого фронта «слева». Не без трений проникала эта тактика в низовые звенья компартий, не без трудностей Коминтерн проводил эту тактику во всех странах. Но тем не менее он ее проводил, ибо она была единственно правильной в этой обстановке.

* * *

Между тем наступление капитала продолжалось. Оно шло по линии политической и по линии экономической. Оправившаяся после войн буржуазия начала отнимать у рабочих все завоевания. С другой стороны началась полоса снижения жизненного уровня рабочего класса. Это вызывалось возросшей конкуренцией между капиталистическими странами и стремлением повысить конкурентоспособность национального капитала на международном рынке.

Вместе с ростом экономической и политической реакции и свирепым преследованием рабочих росла также и военная опасность на основе новых противоречий между империалистическими соперниками. И поскольку единый фронт означал мобилизацию рабочих всех направлений для борьбы против наступления капитала, опасностей войны и фашистской реакции, естественно было притти к тому выводу, что если рабочие могут создать единый фронт, то, очевидно, они могут находится и в единой профсоюзной организации. Так родился на V конгрессе Коминтерна (1924 г.) лозунг единства мирового профдвижения — лозунг, который встретил горячие симпатии в широких массах и привел в движение новые слои рабочих на борьбу против капитала.

Лозунг единства профдвижения проник так глубоко в массы, что даже профбюрократы вынуждены были считаться с ним. Отсюда и возникновение Англо-русского комитета, который просуществовал до первой серьезной встряски, когда господа бюрократы должны были от слов перейти к делу. Генсоветчики, предав всеобщую стачку, нанесли этим самым смертельный удар Англо-русскому комитету.

V конгресс должен был подвести итоги единого фронта по Германии и обсудить так называемый «саксонский опыт». Дело шло о причинах поражения германского пролетариата в 1923 г. Она заключалась в том, что вместо единого фронта снизу немецкие коммунисты заключили коалицию с социал-демократами (парламентское Рабочее правительство) и плелись у них в хвосте. Вместо того чтобы использовать сложившуюся обстановку, они стали пленниками парламентских иллюзий и министерских комбинаций. Это была игра в портфели, а не серьезная большевистская подготовка революции, и немудрено, что компартия и рабочий класс Германии потерпели поражение.

* * *

Единый фронт и единство ни в какой мере не означают отказа от своих взглядов, свертывания своего знамени, отхода от своих позиций. Наоборот, единый фронт и единство означают проведение своих взглядов новыми методами и в новой обстановке, завоевание новых позиций на основе революционной тактики, расширение коммунистического влияния на новые слои рабочих. Таков смысл единого фронта и единства, провозглашенного Коммунистическим Интернационалом и Красным Интернационалом профессиональных союзов.

Но тактика единого фронта и единства, выявив целый ряд положительных сторон, показала, что в коммунистических партиях и в Коминтерне имеются еще нестойкие и невыдержанные элементы. Из этой тактики во многих странах был сделан вывод о «едином фронте во что бы то ни стало», о «единстве какой угодно ценой», о необходимости принести в жертву единству профсоюзной организации коммунистические принципы. Начал проявляться особый вид оппортунизма, который, прикрываясь единством профдвижения, проповедывал капитулянство и постоянное отступление перед реформистами.

Такого рода оппортунистические уклоны проявились почти во всех странах (Германия, Франция, Англия, Чехословакия, Румыния. Соединенные штаты Америки, Польша, Югославия, Япония и пр.), причем эта точка зрения сопровождалась ликвидаторской установкой по отношению к Профинтерну и его организациям. В наших собственных рядах завелись коммунисты, которые проповедывают отказ от революционной профсоюзной политики, чтобы не дать повода штрейкбрехерам произвести раскол. В общем эти взгляды означали при их проведении полную капитуляцию перед реформизмом и подчинение тактики коммунистов реформистской профбюрократии. Эта политика в своем чистом и классически беспринципном виде выражена в органе немецких правых «Против течения» — органе, весь пафос и философия которого состоят в капитулянстве перед реформизмом. Это капитулянство встретило суровый отпор со стороны Коммунистического Интернационала, который и на пленумах и на конгрессах неоднократно подчеркивал, куда растет это капитулянство. Опыт всех стран показал, что это капитулянство ведет к социал-демократии. Это мы видели во Франции, в Германии, в Чехоловакии и в целом ряде других стран. Тот, кто постоянно капитулирует перед реформистами, кто жертвует своими принципами, кто считает единство профорганизации высшим законом, целью, — тому нечего делать в Коммунистическом Интернационале и в коммунистическом движении. В ожесточенных боях, которые развертываются во всех странах, все неустойчивые, колеблющиеся, капитулянтские элементы все время старались оставатся в стороне от них, а затем уходили из компартий. Коммунистический Интернационал очищал свои ряды от этого баласта.

* * *

Последние годы проходили под знаком усиленной капиталистической рационализации и американизации европейского рабочего движения. Борьба за рынки крайне обострилась. В этой борьбе выигрывал тот, кто снижал издержки производства, кто выступал на рынке с более дешевыми товарами, добиваясь этого любой ценой. Капиталистическая рационализация сделала большие успехи за последние два-три года. Она внесла новые изменения в состав рабочего класса, она создала перманентную армию безработных, она вовлекла в процесс производства сотни и тысячи неквалифицированных, в большинстве своем неорганизованных рабочих, работниц и молодежи. Она поставила перед рабочим классом целый ряд новых проблем, она заставила Коммунистический Интернационал и коммунистические партии дать ответ на вопрос, как бороться с капиталистической рационализацией и ее последствиями. С другой стороны, жестокой рукой проводимая рационализация вскрыла перед рабочим классом всю фальшь классового сотрудничества, «промышленного мира» и прочих методов открытого и прикрытого обмана рабочих масс. Не менее ярко выявилась в этом постоянном нажиме и роль социал-демократии и профсоюзной бюрократии. Рабочий убедился на опыте, что ему нечего ждать

от реформистских организаций, что ему надо искать других путей защиты своих элементарных повседневных интересов. Под ударами политического и экономического наступления, капиталистической рационализации и открытого штрейкбрехерства социал-демократии и реформистских профсоюзов формируются и растут в массах новые настроения. Рабочий класс начинает отвечать на удар контрударом, а на отдельных участках фронта переходит в наступление. Этим самым был поставлен перед международным рабочим движением целый ряд новых крайне важных и сложных проблем: характер переживаемого периода, характер боев, методы руководства боями и т. д.

* * *

Одновременно с обострением классовых взаимоотношений растет опасность войны. Борьба против СССР то затихает, то вновь разгорается. Под болтовню о разоружении империалисты лихорадочно вооружаются. Снова возникают военно-дипломатические союзы. Техника вооружений сделала гигантский прогресс. Вновь в порядке дня стал вопрос о вооруженной борьбе за мировую гегемонию. Этот вопрос поставлен агрессивным американским империализмом, который требует от старых колониальных стран — Англии и Франции, чтобы они потеснились и дали ему место «под солнцем». Проблема передела мира вновь поставила в порядок дня штык, причем все это делается под прикрытием Лигии наций и Пан-Американского союза. И Соединенные штаты, и Англия, и Франция ловко прикрывают свою империалистическую политику всякого рода пацифистскими маневрами, к которым привлечены в качестве статистов реформисты этих стран. Социал-демократия так же «государственно мыслит», как и другие буржуазные партии, и поэтому господа Макдональды и Мюллеры так же охотно строят и укрепляют империалистическую армию, как их парламентские буржуазно-консервативные коллеги. Особенность момента заключается в том, что война заранее освящена международным реформизмом. Буржуазия может сильно готовить войну, с этой стороны ей не угрожает никакая опасность, и она впредь получит безоговорочную помощь и поддержку реформистов во всех своих кровавых, авантюрных и позорных империалистических махинациях.

Война между империалистами надвигается, а с дугой стороны империалисты готовят войну против СССР, экономический рост которого напоминает им об их последних днях. Империалисты готовят войну — вот почему Коминтерн зовет рабочий класс готовить войну против империалистов.

* * *

Последние годы характеризуются гигантским взлетом революционной волны в колониальных и полуколониальных странах. Целый ряд восстаний от Сирии и Марокко, через Индонезию, Корею и Экваториальную Африку, массовые движения в Индии, гигантский революционный подъем в Китае, — все это ударило по капиталистической системе. Все эти массовые движения обращают свои взоры к Москве, к Коминтерну. Нет другой силы в мире, которая могла бы им помочь II и Амстердамский Интернационалы поддерживают империализм, вот почему и китайские кули и рабочие каучуковых плантаций Индонезии обращают свои взоры к той организации, которая не на словах, а на деле проводит лозунг независимости колоний.

Особенность положения в том, что брожение в колониях ни на минуту не прекращается, причем одним из важнейших стимулов является

пример СССР, освободившегося от царизма и отбившегося от мирового империализма. Вторая особенность заключается в том, что в недрах национально-революционного движения происходит непрерывная классовая диференциация. Борьба против империализма сопровождается одновременно обостренной классовой борьбой. Националистские элементы стремятся везде и повсюду овладеть рабочими и крестьянскими массами и использовать их в своих классовых интересах. Тактика компартии в колониальных странах — вопрос очень сложный. Не случайно все конгрессы Коминтерна занимались колониальной проблемой — этот вопрос поставлен особенно резко китайской революцией, во время которой мы имели целый ряд примеров и как нужно и как не нужно работать коммунистам.

Бурное развитие национально-революционного движения имеет тем большее значение, что оно в важнейших странах проходит под гегемонией пролетариата, который за последние годы выступил в колониальных странах в качестве решающего и руководящего фактора. Правда, движение в колониях терпит пока что поражения одно за другим, но в целом это движение является грозным предзнаменовением для владык мира, ибо там поднялись десятки миллионов и поднимутся еще сотни миллионов, которые сметут с лица земли империалистических поработителей.

* * *

В то время как конфликты межгосударственные, межнациональные, колониальные и социальные обострялись, международной реформизм продолжал «эволюционировать». От штрейкбрехерства политического он перешел к штрейкбрехерству экономическому. Нет такой стачки в мире, где реформисты не играли бы предательской роли. Нет такого движения рабочих, которое реформисты не саботировали бы. На севере Франции, и в Лодзи, в Японии или Китае, в северной или Латинской Америке, в Англии или в Австралии — везде реформисты выступают в качестве агентов своего национального капитала. Произошло сращение между социал-демократией, реформистскими профсоюзами, буржуазным государством и предпринимательскими организациями. Образовался единый фронт, направленный своим острием против революционного крыла рабочего движения, — единый фронт, располагающий гигантскими финансовыми и военно-полицейскими ресурсами. Во многих странах проводится в жизнь блок фашизма и реформизма, который обрушивается всей своей тяжестью на рабочие массы и в первую голову на авангард рабочих — на компартии и Коминтерн. Эта «эволюция» еще ярче подчеркивает, насколько оппортунистичны попытки рассматривать социал-демократию как «одну из рабочих партий» и возлагать какие-либо надежды на социал-демократию, на профсоюзный реформистский аппарат или надеяться на левое крыло, этой третьей партии буржуазии. Такого рода взгляды продолжают еще держаться в ряде стран среди отдельных коммунистов, между тем каждый день приносит тысячу подтверждений того, что социал-демократия ничего общего не имеет с интересами рабочего класса и что не только происходит смычка между либеральной буржуазией и социал-демократией, но что реформизм уже открыл «родственную душу» и в фашизме. Недавняя поездка председателя и секретаря Амстердамского Интернационала Цитрина и Зассенбаха к своим фашистским друзьям Дарагона и Риголо в Италию, единый фронт болгарских и югославских заплечных дел мастеров с реформистами против революционных рабочих, опилсудчивание реформистских профсоюзов в Польше и т. д. — все это только отдельные проявления происходящего сейчас процесса фашизации реформистского профсоюзного аппарата и реформистского актива.

* * *

В то время как борьба во всех странах обостряется и капитализм при помощи чудовищного экономического и политического нажима на рабочий класс и жестоко проведенной капиталистической рационализацией поднимается выше довоенного уровня, — страна пролетарской диктатуры, покончив с гражданской войной, вступила в реконструктивный период и перестраивает свое хозяйство ускоренным темпом. Этот экономический рост СССР вклинивается во всю капиталистическую систему, он увеличивает удельный вес СССР в мировой экономике и политике, он светит ярким факелом для мирового рабочего движения, он поднимает и стимулирует энергию рабочих масс, он укрепляет революционное крыло профдвижения, ослабляя самим фактом своего существования мировую реакцию. Проблема СССР является самой трудной проблемой мировой политики и экономики. Капиталисты, надеявшиеся раздавить Советскую республику военной интервенцией, перейдя потом к попыткам «мирного» экономического удушения, надеявшиеся на банкротство страны пролетарской диктатуры, убедились в том, что их надежды и все их расчеты развеялись как дым. Все предсказания буржуазных и социал-демократических чревовещателей о крахе СССР не оправдались, СССР существует, крепнет, — и это является важнейшим фактом, который раскалывает весь современный мир и делает безнадежными мечты о возвращении назад к «мирному» органическому развитию капитализма. Капитализм смертельно ранен, ранен войной и революцией, и никакие социал-демократические знахари его не спасут. Самое важное — это тот факт, что СССР является единственной территорией в мире, на которой строится на основе принципов Коминтерна новое общество, — в этом величайшее значение СССР и в этом сильнейшая сторона Коммунистического Интернационала.

* * *

Все эти новые явления подытожил VI конгресс Коминтерна (июль-август 1928 г.). Он дал политическую директиву всем партиям, он выработал на основе опыта программу международного коммунизма, закрепил то, что было сделано предыдущими конгрессами, оформил идейно международную коммунистическую партию. Этим самым было закончено создание международной коммунистической партии. Международный коммунизм, получивший в боях большевистскую революционную закалку, теперь получил основанную на революционной теории и революционном опыте программу.

VI конгресс имеет огромное значение для всего международного коммунистического движения главным образом потому, что он выступил с единой программой для всего мирового рабочего движения. Эта программа стала возможна только после долгих лет опыта революционной борьбы в колониальных странах и социалистического строительства в СССР. Без этого гигантского многолетнего опыта революционного рабочего движения, без многолетней упорной борьбы на всех фронтах, без работы всех партий, в особенности ВКП, без первых пяти конгрессов Коминтерна, без работы Профинтерна и КИМ'а, без коллективной воли и мысли международных коммунистических партий, без учения Маркса, Энгельса и Ленина нельзя было бы создать одной программы для всех эксплоатируемых классов и угнетенных народов всего мира. И для пролетариев высоко развитых экономических стран, как Англия, Германия, Соединенные штаты, и для пролетариев Индии и Китая, и для негров

Центральной и Южной Африки и для туземцев Антильских островов и смешанного населения Латинской Америки, — для всех их написана эта программа. Чаяния и надежды всех эксплоатируемых и обездоленных нашли свое выражение в этом историческом документе, который после Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса является важнейшим международным документом марксистско-ленинской теории и практики.

* * *

Коминтерн из небольшой организации стал мировой державой. Нет такой страны в мире, где бы Коминтерн ни имел своих опорных пунктов, своих секций или групп. Там, где происходит борьба, где эксплоатируемые и угнетенные поднимают знамя протеста против эксплоататоров, там веет духом Коммунистического Интернационала. Массовые убийства и расстрелы, драконовские законы — ничто не может истребить Коммунистический Интернационал, подорвать его мощь и величие. Коммунистический Интернационал стал признанной великой державой, о нем думают все государственные деятели капиталистических стран. Они изыскивают способы и меры к его разрушению. Но до сих пор это им не удалось и еще менее это им удастся в будущем. Коммунистический Интернационал живет, действует и растет, потому что почва для него вспахана войной и революцией, потому что в нарастающих гигантских конфликтах рабочий класс нуждается в организаторе, вдохновителе и руководителе. Как бы ни был еще силен капиталистический строй, сколько бы ударов ни нанес еще коммунизму объединенный фронт международного капитализма и международного реформизма, они не в состоянии истребить революционного рабочего движения, задавить дух протеста и восстаний и покончить с коммунизмом. Они не в состоянии это сделать потому, что история работает против реформизма и за коммунизм. В самом деле, что произошло за последние десять лет в недрах рабочего класса? Десять лет тому назад в момент основания Коммунистического Интернационала социал-демократия имела почти монополию в рабочем движении. А теперь? Монополии социал-демократов наступил конец. Хотя социал-демократия еще имеет влияние на значительные слои рабочих, но она уже заблаговременно перебирается на другие классовые рельсы, вовлекая в свой состав все большее и большее количество мелкобуржуазных элементов. Социал-демократия политически уже с первых дней войны перестала быть партией пролетариата, она и по своему социальному составу скоро станет третьей партией буржуазии.

* * *

Этот рост Коминтерна проходил не без трений и не без трудностей. На протяжении десяти лет ему приходилось вести ожесточенную идейную борьбу не только против буржуазии и социал-демократии, но и против всякого рода уклонов от правильной большевистской линии. Ультралевые, правые, центристские элементы то и дело выступали, желая «спасти» Коминтерн по-своему. Всем им Коминтерн давал отпор. Неустанно и неуклонно Коминтерн очищал свои ряды. И если подвести итог этому самоочищению, мы увидим, насколько правильна была политика Коммунистического Интернационала. Где сейчас Леви и Фрисланды? Где Масловы и Рут-Фишер? Где Бубники и прочие Суварины? Все они в лагере социал-демократии и в политическом блоке с ней. За пределами Коминтерна стоят сейчас и такие люди, которые участвовали в его создании (Троцкий, Брандлер), но они не выдержали тяжких лет испытаний и отошли от большевизма — одни якобы влево, другие вправо, но отошли от ком-

мунизма, — а Коминтерн продолжает итти своей дорогой, выбрасывая из своих рядов все негодное, все нестойкое, колеблющееся.

Сейчас Коминтерну угрожает более всего правая опасность, отражающая социал-демократическое влияние в наших рядах. Коминтерну угрожают примиренческое отношение к правой опасности и пассивность к борьбе против социал-демократических влияний. Вот почему VI конгресс Коминтерна объявил правую опасность главной, причем это касается не только компартий капиталистических стран, но и ВКП. Да и ВКП, ибо правый уклон в СССР представляет собой угрозу диктатуре пролетариата. В самом деле, куда ведет правая опасность в капиталистических странах? К примирению с социал-демократией, к смягчению классовой борьбы и к исчезновению компартий. А у нас? У нас правая опасность ведет к примирению с кулацко-нэпманской буржуазией, т. е. к превращению советской власти в служебный орган капиталистических элементов нашей страны, а это означает конец диктатуре пролетариата. Как сильны правые в Коминтерне? Исключение немецких правых нанесло всем правым жестокий удар. Каждому стало понятно, что правым нет места в Коминтерне. Это отрезвляюще подействует на те рабочие элементы, которые идут еще за ними, и заставит их задуматься над вопросом: «куда ведет правая». Правая сильна не сама по себе, а отраженною силою социал-демократии и временно окрепшего за последние годы благодаря рационализации капитализма. Если бы капитализм шел по восходящей линии, то и социал-демократия и правые коммунисты тоже шли бы все время в гору. Но так как капитализм, несмотря на временные успехи, осужден, так как расшатывание капитализма происходит одновременно с разных концов — перспективы социал-демократии и право-коммунистического апендицита безнадежны. Они безнадежны еще и потому, что Коминтерн всегда вел ожесточенную войну против социал-демократической и оппортунистической тенденций в своих собственных рядах. Почему Коминтерн всегда вел беспощадную борьбу против уклонов? Потому что уклоны от генеральной большевистской линии — это конец большевизма. Потому что нет средней линии между реформизмом и большевизмом, и те, кто пытается найти эту среднюю линию, попадают в реформистское болото.

* * *

Прошло десять тяжких лет. Коминтерн одержал за это время много побед, он потерпел много поражений. Еще силен враг, еще много сил у него и много лет придется Коминтерну вести борьбу во всех уголках земного шара, чтобы организовывать массы, собрать их в крепкие колонны, построить свою армию и низвергнуть ненавистный эксплоататорский строй.

Важно не то, сколько лет нам осталось бороться до полной победы, — этого никто не знает, — а важно то, правилен ли путь, по которому мы идем. Нет ли более короткого и более быстрого пути? И правые и ультралевые элементы, находящиеся вне и внутри Коминтерна, предлагают нам свои «более короткие» пути и свои «лучшие» методы борьбы. Но то, что они предлагают, это не большевистские пути, не пути Коминтерна. Коминтерну не нужно ни сладких иллюзий, ни паникерства, он не переоценивает своих сил, но также и не переоценивает сил противника. Сила Коминтерна в его марксистско-ленинском реализме, в том, что он унаследовал традиции большевистской партии, что он поднимает все новые слои и пласты рабочих и работниц, что он неустанно организует свою армию и готовит ее к революции. Последний год насыщен гигантскими экономическими боями, которые имеют глубоко политический характер. Кто

руководил этими боями? Коммунистический Интернационал через коммунистические партии и революционные профсоюзы. Эти конфликты являются первой волной нарастающего подъема. Как в происшедших, так и в нарастающих боях Коминтерн идет во главе борющегося пролетариата. Именно поэтому он неискореним, именно поэтому он проникает на предприятия, на фабрики, в деревни, в массы, он — в рабочих кварталах капиталистических стран и в трущобах колониальных рабов... Коминтерн вездесущ...

Коммунизм бродит по всему миру, и нет той силы, которая могла бы приостановить — пусть зигзагообразное, но все же победное — шествие Коммунистического Интернационала.

Соединенные штаты и Латинская Америка.

Ж. Шаварош.

I.

Ареной столкновения американского империализма с английским все более и более становится Латинская Америка — огромный континент с населением свыше ста миллионов, разделяющийся на двадцать республик, формально независимых, но экономически находящихся под опекой английского или американского капитала. Степень зависимости этих республик от иностранного капитала различна: одни из них являются колониями в полном смысле этого слова, другие — еще остаются полуколониями, превращаясь, однако, все более и более в колонии иностранного, в особенности северо-американского капитала. Англо-американские противоречия достигают в Латинской Америке наибольшей напряженности и остроты не только потому, что в латино-американских странах сталкиваются интересы этих двух империализмов, но и потому, что с вопросом о господстве в Латинской Америке тесно связан вопрос о морской гегемонии. Проблема Латинской Америки выдвинулась на первый план среди других вопросов мировой политики в особенности после путешествия вновь избранного президента Северо-американских соединенных штатов Гувера, посетившего ряд латино-американских стран. Путешествие Гувера привлекло внимание всего мира к вопросу о Латинской Америке; однако значение поездки Гувера может быть правильно оценено лишь в связи с общей политикой по отношению к Латинской Америке, проводимой Соединенными штатами в течение последних двух десятилетий. В нынешней быстро изменяющейся международной обстановке путешествие Гувера принимает характер крупнейшего международного события, далеко выходящего за рамки американского континента; оно является яркой, циничной, угрожающей демонстрацией американской дипломатии, грубым провокационным шагом внешней политики американского империализма. Соединенные штаты не решились бы на этот шаг, не предусмотрев заранее всех его последствий, не взвесив своих сил, не учтя затруднений своих империалистических соперников, в особенности английского империализма. Поездка Гувера в Латинскую Америку недвусмысленно указывает, в каком именно пункте земного шара обостряется англо-американское соперничество; но это еще не означает, что именно там грянут взрывом войны пороховые погреба англо-американских противоречий.

Политикой американской дипломатии в Латинской Америке не исчерпывается империалистическая политика Соединенных штатов, принимающая все более *мировой* характер. Если в Латинской Америке

американская финансовая олигархия выступает наиболее открыто, нагло, бесцеремонно, то в других частях земного шара американский империализм более осторожно, но столь же непреклонно, настойчиво и обдуманно ведет свою политику империалистического проникновения. Американский империализм достиг такой небывалой экономической мощи, что он уже считает себя способным экономически господствовать над миром. Латинская Америка в данный период является для Соединенных штатов, так сказать, «частичным требованием»; и государственные деятели Америки заявляют об этом без всякого стеснения. Для того чтобы подготовить реализацию этого «частичного требования», американский империализм посылает своего наиболее видного и наиболее ответственного представителя, человека, предпочитающего молчание — политической болтовне и «дела» — дипломатическому лиризму. Лично Гувер является крупным акционером горных и нефтяных компаний, банков, имеющих предприятия в Мексике, Колумбии, Венецуэле и других странах Латинской Америки. Гувер прежде всего деловой человек; американская и заграничная печать пестрит характеристиками Гувера вроде: «живой статистический сборник», «маниак стандартизации», «механизированный рассудок», «счетная машина», «продавец, который сумеет отправить за границу избыток американских промышленных изделий», и т. д. Гувер лично знаком с положением «дел» в Китае, Индии, Австралии, Канаде, Северной Африке и Мексике. Он не только знает европейские страны, — крупные и мелкие, богатые и бедные,— но он знаком с экономическими и политическими условиями колониальных и полуколониальных стран. Более того, он сумел на практике изучить империалистическое искусство организации контрреволюций, государственных переворотов и «пронунциаменто» в полуколониальных странах. Короче, это — человек, вполне отвечающий требованиям времени.

Задача его поездки в Латинскую Америку состояла в том, чтобы осмотреть позиции, уже захваченные американским империализмом, и произвести разведку для новых завоеваний. Американский капитализм требует новых обширных рынков, и Гувер хочет лично пощупать финансовый пульс латино-американских правительств, проверить степень «готовности» их к получению займа; если подобной возможности не имеется, ее необходимо создать. Он должен также на месте ознакомиться, во всех деталях, насколько прочны позиции, захваченные империалистическими соперниками Соединенных штатов, в особенности позиции британского империализма, взвесить все возможные контратаки, маневры, — одним словом, то сопротивление, которое они могут создать на пути американской экспансии. Из года в год многочисленные миссии американских техников, экспертов, финансистов, профессоров и ученых наводняют Латинскую Америку, «реорганизуют», «оздоровляют», «стабилизируют», «исследуют» естественные богатства, экономику, финансы и управления различных стран. Гувер должен подвести политический итог этой работе.

У Гувера есть и другие задачи. Необходимо смягчить то недовольство, беспокойство и недоверие, которое вызывает в Латинской Америке захватническая политика Соединенных штатов. Необходимо обеспечить если не поддержку и открытое сотрудничество, то по крайней мере пассивный нейтралитет этих стран в случае войны между Америкой и Англией или между Америкой и Японией. Гувер открыто демонстрирует своей поездкой недовольство Соединенных штатов по адресу англо-французского морского соглашения и нового сближения Англии с Японией. Сейчас в Панамском заливе начинаются маневры тихоокеанской и атлантической эскадр американского флота; в них принимают участие 125 судов,

причем эти пловучие крепости посетят западные берега Латинской Америки. Путешествие Гувера сопровождается таким образом грандиозной демонстрацией морских сил Соединенных штатов. Северо-американский империализм преследует этим двойную цель: показать кулак Англии и Японии и попутно продемонстрировать перед латино-американскими странами «материальное» содержание пацифистских формул, щедро рассыпаемых Гувером.

Конкретным, непосредственным вопросом, который ставит поездка Гувера, является вопрос о латино-американских рынках. Согласно американской традиции, Гувер поспешил изготовить новое «издание 1928 г.» доктрины Монроэ в качестве идеологической приманки для мелкобуржуазных либеральных и либеральничающих элементов, которыми изобилуют латино-американские страны. В основном ее можно выразить следующими словами: «Защита всех американцев против иностранной конкуренции». Как известно, Соединенные штаты издавна называют американцами всех обитателей американского континента. Во время посещения Гондураса и Сальвадора Гувер несколько уточнил свою формулировку, прибегая к таким выражениям, как «мы, представители этого полушария», «общие проблемы и общие интересы западного полушария» и т. п. По сути дела речь идет не столько обо «всех американцах», сколько об американских рынках; формулировка Гувера провозглашает защиту всего американского континента против иностранной конкуренции, т. е. прежде всего против Европы; его «защитником» являются Соединенные штаты, американский империализм. Таков подлинный, расшифрованный смысл формулы Гувера. Она выражает собой притязания американского империализма на монопольное владение рынками американского полушария.

Однако эта формула выражает лишь часть конкретных притязаний северо-американского империализма. Имеется ряд других «формул», более современных и более обширных, далеко выходящих за рамки американского континента. Такова например формула, выставленная профессором социологии университета в Ситле Р. Д. Маккензи в его работе «Экономическая эволюция мира». Маккензи защищает идею «Тихоокеанской федерации», считая, что страны, примыкающие к Тихому океану, «составляют одно целое» и что внутри этого «целого» идет непрекращающееся падение торгового влияния Англии и быстрый рост торгового влияния Соединенных штатов. В качестве идеолога американского империализма Маккензи выставляет государственно-правовые формулы для более отдаленного будущего в то время, как Гувер, в качестве человека дела и действия, начинает с латино-американских рынков, применяя доктрину Монроэ для непосредственных торговых задач Соединенных штатов.

Подобное практическое применение доктрины Монроэ сигнализирует рост враждебности Америки по отношению к Европе. Корни этого явления конечно заложены глубоко в международном экономическом и политическом положении. Не так давно американская пресса твердила о необходимости привлечь Латинскую Америку, под руководством Соединенных штатов, к делу восстановления старого мира, т. е. Европы. Ныне это заменяется, уточняется и расширяется формулой Гувера: «Долой Европу из южноамериканского рынка!».

Английский империализм отдает себе ясный отчет в значении доктрины Гувера и в понимании политического смысла его путешествия в Латинскую Америку. Соединенные штаты угрожают английской гегемонии; время работает на них, усиливая американский империализм и

ослабляя мощь Британской империи. Поэтому английские империалисты стремятся, повидимому, к подготовке превентивной войны Англии против Соединенных штатов. Никогда еще не велось такой интенсивной работы, как сейчас, для создания военной европейско-японской коалиции как против СССР, так и против Соединенных штатов.

II.

Упорное проникновение американского империализма в Латинскую Америку встречает на своем пути позиции, захваченные английским империализмом. Соперничество Америки и Англии обостряется, в особенности, в области помещения капиталов. Здесь борьба идет вокруг помещения капиталов в форме правительственных или муниципальных займов, вложений капиталов в новые предприятия, промышленные, сельскохозяйственные или торговые концессии. В течение последних 30 лет идет непрерывная война между американским долларом и английским фунтом. Посмотрим, каково соотношение сил обоих воюющих сторон в Латинской Америке.

Общая сумма иностранных капиталов, вложенных в Латинской Америке, достигла в 1928 г. $2^1/_2$ млрд. фунтов стерлингов, т. е. около 13 млрд. долларов. Конечно, различные статистические источники дают то несколько большую, то несколько меньшую цифру; но тем не менее бросается в глаза, как далеко зашло экономическое вторжение иностранного капитала в Латинскую Америку. Английские капиталы в странах Латинской Америки достигают 1 млрд. фунтов, американские капиталы — 5 млрд. долларов. Если взять эти цифры статистически, они как будто говорят об известном равновесии сил обоих враждующих империализмов. Но если взять их динамически, то станет ясным, что соотношение сил в последнее время резко изменилось в пользу американского капитала. Более того, Соединенные штаты начинают захватывать ряд позиций, еще недавно принадлежавших английскому капиталу. Американский капитал создает себе господствующее положение в Латинской Америке, все более и более расчищая путь для своей полной финансовой гегемонии над американским континентом.

Внешняя торговля латино-американских стран также находится в руках американского и английского капитала.

За последние 14 лет торговля Латинской Америки с Соединенными штатами возросла на 135%, в то время как их торговля с Англией выросла лишь на 43%.

Северо-американский империализм сталкивается с английским империализмом во всех странах Латинской Америки, во всех отраслях ее экономики. Идет ли речь о сооружении железной дороги или канала, о горной или нефтяной концессии или о займе, — вокруг каждого вопроса завязывается борьба между Соединенными штатами и Англией. И тот и другой империализмы стремятся захватить все, что только можно: железо, медь, свинец, золото, серебро, платину, нефть (в особенности), селитру, сахар, табак, каучук, кофейные и банановые плантации, рожь и пшеницу, скот, леса, и т. д. и т. д. В этой борьбе сталкиваются не интересы отдельных капиталистов, но интересы могущественных банковских консорциумов, трестов и синдикатов, имеющих подчас неограниченное влияние на правительства латино-американских стран; они диктуют этим правительствам свою волю, сбрасывая их всякий раз, когда им это необходимо.

Северо-американские нефтяные тресты имеют в своих руках 81% продукции нефти в Перу, 70% — в Мексике, 40% — в Венецуэле и 100%

в Колумбии. Банковско-промышленная группа Гуггенхейм, Грин и Риан и компании Додж владеют $^3/_5$ капиталов, помещенных в горной промышленности Мексики (не считая нефтепромышленности). Могущественная компания по торговле бананами «Юнайтед Фрут Компани» вложила свыше 200 млн. долларов в банановые плантации, железные дороги и портовые сооружения в ряде стран Центральной Америки, расположенных по берегам Караибского моря. Эта компания держит в своих руках правительства и парламенты этих стран. На Кубе 5 банковских групп командуют всей экономической жизнью страны. Эти могуещественные объединения американского финансового капитала, высоко централизованные, с чрезвычайно широким полем действия, воплощают проникновение американского империализма в Латинскую Америку.

Возьмем другой вопрос, вокруг которого скрещиваются сейчас англо-американские противоречия в Латинской Америке, — вопрос об океанских каналах и о владении ими. Существующий в настоящее время Панамский канал в политическом, экономическом и военном отношениях находится в руках Соединенных штатов. Однако этот канал уже не удовлетворяет потребностям растущей торговли, и, кроме того, он довольно уязвим в стратегическом отношении. Поэтому Соединенные штаты подготовляют постройку второго канала, параллельного Панамскому, который должен пройти по территории республики Никарагуа.

Недавний военный конфликт между Боливией и Парагваем в своей основе также является конфликтом между североамериканским и английским империализмом. В этом конфликте Соединенные штаты одержали двойную победу: они воспрепятствовали Великобритании и Лиге наций вмешаться в дела американского континента и заставили Лигу наций еще раз признать не только «незыблемость доктрины Монроэ», но и исключительное право Соединенных штатов истолковывать и применять эту доктрину.

Наконец, вопрос о Латинской Америке упирается в основной вопрос англо-американского соперничества: кому будет принадлежать мировое морское господство? Тихоокеанская проблема, проблема Китая и Азии, проблема Австралии и Канады, огромная европейская проблема — ставятся отныне в такой форме: кому будет принадлежать гегемония на море, а следовательно и гегемония над всем миром?

Этот вопрос встает во весь рост перед американскими капиталистами и государственными деятелями. Соединенные штаты охвачены лихорадкой морских вооружений — лихорадкой маринизма. Соединенные штаты серьезнейшим образом готовятся к войне. С этой точки зрения большой интерес представляет последний доклад морского министра Вильбура, излагавшего морскую программу Соединенных штатов. Эта программа состоит в основном из следующих пяти пунктов:

1) Необходимость создания морского флота, не уступающего по своей боевой мощи флоту любого государства мира.

2) Необходимость общей подготовки и ориентировки на войну.

3) Основной задачей является усиление боевой мощи военного флота.

4) Военный флот должен быть достаточно силен, чтобы осуществлять контроль над всеми морями и океанами и охранять во всех отношениях американские интересы, в частности интересы расширения внешней торговли Соединенных штатов.

5) Необходимость замены старых крейсеров современными крейсерами в 10 тысяч тонн водоизмещения и необходимость сооружения новых крейсеров.

Американские газеты сообщают, что президент Гувер тотчас же по вступлении на президентский пост потребует кредита в 750 млн. долларов для постройки 71 нового крейсера. Телеграммы из Нью-Йорка сообщают, что Кулидж уже поставил в сенате вопрос о сооружении 15 новых крейсеров. Одновременно принимаются меры для усиления армии и для подготовки быстрой мобилизации всего народного хозяйства в случае войны.

В то же самое время принимаются меры для того, чтобы втянуть в подготовку войны реформистские профсоюзы и аппарат Американской федерации труда. Последний конгресс Американской федерации труда был таким отвратительным зрелищем, которое редко приходится наблюдать. На этом конгрессе профессиональных союзов — или, по сути дела, конгрессе профсоюзных чиновников и рабочей аристократии — выступали американские офицеры с докладами и речами, вызывавшими аплодисменты делегатов. Поль Мак-Нетт — командующий Американским легионом (военно-фашистская организация) — заявил: «Рабочие, входящие в состав легиона, должны бороться, чтобы любой ценой организовать оборону Соединенных штатов». Он предлагал введение всеобщей воинской повинности и провозглашал необходимость беспощадной борьбы со всеми «группами», борющимися с капиталистической системой и буржуазным порядком. Полковник Джон Рус на этом же конгрессе выступал в защиту «тесного сотрудничества армии и Американской федерации труда в целях снабжения армии всем необходимым во время войны». В своей речи он заявил: «Мы готовимся к войне, ибо подготовка к войне — цель существования армии. Против кого бы ни была объявлена война, она будет войной, которую поведет не только армия, но вся страна».

В своем послании к конгрессу от 5 декабря президент Кулидж ставит вопрос о создании трансконтинентальной железной дороги, проходящей через всю Центральную и Южную Америку. Трансконтинентальные воздушные линии, обслуживаемые авиационными компаниями Соединенных штатов, начнут функционировать в ближайшем будущем.

Все эти меры военной подготовки, так же как и кампания американской прессы и плохо прикрытые официальные декларации, свидетельствуют о том, что перед Соединенными штатами вопрос о борьбе за морское господство становится во всем своем объеме и со всей остротой. С другой стороны, и английский империализм мобилизует все свои силы для предстоящей борьбы за морскую гегемонию.

III.

Во время путешествия Гувера по Латинской Америке официальная и официозная печать латино-американских республик превозносила до небес «могущественного гостя». В значительной своей части эта печать куплена или подкуплена американским капиталом. Американское телеграфное агентство «Ассошиейтед-пресс» и «Юнайтед-пресс», имея монополию на телеграфную информацию в Латинской Америке, систематически поставляют информационный материал, приспособленный для обслуживания американских интересов.

Правительственные круги латино-американских стран покорно гнут спину перед «дорогим гостем». Властям поставлена задача во что бы то ни стало воспрепятствовать не только враждебным, но и просто не достаточно вежливым манифестациям по адресу Гувера. Народы Латинской Америки должны вытравить из своей памяти, должны стереть со страниц своей мученической истории все, что может покоробить чувствительность и великодушие высокопоставленного «туриста». Всякая враждебность или не-

довольство, горечь за прошлые унижения и притеснения, мучения в настоящем и беспокойство за будущее, — все должно быть похоронено. По отношению к «пацифистскому» гостю, явившемуся в сопровождении 125 крейсеров, разрешается лишь одна манифестация — униженной радости.

Гувер путешествует по этим странам. Его приглашают, принимают, приветствуют, за ним ухаживают. Но рабочие рудников, фабрик и заводов, нефтяных промыслов, имений и плантаций, принадлежащих и управляемых американским капиталом, разоренные им крестьяне и ремесленники, все трудящееся население Латинской Америки не могут забыть мрачного прошлого, не могут быть довольны настоящим, не могут вечно терпеть угнетение и эксплоатацию американского капитала. Они понимают цель путешествия Гувера, среди них жива память о Сакко и Ванцетти. Трудящиеся массы Латинской Америки отдают себе ясный отчет в плохо прикрытых стремлениях американского империализма и в подлинном значении провокационного «туризма» Гувера.

Мужественное разоблачение североамериканского империализма и истинного значения путешествия Гувера, прозвучавшее в мексиканском парламенте в выступлении коммуниста Ла̀борде, нашло себе широкий отклик в странах Центральной Америки. Там трудящиеся массы видели воочию американский «пацифизм», примененный к Никарагуа, и все его кровавые последствия. В других латино-американских странах все громче и громче звучит протест рабочих и крестьянских масс. Профсоюзы и крестьянские организации латино-американских стран не дают себя вовлечь в хоровод официальных приемов, в хор дипломатического прославления Гувера.

Но рабочие и крестьяне латино-американских стран в то же время не дают использовать себя агентам английского империализма: они борются против империализма Соединенных штатов, отбиваясь в то же время от британского империализма. В грандиозном столкновении обоих империалистических хищников их задачей является борьба против обоих империализмов. Трудящиеся массы Латинской Америки понимают, что борьба против империализма является в то же время борьбой против помещиков и капиталистов латино-американских стран, тесно связанных с иностранным финансовым капиталом. Труженики Латинской Америки не имеют никаких иллюзий насчет готовности их правительств, представляющих главным образом интересы помещиков, вести борьбу с империализмом. Каким доверием широких масс могут пользоваться помещичьи олигархии, использующие вывеску республиканского режима для сохранения своего господства и своих классовых привилегий и обреченные ходом истории стать союзниками финансовой олигархии империалистических государств? Каким доверием могут пользоваться буржуазные и мелкобуржуазные, либеральные и полулиберальные партии, в экономическом отношении реакционные, в политическом — играющие в опереточные «пронунциаменто» и быстро вырождающиеся в своеобразные фашистские партии, открыто защищающие власть иностранного капитала? Чем больше анти-империалистическая борьба трудящихся масс Латинской Америки принимает характер революционной классовой борьбы, тем более все эти либеральные, либеральничающие, внешне «революционные» партии и группы выступают в роли дезорганизаторов и душителей подлинно революционного движения рабочих и крестьян.

Борьба против империализма, являющаяся в то же самое время борьбой против власти помещиков, за революционную ликвидацию всех экономических и политических пережитков рабства и феодализма, неизбежно поднимает широкие массы трудящихся и угнетенных. Но эта борьба

может вестись лишь как классовая борьба, под руководством рабочего класса.

Эту простую истину уже усвоили коммунисты Латинской Америки. Подлым обманом трудящихся являются идейки о подмене антиимпериалистической классовой борьбы какой-нибудь социальной алхимией о «блоке классов» в антиимпериалистической борьбе, построенной в расчете то на помощь американского сенатора Бора, то на силу влияния «апризма»— антиимпериалистического республиканского движения, вдохновляемого английским империализмом. Подобные теории и попытки имеют конечной целью подменить подлинное соотношение классовых интересов в антиимпериалистической борьбе бесформенными сентиментально-антиимпериалистскими буржуазными комбинациями, либо поставить антиимпериалистическое движение на службу интересам другого империалистического конкурента. Освобождение Латинской Америки как от империализма Соединенных штатов, так и от империалистического порабощения вообще будет осуществлено лишь под руководством рабочего класса революционной борьбой рабочих и крестьян за их классовые интересы.

Путешествие Гувера способствовало еще более широкому укреплению в сознании широких трудящихся масс Латинской Америки этой основной революционной линии. Демонстрации и манифестации протеста, организованные во время путешествия Гувера в Мексике, Колумбии, Аргентине, Уругвае и других странах, массовые кампании, организованные компартиями, профсоюзными и другими рабочими организациями, крестьянскими лигами, различными антиимпериалистическими организациями Латинской Америки, усиление забастовочного движения в ряде стран являются доказательством, что борьба против империализма в Латинской Америке все более и более принимает характер классовой борьбы рабочих и крестьян против империализма, против буржуазии, против собственных помещиков и реформистов. Только в этой классовой установке — залог вовлечения широчайших трудящихся масс в борьбу против империализма, только в руководстве этой борьбой со стороны пролетариата — залог ее окончательной победы.

Из истории моего бытия.

С. Канатчиков.

(Продолжение.)

Ходынка.

Уже задолго до коронации Москву начали «очищать» от всяческого неблагонадежного элемента. В домах, населенных различной голытьбой, дворники чаще обыкновенного начали наведываться по квартирам: проверять паспорта, строже следить за пропиской и т. д. Шпики и всякого рода соглядатаи шныряли по окраинам, по рабочим кварталам и чутко прислушивались: не говорится ли где что лишнее. У нас на заводе распространялись слухи о том, что будут высылать всех «подозрительных». Но кто были эти «подозрительные», никто толком сказать не мог. Однако все говорили: «Теперь нужно язык держать за зубами». Рассказывали о каких-то людях, которые всюду втираются, подслушивают, прикидываются простачками, нарочно вызывают нехорошие разговоры о царе, и даже водкой и пивом подпаивают, — а потом, как только человек размякнет, начнет болтать, его тут как тут этот самый благоприятель, сыщик-то, цап-царап, да и в кутузку. Словом, повсюду чувствовалась напряженная атмосфера недоверия и сыска.

За неделю до коронации, в один из праздничных дней, мы,— то есть Коровин, его сын Ванька и я, — отправились за город подышать свежим воздухом. Домой мы возвращались уже под вечер. У самой Москвы к нам вдруг пристал какой-то почтенный, благообразный господин, видом своим напоминавший не то профессора, не то адвоката.

— Люблю я рабочий народ, — прикидываясь немного подвыпившим, развязно заговорил он с нами. — Пойдемте, друзья, выпьемте за наше общее дело, — похлопывая по плечу, обратился он к Коровину. — Тра-ра-рам, та-рам... Ну, чего же вы, друзья, не подтягиваете? Пойте же!

— Мы не знаем этой песни.

— Ну, давайте споем, какую вы знаете... А лучше всего будет, если мы зайдем вот здесь в пивную.

Мы отказались последовать его приглашению, сославшись на то, что нам завтра нужно рано вставать на работу.

Субъект этот долгое время не хотел от нас отстать. То заводил разговор о «тяжелой доле» рабочего человека, то пытался навести разговор о всяческих непорядках, или пытался нам подсказать мотив какой-то песни, думая очевидно, что мы ее подтянем. Памятуя, что ныне язык нужно держать за зубами, мы упорно хранили молчание и на все навязчивые приставания благообразного субъекта отвечали отрывочно и кратко.

Не добившись ничего, субъект махнул на нас рукой и, помахивая тросточкой, побрел назад.

После этого случая перепуганный Коровин нагнал на нас такого страха, что мы не только говорить, но даже и дышать на улице боялись.

Примерно в это же время из нашей мастерской вдруг исчез неизвестно куда один модельщик. Разговорам, догадкам и слухам не было конца. Ходили к нему на квартиру справляться, но и там его не оказалось. Решили, что его, очевидно, за откровенные речи не иначе как посадили в темную карету и увезли неизвестно куда.

Звали этого модельщика Михаил Афанасьев. Поступил он к нам недавно и тоже с завода «Гоппер». Одевался чисто, носил длинные зачесанные назад волосы и приносил с собой газету «Русские ведомости», отдельные статьи или заметки из которой нередко читал вслух модельщикам. Лет ему было в то время двадцать семь — двадцать восемь, выше среднего роста, а румянец на щеках свидетельствовал о его цветущем здоровьи. Держался самоуверенно и даже заносчиво. В спорах и разговорах с другими он не доказывал, не убеждал, а просто изрекал тоном, не допускающим возражений. Его тоже считали «студентом», но в общем, по непонятным для меня в то время причинам, почему-то не долюбливали.

И вот, когда уже все считали его едущим в неведомые дали в темной карете, он вдруг дня через три внезапно появился в мастерской. Разумеется, расспросам, спорам и разговорам не было конца. Однако все эти разговоры велись в строго конспиративной форме. Обычно во время работы Михаил Афанасьев в сообществе трех-четырех человек модельщиков выходил на лестницу «покурить». Дабы обезопасить себя от внезапного появления мастера, дверь на лестницу оставалась открытой. Таким образом можно было наблюдать за всеми передвижениями мастера. Из-за двери слышалась сначала мирная беседа, которая затем переходила в ожесточенные яростные споры. Красный, взволнованный Михаил Афанасьев после этого подходил к своему верстаку и дрожащими руками принимался за работу.

Как я ни старался напрягать свое внимание и слух, но мне все-таки ничего не удалось узнать существенного в связи с таинственным исчезновением Михаила Афанасьева. Было известно лишь то, что его арестовали, продержали три дня в участке и освободили. Впоследствии, когда я уже стал революционером, я узнал, что Михаил Афанасьев стал ревностным сторонником известного охранника Зубатова и играл выдающуюся роль в зубатовском движении в Москве. Его арест и скорое освобождение накануне коронации в 1896 г., очевидно, были первой ступенью его падения.

Коронационные торжества происходили в Москве в первой половине мая. Погода стояла на-редкость теплая и солнечная. Весь город был иллюминован и украшен множеством флагов. Софийская набережная у завода «Густав Лист» была уставлена сплошь орудиями, из которых то и дело бухали салютные выстрелы, сотрясая воздух. Слышался звон и треск разбиваемых стекол в соседних домах. По вечерам Москва горела миллионами электрических огней, и высоко взлетали в небо разноцветные фейерверки. Улицы поблизости Кремля в течение трех дней были запружены гуляющей публикой. В Александровском саду происходило настоящее столпотворение. Его наполняли городское мещанство, мастеровщина, рабочие, рослые красавцы-гусары, кирасиры в живописных костюмах, с волочащимися по земле блестящими палашами горделиво и важно выступали под ручку со своими дамами сердца и лущили семечки. Горничные, кухарки, портнихи, модистки в эти дни положительно находились в плену у красавцев петербургских гвардейцев.

— На долю рабочего человека не осталось никакого женского продовольствия, — жаловались и негодовали наши заводские ловеласы.

В Александровском саду всюду толпились группы веселящихся людей: одни пели хором «Вниз по матушке по Волге», другие плясали камаринского под визгливые звуки гармоники, в третьей группе что-то рассказывали... Словом, народ веселился. Явной полиции было не видно.

На нашем заводе директор объявил, что в течение трех торжественных дней по случаю коронации рабочие будут работать по восемь часов в день с часовым перерывом на обед. Нашим восторгам не было конца. В эти три дня мы впервые познали всю сладость восьмичасового рабочего дня и почувствовали всю тяжесть одиннадцати с половиной часовой работы.

После восьми часов работы, у нас оставалось еще столько времени, что мы даже как-то не знали, чем его заполнить: слонялись по улицам, по бульварам, глазели на гуляющую праздничную толпу, делали попытки прорваться в передние ряды и «посмотреть царя». Правда, последнего мы добивались отнюдь не из уважения и почтения к царю, а из простого любопытства увидеть царскую роскошь, его свиту и т. д. Кроме того на это дело мы смотрели как на своего рода спорт. Нас особенно с Ванькой Коровиным подзадоривало, когда кто-нибудь удивленно спрашивал:

— А вы разве еще не видели царя?

Мы смущенно отвечали, что нет.

— Как же это вы так! А я уж три раза видел... Вы, ребята, пораньше, утром встаньте да займите места... — обычно начинал наставлять нас кто-нибудь после такого диалога.

После неоднократных и настойчивых попыток «посмотреть царя» последнее наше предприятие закончилось весьма печально: когда мы силились прорваться в передние ряды, казаки пребольно отхлестали нас нагайками, а у Ваньки даже разорвали пиджак. С позором и стыдом мы прибежали домой и уж больше не пытались «смотреть царя».

— Ну, ребята, дохлебывайте, да царя пойдем смотреть, — долго еще продолжали звонить над нами в мастерской.

Не то 14, не то 15 мая было объявлено гулянье на Ходынском поле. Говорили, что во время этого гулянья будут построены палатки, у которых будут всем выдавать узелки с колбасой, булкой, кружкой с царским гербом и полтиной денег. Какая будет кружка выдаваться, никто толково не знал, — одни говорили: медная, другие говорили: оловянная или фарфоровая. На нашем заводе механик Красницкий накануне дня гулянья собрал мастеров всех цехов и заявил, что рабочие нашего завода во избежание давки пойдут на Ходынку всем заводом в восемь часов утра во главе с ним — Красницким, — пусть рабочие не волнуются, ибо для нашего завода будут специально оставлены царские подарки, и их все получат.

Вечером, накануне гулянья, в доме, где мы жили, уже поползли самые разноречивые мрачные слухи. Огромные массы народа начали стекаться на Ходынское поле накануне с вечера. Из нашего дома тоже отправилось несколько человек с вечера. Мы начинали волноваться и ругать механика, боясь, что к тому времени, когда мы придем, подарки уже все будут розданы. Некоторые предлагали отправиться сейчас же и там переночевать. Мы с Ванькой совсем было собрались пойти с вечера, но Коровин, твердо веривший обещаниям Красницкого, решительно воспротивился этому.

Было ясное солнечное утро. Мы, предводительствуемые механиком Красницким, длинной вереницей шествуем к Ходынскому полю. Бодрящий утренний воздух, яркое солнце, смех, шутки, разговоры, а в конце

пути — веселое многолюдное гулянье, балаганы с петрушками, музыка, пляска, песни, залихватская гармоника и т. п. И вдруг...

Совсем уже близко от Ходынки нам навстречу едет извозчик. В пролетке мечется и кричит благим матом что-то непонятное молодая женщина.

— Кликуша, наверное, — решаем мы и двигаемся дальше. Механик повел нас куда-то далеко от гулянья, а сам пошел разузнавать о подарках. Мы расположились в ожидании его возвращения. Однако скоро начали разбредаться.

— Народу, народу сколько подавили, бог ты мой!.. Возами возят мертвых, — сообщили нам подошедшие к нашей группе какие-то люди.

— Кто!? Как подавили?

— А в колодцы-то сколько народу попадало!.. Колодец-то глубокий-преглубокий, — в него и падают люди, покуда он до краев не набьется, — сообщали другие. — Их, говорят, нарочно пооткрывали.

— Стоит тебе огромаднейшая толпа, из стороны в сторону качается, ровно волны в море приливают, — рассказывает третий, — а над толпой пар от духоты стоит. И стоят все люди ровно как бы живые, а как народ расступается, так разом сотнями валятся: раздавленные стояли.

— А я вот тем только и жив остался, что по головам пробрался. Добрый человек нашелся — наверх подсадил, — рассказывал какой-то маленький, худой человек в картузе.

Подарков мы не получили, да и не до подарков было нам. Мы были рады-радешеньки, что не пошли с вечера и не попали сами в эту кашу. На обратном пути домой мы то и дело встречали солдатские телеги, наполненные трупами, прикрытые рогожами, из-под которых виднелись ноги, руки, болтались головы... Становилось жутко.

На следующий день у нас на заводе только и разговоров было о давке на Ходынке. Газеты начали печатать списки погибших. Среди них некоторые находили своих знакомых. Поднимался глухой ропот. Атмосфера становилась напряженной. В газетах был напечатан явно преуменьшенный список погибших — двести или триста человек, точно не помню. Это вызвало сильное негодование.

— Газеты врут. Не триста, а тридцать тыщ подавили собаки, — негодующе говорил старик Смирнов, у которого погиб не то знакомый, не то родственник. — Слыханное ли дело, тыщи народу задавили, а виноватого не найдешь!

— А кто ж, сударик, виноват? Сами же виноваты, — позарились на подарки, порядку не соблюдали, ну и подавили друг дружку, — смиренно сладеньким голоском возражал «Сущий».

— Это подарок царю-батюшке, — ядовито вставил Савинов. «Сущий» замолчал. Разговаривать много на эту тему побаивались.

Михаил Афанасьев как-то поблек, снизил тон и старался обратить внимание рабочих на обещание царя «вознаградить» вдов и сирот погибших на Ходынке. Это обещание, конечно, мало кого утешало, но Афанасьеву не возражали. Чувствовалось, что каждый день в себе что-то таит, все как-то замыкались в себе и чего-то ждали.

Мало-по-малу жизнь начинала входить в обычную будничную колею, но прелесть восьмичасового рабочего дня мы долго не могли забыть, и не раз он у нас служил предметом наших разговоров. Мы все еще продолжали чего-то ждать и все надеялись, что вот как-то самой собой произойдут перемены в нашей жизни.

В одну из получек Савинов произвел какие-то сборы среди модельщиков. Давали отчисление, повидимому, очень охотно, ибо Савинов был результатами сборов доволен. Но куда и для чего были произведены эти

сборы, я не знал. И только однажды мой земляк Новиков — пьяница и горлопан, — напившись после получки, начал попрекать этими сборами Савинова.

— Вот нашел дураков, — горлопанил Новиков, — собрал с нас деньги, а кому и для чего — никто не знает?! Может, ты пропил... Умник какой выискался!..

Савинов сначала отшучивался, но затем, выведенный из терпения последним заявлением Новикова, бросился к его верстаку, по дороге схватил какой-то предмет и чуть было не избил его, если бы не вмешались во-время подошедшие соседи.

— Пьянчужка, храпоидол! На вот тебе, подавись своими деньгами! — при этом Савинов дрожащими от негодования руками бросил на верстак Новикова несколько серебряных монет, которые со звоном покатились по верстаку.

Новиков, очевидно не ожидавший такого бурного протеста, сразу как-то опешил, притих и молча стоял с опущенными руками... Хмель с него соскочил.

— Ну, уж ладно... будя тебе!.. Я ведь по пьяному делу, —смущенно заговорил он.

В то время мне казалось, что «сборы» Савинова находились в прямой связи с забастовкой петербургских ткачей, ибо вскоре же после вышеописанной сцены с Новиковым, как-то во время обеденного перерыва, в мастерскую вошел торжествующий Михаил Афанасьев с «Русскими ведомостями» в руках. Около его верстака быстро образовалась группа модельщиков, которым он громко, внятно прочитал статью о стачке петербургских ткачей. Статья излагала события по-казенному сухо, но для нас она являлась целым откровением, — из нее мы усвоили все то, что было связано с нашей повседневной жизнью и работой. Слова «стачка», «забастовка», упоминавшиеся в статье, для нас отныне получили реальный смысл, облеклись живой плотью. Хотя и героическая, но непосильная борьба одиночек-«студентов», которых сажали в крепость и «смалывали их в мельницах», ныне превращалась в борьбу рабочих масс. Устрашающие легенды, действовавшие на воображение рабочих, ныне утрачивали всякий смысл. В самом деле, нельзя тридцать тысяч петербургских ткачей посадить в Петропавловскую крепость и пропустить в мельницу?!

Вскоре после описанного события, наш завод от одиннадцати с половиной часового рабочего дня перешел к десятичасовому. Мы вздохнули свободнее и сразу почувствовали, что с нас свалилось тяжелое бремя. Правда, разумно организовать и использовать свободное время немногие в то время умели и могли. Но и то уж было хорошо, что мы просто физически могли отдыхать и думать о предметах, не относящихся к нашей работе. Для нашего поколения это уже было большим завоеванием. Отныне для нас облегчалось дело организации, пропаганды и агитации в широких рабочих массах.

Оглядываясь теперь назад, когда уже с того времени прошло более тридцати лет, для меня все время эти три события — Ходынка, забастовка питерских ткачей и переход к десятичасовому рабочему дню — были тесно связаны между собой и находились в какой-то причинной зависимости. Даже в то время, когда я еще очень плохо разбирался в политических событиях, мне все время казалось, что это так и есть.

Ходынская катастрофа хотя и не имела прямого отношения к цеховым интересам рабочих нашего завода того времени, но она сильно расшатала авторитет власти и подрывала слепую веру в царя даже у стариков.

Больше всего возмущала безответственность, безнаказанность властей, погубивших тысячи людей.

— За что погибла христианская душа? — спрашивал один.

— За царские кружки.

Эти и им подобные поговорки и анекдоты широко циркулировали среди рабочих.

По случаю полугодия ходынской катастрофы 14 ноября студенты Московского университета устроили панихиду по погибшим, которая закончилась манифестацией. Студенты были оцеплены полицией и загнаны в манеж. У нас на заводе это событие имело большое агитационное значение. Прежде студентов рабочие в массе рассматривали как беспокойных бунтарей, безбожников, неизвестно почему идущих против царя и, во всяком случае, очень далеко стоящих от повседневных интересов рабочих. Теперь многие начали сочувственно говорить о студентах, которые, не боясь наказания, «идут за правду».

Сергей Петрович.

Маленький, тоненький блондин, с длинными, зачесанными назад волосами, на непропорционально длинных тонких ногах, узенькие, как трубки, брюки — весь гибкий, постоянно извивающийся, вертлявый, как будто из него были вынуты все кости и вместо них вставлена резина, — он напоминал собою миногу. На худом лице маленькие, стрелкой, рыжеватые усики, как две бусины серые, насмешливые глаза. Я никогда не видел его с кем-нибудь разговаривающим серьезно, — он постоянно шутил, острил и улыбался своим щербатым ртом, показывая прорехи недостающих зубов. Фамилия его в конторе, конечно, была известна, но в мастерской никто ее не знал, да и не интересовался. Все его звали Сергей Петрович.

Где он работал раньше и откуда к нам поступил, тоже никто не знал. В мастерской он появился как-то внезапно. Пришли однажды на работу, видим: стоит за токарным станком какой-то тщедушный фертик и точит деревянную чурку, а через две недели модельщики уже пили с него привальную и желали ему «долго жить» на новом месте.

Мастер он был неважный и в первое время точил прескверно. Однако наш токарь Иван Федотович — огромный толстый мужчина, большой обжора и любитель выпить, которого угостил Сергей Петрович, — весьма охотно посвящал его в тайны токарного искусства, и Сергей Петрович скоро стал недурным токарем.

Токарные станки стояли в конце мастерской, — там же, где ленточные и круглые механические пилы. В этом углу стоял постоянный шум — режущий визг пил, шорох приводных ремней, легкое потрескивание обтачиваемого дерева. В воздухе летали тучи опилок, деревянных стружек и облаком висела древесная пыль. Этот угол находился вне поля зрения мастера, восседавшего посредине мастерской в стеклянной конторке. Отчасти поэтому, а главным образом потому, что Сергей Петрович, обладавший неистощимым юмором, всегда выкидывал какие-нибудь новые неожиданные коленца, — этот угол весьма охотно посещался любителями веселого времяпрепровождения.

Подвижная, комическая физиономия, гибкая маленькая фигурка Сергея Петровича уже при одном взгляде на него невольно настраивала на веселый лад.

Богатый пьет шампанское,
А бедняк наоборот — водичкой пробавляется, —

часто любил он декламировать. Его маленькая фигурка, изображая довольство богатого, изгибалась в дугу, животом вперед, щеки надувались, а тоненькие тараканьи усики топорщились вверх.

Богач в коляске разъезжает,
А бедняк наоборот —пешком сторонкою шагает.
Богач сигары покупает,
А бедняк наоборот — окурки подбирает.

Глядя на его фигуру, жестикуляцию, подвижную физиономию, даже самые суровые люди приходили в веселое настроение. Сергей Петрович был в курсе всех театральных новостей. В разговоре он часто вставлял в обороты речи какое-нибудь острое или смешное выражение, слышанное им в театре. А иногда пытался петь своим козлетоном какую-нибудь арию.

От него я впервые узнал, что на свете существует театр, в котором «актерки» и «актеры» представляют в лицах всякие смешные вещи. Это, конечно, не совсем точно,— о существовании театра я знал раньше из рассказов своего отца и из газет, но в моем представлении театр существовал как что-то очень отвлеченное и туманное, куда ходят только очень богатые «господа». От Сергея Петровича я впервые узнал конкретно, что делают в театре и что туда можно сходить даже за тридцать копеек на галерку.

Однако, несмотря на то, что мои теоретические познания о театре обогатились, на практике я имел возможность попасть в театр только года через два.

Сергей Петрович, осмотревшись немного в мастерской, вскоре же образовал в своем уголку комический «хор» из Ивана Федотовича, ученика Егорки и себя самого. Узнав однажды, что «Сущий» получил из деревни от жены письмо, в котором та писала, что у него околела кобыла, Сергей Петрович, как только мастер вышел из мастерской, собрал свой «хор» и отслужил панихиду по усопшей рабе божией «кобылице».

К празднику пасхи его «хор» торжественно распевал пасхальные песнопения вроде:

На божественной страже.
На втором этаже,
На верхнем окошке
Дралися три кошки.
Брысь! Брысь! Не дерись
и т. д.

или:

Святися, святися,
Пирог испекися...

Как это ни странно, но это «кощунственное» песнопение «хора» Сергея Петровича снисходительно выслушивалось даже набожными старичками: уж больно много было в нем веселья и комизма. А молодежь была буквально в восторге от него.

В то время я еще плохо разбирался в людях, в окружающей обстановке, в событиях, имеющих иногда важное значение, но у меня уж начинало под влиянием собственного горького опыта вырабатываться какое-то «чутье». Я, например, не мог обосновать, логически доказать неправильность того или иного нехорошего поступка, но я определенно, немедленно чувствовал антипатию, отвращение к лицу, совершившему этот нехороший поступок. Когда Сергей Петрович поступил к нам, я далеко не изжил своих религиозных предрассудков. И все-таки, несмотря на все его «кощунства», меня что-то тянуло к нему. Мне казалось, что шутовство и кривляние Сергея Петровича являются лишь только маской и за ними скры-

вается нечто более серьезное и важное. Я чувствовал разницу, например, между шутовством Ивана — сверловщика и Сергея Петровича. А в чем была эта разница, логически я не мог постигнуть. Впоследствии, когда я уже сделался вполне сознательным, для меня было очевидно, что шутовство Ивана было простым озорством, а шутовство Сергея Петровича было «с направлением».

Когда я ближе узнал Сергея Петровича, я от него впервые услышал несколько нелегальных песенок, которые быстро из уст в уста передавались по всему заводу. Не знаю, сочинял ли он сам эти песни или еще кто-нибудь передавал.

Я вспоминаю одну из них, которую я впоследствии научил петь, будучи в ссылке в деревне, деревенских парней. Пелась она на мотив «Хаз Булат удалой».

Лет пятнадцать уж вот,
Может больше пройдет,
Молодым пареньком,
Я спознался с станком.
И пока в небе свет,
А мне отдыху нет.
Вот дожить довелось
До седых до волос,
А для черного дня
Гроша нет у меня.
Что за вор, за злодей,
За лихой чародей
Мою деньгу берет,
Кровь рабочую пьет?
Эх, не вор, не злодей,
Не лихой чародей
Мою деньгу берет,
Кровь рабочую пьет:
Это поп да купец,
Да царь — белый отец.

В свое время, далеко не полностью приведенная здесь, песнь глубоко трогала сердца нашей молодежи.

Сергея Петровича я уж никогда больше не встретил на своем жизненном пути, но воспоминание о нем, тесно связанное с первыми революционными песнями, долго хранилось в моей памяти.

Начало моих скитаний по заводам.

Прошло около двух лет моего ученичества на заводе Листа. Я уже хорошо разбирался в чертежах и самостоятельно делал не очень сложные модели. Свое ремесло любил и много вкладывал в него «души» и инициативь. Модель, как известно, делается для литых чугунных и медных частей машины, а между тем эта последняя состоит также из железных, стальных кованых частей, которые делаются, вследствие строгого разделения труда, в различных мастерских. Дабы ознакомиться с постановкой производства всей машины я часто бегал по различным мастерским завода и простаивал целые часы, глядя, как обрабатывалась та или иная часть машины.

Но особенно большое удовольствие мне доставляло бывать в литейной мастерской, куда поступала по выходе из нашей мастерской модель. В огромном высоком здании литейной, покрытом копотью и пылью, на земляном полу, как кроты, рылись в земле и пыли грязные черные люди, у которых на черном фоне покрытого копотью лица блестели только белки

глаз. Грохот огромных подъемных кранов, перебираемых шестерен, лязганье толстых цепей и могучее дыхание вагранки, где плавился чугун — постоянно наполняли своим гулом здание литейной мастерской.

По вечерам, когда начиналось литье, мастерская превращалась в настоящий ад. Из вагранки по жолобу выливалась огромная тяжелая огненнокрасная струя расплавленного чугуна, разбрасывая вокруг большие огненные брызги-искры, освещая стоявшие вокруг мрачные фигуры литейщиков. Один за другим быстро наполнялись расплавленным чугуном горшки, и по-двое на железных носилках литейщики разносили его по огромному полу, усеянному готовыми для литья формами. Темное поле мастерской ярко осветилось множеством огненно-красных точек с хвостами, похожими на огненные маленькие кометы. Это литейщики медленно выливали из горшков расплавленный чугун в земляные формы. У горшков и вагранок стояла нестерпимая жара, так что на литейщиках то и дело вспыхивала одежда, которую заливали водой.

На следующий день я уже видел, как отлитые, еще не остывшие чугунные части будущих машин очищались от земли и обрубались чернорабочими от образовавшихся бугров и наростов чугуна.

А спустя несколько недель или месяцев, смотря по величине машины, в сборочной мастерской уже красовалась, блестя своими отполированными медными и стальными частями, могучая красавица — паровая машина.

Любовным взглядом окидывали ее массивный чугунный корпус проходившие мимо рабочие. Меня самого начинала захватывать поэзия большего завода с его могучим металлическим грохотом, пыхтением паровых машин, колоннами высоких труб, выбрасывающих облака черного дыма, грязнившего чистое синее небо. Бессознательно меня тянуло к заводу, к работающим на нем людям, которые становились мне близкими, родными. Я чувствовал, что срастаюсь с заводом, с его суровой поэзией труда, которая становится мне дороже и ближе, чем тихая, спокойная, ленивая поэзия отупляющего деревенского быта.

Приближалось рождество. Завод в эти праздники не работал почти целую неделю. Значительное число рабочих было связано с деревней: то были можайские, тульские, рязанские и волоколамские. Они с нетерпением ожидали наступления праздничных дней — копили деньги, делали закупки для себя и для своих «хозяек». Во время больших разъездов по деревням, — а это случалось в рождество и на пасху, — у нас на заводе производился медицинский осмотр. Делалось это довольно примитивно и грубо и едва ли достигало каких-либо результатов. Во время получки в конторке рядом с бухгалтером, выдававшим нам деньги, сидел врач. Мы выстраивались в хвост, расстегивали штаны и показывали нужную часть тела врачу. Последний, постукав по ней карандашом, сообщал результаты своего «осмотра» бухгалтеру, и этот уже в свою очередь выдавал нам получку. На заводе, вероятно, было немало больных венерическими болезнями, но я не знаю ни одного случая, чтобы этот врач во время медицинского осмотра нашел хотя бы одного больного.

После медицинского «осмотра», получив получку, я вместе с другими также поехал в деревню. Но на этот раз моя поездка оказалась роковой. Случилось это так. Коровин во время этого праздничного перерыва решил во что бы то ни стало женить своего сына Ваньку который был годом старше меня. На святках, когда попы не венчают, Коровин решил проделать предварительную свадебную процедуру — смотрины, рукобитье и т. п. — а после святок для венчанья он решил прихватить денька три-четыре рабочих. Получил ли он заранее на это разрешение мастера или мастер

после санкционировал ему и сыну этот незаконный прогул — сейчас не помню. Во всяком случае они от этого не пострадали. Для меня же это дело кончилось печально. В делах Ванькиной женитьбы в деревне я принял самое живейшее участие: ходил с ним на вечеринки, на смотрины, а впоследствии, когда мы облюбовали для него невесту я был при венчании шафером. В общем на этот раз время я провел в деревне очень весело. Но это веселье едва не кончилось тем, что чуть было меня самого не женили на сестре Ванькиной невесты. Но и на тот раз меня спасла предстоящая служба в солдатах, а все другие мои аргументы оказались недействительными и рассеялись яко дым под натиском моих сестер и теток. Женился Ванька, по понятиям Коровина, очень удачно. Взял, кажется, рублей двести приданого, всякой одежи, нарядов, да и сама невеста была не плоха. С лица она хотя и не была красива, но корпусом хоть куда — в костях широкая, статная, высокая... Словом, не девка, а город! — как у нас о ней говорили мастеровые, когда она приехала потом погостить к мужу в Москву. Но больше всего льстило Коровину, что жена его сына была дочерью известного в округе богатого кулака. Правда, это ему ни тогда, ни впоследствии никаких реальных выгод не давало, но породниться с богатым человеком все же было и лестно, и в будущем кое в чем обнадеживало. Сам виновник торжества Ванька был на седьмом небе: ему такая жена и во сне не грезилась! Называли его уже теперь Иван Ивановичем. Делая маленькое отступление, скажу здесь несколько слов и о нем, тем более, что в последующей моей жизни мне почти не приходилось с ним сталкиваться. В работе он был парень старательный, прилежный, начальству услужливый, к старшим почтительный. Коровин сумел привязать его к дому, внушить послушание и повиновение родителям. И Ванька, ни минуты не задумываясь, во всем подчинялся отцу и слепо пошел по его стопам. Дальнейшая судьба старика Коровина, как мне рассказывали, была такова: когда умер старик Богдан Иванович, Коровина поставили вместо него мастером. На этом посту он снискал себе всеобщую нелюбовь и нажил много личных врагов. Жизнь его окончилась весьма печально. Однажды заводское начальство устраивало какое-то торжество для рабочих. На этом торжестве сильно подвыпили. И вот во время самого разгара торжества один из его «доброжелателей» запустил в него стаканом с водкой, отчего последний был так перепуган, что не сходя с места тут же и умер. Подробнее обо всей этой истории мне узнать не удалось.

Сын Коровина — Иван Иванович — здравствует еще и поныне. Работает на том же заводе, унаследовал должность своего родителя, усвоил все его добродетели — не пропускает ни одной обедни, ходит ежегодно на исповедь, ко святому причастию и много печется о благолепии местного храма. Извиняюсь перед читателями за длинное отступление, которое, полагаю однако, не было лишним по ходу моего рассказа. А теперь вернемся к моей юной особе. С шумом, криком, гамом, с изрядной выпивкой отпраздновав бракосочетание молодого Коровина, мы вернулись снова на завод. Как уж было сказано, с опозданием на три дня. Коровиным это обошлось благополучно. Но мне старик Богдан Иванович категорически объявил расчет с предупреждением за две недели. Все мои и Коровина просьбы и мольбы оказались напрасны, и я стоял перед перспективой безработицы. Настроение мое понизилось, работа валилась из рук. Пугала неизвестность.

— Не горюй, Семен, не пропадешь! — хлопнув ладонью по спине, участливо сказал Савинов, незаметно подойдя ко мне сзади.

— Как не горевать-то, Василь Егорович, куда я теперь денусь?

— Ну уж и затужил!.. Не бойся, были бы руки да голова на плечах, а работа всегда найдется! — Он посмотрел на меня своим ясным ободряющим взглядом и сурово деловито прибавил: — Ты это, Семен, брось мирихлюндию разводить, а лучше давай с тобой толком поговорим.

— Я всегда, Василь Егорыч, обо всем с вами советуюсь, — ободренный, покорно ответил я.

— Вот так-то будет лучше. Завтра ты на работу не выходи, а иди рано утром к большому Бромлею к воротам и просись у мастера на работу... Мне говорили, там модельщики нужны.

На другой день я уже укладывал в свой дорожный серый ящик инструменты, напутствуемый всякими добрыми пожеланиями моими благожелателями-модельщиками, с радостью за настоящее и с тревогой за будущее, покидая завод «Густав Лист».

Я — взрослый.

Со страхом и трепетом, первый раз в жизни я становлюсь за верстак, как взрослый, раскладываю инструменты и начинаю рассматривать чертежи данной мне пробной работы в модельной мастерской завода «Старый Бромлей». Чертеж оказался несложным, и я, без какого-либо содействия со стороны старых модельщиков, самостоятельно справляюсь с работой и сдаю ее мастеру. В волнении, с бьющимся сердцем ожидаю, когда мастер кронциркулем и метром проверяет точность изготовленной мною модели подшипника. В дальнейших моих скитаниях по заводам, когда я уже приобрел навык в работе, а вместе с этим и уверенность в себе, я никогда не испытывал особых волнений. Но на этот раз, когда решалась моя судьба как самостоятельного мастерового, я буквально дрожал мелкой собачьей дрожью, стоя у верстака и ожидая, когда мастер кончит поверку моей работы.

Из рассказов опытных мастеровых мне было известно, что мастера всегда предпочитают брать на работу солидных, пожилых модельщиков, которым они и жалованье больше кладут, даже если по умению работать они были бы и хуже молодых. Вообще говоря, мой моложавый вид — отсутствие не только бороды, но даже и усов — доставлял мне большое огорчение и уже тогда заставил меня пережить немало неприятных минут. Начать хотя бы с того — барышни: чулочницы, модистки, портнихи, у которых мои более солидные сверстники пользовались успехом, во мне совсем не хотели признавать взрослого мужчину. В тот момент я очень сожалел о том, что не позаботился заблаговременно и не исправил своего природного недостатка искусственным способом — не прикладывал на ночь печеного лука для поощрения волосяной растительности на желаемых местах, как советовали мне мои более опытные товарищи.

Однако на мое счастье дело обошлось на этот раз и без «печеного лука». Мастер вызвал меня в конторку и благосклонно объявил, что моя работа принята, и тут же дал мне чертеж другой модели. Краснея и волнуясь от смущенья и боясь, что другие заметят выпиравшую из меня радость, я гордо и уверенно шествовал к своему верстаку с новым чертежом в руках, делая вид, что все это для меня является самым обычным делом.

— Ну что, Канатчиков, сошло? — с любопытством спросил меня сосед.

— Сошло, — ответил я, плохо прикрывая тоном безразличия свою радость.

— Чай гривен семь на день тебе положит?

— А кто его знает!

— Вот ежели бы у тебя борода была, мастер беспременно тебе рупь положил бы, — кольнул меня по больному месту сосед.

По тому времени, после получаемых мною у Листа сорока копеек, семь гривен для меня было тоже не плохо, однако втайне я мечтал о большем. Мой сосед Шерстянников — значительно старше меня по возрасту, модельщик из столяров, еще плохо разбиравшийся в чертежах, — получал восемьдесят копеек, а потому он, очевидно, из зависти не хотел допустить, чтобы мне, молокососу, мастер назначил больше семи гривен.

До получки оставалась еще неделя. Я сгорал от нетерпения узнать, сколько же мне мастер «отметит» жалованья? Я не был скуп на деньги, и высота жалованья меня интересовала не столько со стороны материальной, сколько со стороны моральной — оценки моей персоны, как величины общественно полезной, стоющей и расцениваемой на деньги людьми, мне чужими и посторонними. Разумеется, в то время по состоянию уровня моего интеллектуального развития я не мог так ясно формулировать обуревавшее меня чувство и настроение, как это я делаю теперь, но что они были примерно таковы — это я отчетливо припоминаю. Величиной моего жалования интересовались также и модельщики — любители выпить на дармовщинку, — с нетерпением ожидавшие от меня в получку «привальной», размер которой зависел от величины получаемого мною жалованья. Наступила наконец долгожданная суббота — день получки. Табельщик начал раздавать расчетные книжки. Положил также и мне на верстак. С трепетом открываю книжку. На первой странице стоят имя, фамилия и профессия: «модельщик».

— Стало быть я уже не ученик-мальчишка, а настоящий модельщик! — гордо проносится у меня в голове. Дрожащими руками, лизнув концы пальцев, перелистываю следующую страницу: восемьдесят копеек в день! От прилива счастья у меня даже захватило дыханье и застучало в голове.

— Сколько? — спросил Шерстянников.

Вместо ответа я молча протянул ему книжку, стараясь скрыть свое волнение.

Вечером того же дня, выпив в трактире чашку чая на моем «магарыче» (водку я еще тогда пить не научился), я перетащил свой скудный скарб на квартиру Шерстянникова, который предложил мне занять у него полкомнаты, и навсегда расстался с Коровиным.

Шерстянников, у которого я поселился в комнате в Замоскворечьи, как я уже сказал, работал тоже у Бромлея и получал восемьдесят копеек жалованья. Он был женат и в скорости ожидал прибавления семьи. Жить им вдвоем на восемь гривен было тяжело, а тут еще на беду и ребенок в перспективе. Он и жена весьма охотно приняли меня на квартиру и харчи. Шерстянников был парень тихий, смирный и малоразвитой. Жена его Груша была прямой противоположностью ему — бойкая, разбитная, резкая на язык мещанка, она служила прежде горничной у каких-то больших «господ» и очень гордилась этим. Свой брак с Шерстянниковым считала неудачным, о чем, не стесняясь, часто говорила ему в глаза. — Ты мужлан, вахлак! В тебе никакого образования нет, а за меня благородные господа сватались, — часто сгоряча выкрикивала Груша. — Ну и выходила бы за благородных, — угрюмо отвечал Шерстянников. — Вот то-то и оно, што дуреха была, на такого дурака позарилась. Ты мне в подметки не годишься.. На руках бы должен меня носить, что за такого пентюха пошла.

Чем больше Шерстянников подавал реплики, тем больше распалялась Груша. Поэтому чаще всего в подобного рода случаях он умолкал, и Груша постепенно успокаивалась.

Иногда к Шерстянниковым приходили в гости знакомые или подруги Груши — девушки-конфетчицы с фабрики Эйнем. Садились пить чай. Приглашали меня. Смущаясь и краснея в присутствии девиц, я молча усиленно пил чай и в душе проклинал себя за неумение обращаться с девицами. После чая сдвигали в угол кровать, стол, стулья и начинали танцовать «под сухую» кадриль или вальс «пастушка». И здесь я особенно остро чувствовал свою беспомощность: мне недостает настоящей кавалерской шлифовки.

Я с завистью смотрел на моего товарища Степку, токаря — ученика с завода Листа. Когда он приходил ко мне со скрипкой или гитарой, вся наша квартира начинала ходуном ходить и наполнялась звонким смехом, весельем. Степка был недурен собой — выше среднего роста, стройный блондин с вьющимися волосами и живыми смеющимися синими глазами. Он недурно играл на скрипке, на гитаре, танцовал все модные танцы, знал много анекдотов и умело рассказывал всякие занимательные, смешные истории. Естественно, что у наших барышень он пользовался завидным успехом и был, как у нас говорили, «первый парень в хороводе». Ни одна вечеринка, ни одна свадьба у наших знакомых рабочих не обходилась без Степки. И везде он был желанным гостем и душой общества. С барышнями он чувствовал себя как рыба в воде и бесцеремонно «срывал цветы удовольствия». Политикой он совершенно не интересовался, а читал больше юмористические журналы, из которых черпал свое остроумие. Особенно религиозным он тоже не был, а потому мне сравнительно легко удалось рассеять в нем последние остатки религиозных предрассудков.

Правда, вред религии каждый из нас расценивал по-своему. Я тогда смотрел на религию как на поповскую выдумку, которая мешает людям делаться умными, а рабочим создавать царство небесное на земле. Степка на это дело смотрел другими глазами. «Какое мне дело — говорил он — до других, а я не люблю религию за то, что мне с ней скучно: нужно ходить в церковь, поститься, ходить со скорбящей мордой и всю жизнь бояться, как бы тебя на том свете за язык или за ноги не повесили. А я хочу жить и веселиться».

Частое и близкое общенье со Степкой, конечно, не могло остаться без влияния на меня. Тем более, что противодействовать этому влиянию было некому. Мой учитель Василий Егорыч Савинов за последнее время что-то сильно «загрустил», взял расчет у Листа и уехал куда-то на Урал, кажется в Оренбург. Я стал больше уделять внимания моей наружности. Купил себе модный пиджак с перламутровыми пуговицами, рубашку «фантазия» и картуз с бархатным околышем и кожаным тульем. Для усовершенствования в танцовальном искусстве начал ходить к учителю танцев.

Дело светского самообразования настолько меня увлекло, что я начал втихомолку разыскивать какую-нибудь книжку по этому вопросу. В самом деле, почему не может быть книжки по этому предмету, — думал я, — ведь вот продаются же письмовники? И купленный мною такой письмовник уже был мною не без успеха использован и оказал мне большую услугу. Однажды проходя мимо магазина по Никольской улице, я увидел в окне на выставке книжку с размалеванной обложкой, на которой были изображены танцующие кавалер и дама. На заголовке этой книжки стояло: «Самоучитель танцев и хорошего тона». Автора книги не помню.

«Вот она-то мне и нужна!» — с радостью подумал я. Вошел в магазин и попросил показать. Цена подходящая — пятнадцать копеек. Стремглав лечу домой, дабы скорее постигнуть тайны «хорошего тона». Но увы, — в книге весьма мало оказалось для меня поучительного. В ней говорилось о том, что сидя за столом нельзя нос утирать салфеткой, катать хлебные шарики, есть ножом рыбу, обгладывать кости рябчика, указание — как есть артишоки, спаржу и т. п. Словом, говорилось в ней о таких предметах, с которыми я никогда не приходил в соприкосновение и даже не знал, к какому они миру относятся — растительному, животному или неорганическому.

Полезной книжка оказалась для меня только в части кое-каких указаний по поводу «теории» танцовального искусства. Менее застенчивым и более находчивым в обхождении с барышнями она меня не сделала, даже и при усиленном содействии моего приятеля Степки.

Но в общем я эту зиму провел довольно весело, как подобало проводить взрослому мастеровому: участвовал на свадьбах, на вечеринках, танцовал, плясал камаринского, декламировал юмористические куплеты. А на одной свадьбе даже принимал активное участие в драке, из которой вышел с честью, отделавшись незначительными кровоподтеками под рубашкой. Драки в те времена на свадьбах и вечеринках были явлением обычным. Возникали они по самым незначительным поводам — часто даже без особого подпития. Достаточно было столкнуться двум конкурирующим друг с другом из-за барышень группам молодежи — и драка готова. На другой день—украшенные «фонарями», кровоподтеками—носители этих «отличий» служили всеобщей мишенью для насмешек и острот на заводе. Обычным шаблонным объяснением на нескромный вопрос мастера о причинах происхождения «лицевого украшения», было следующее:

— В субботу мылся в бане, наступил на мыло, поскользнулся и упал рылом на шайку.

— Ну што, опять «в бане на мыло наступил»? — обычно иронически встречали смущавшегося субъекта с фонарем под глазом, входящего в уборную «покурить».

— Нет, это соринка от кулака отскочила.

— Какая там «соринка», песочинкой хлобыснули...

В угаре такого времяпрепровождения я не заметил, как снова приблизились длительные праздники — пасха. Груша скребла, мыла, чистила комнату, кричала, ругала своего флегматичного Афоню (Шерстянников), гоняла его по базарам, по лавкам, не давая ему ни отдыха, ни покоя.

Я с своей стороны готовился к праздникам. Купил четвертную красного вина, всяких сластей и предполагал устроить у себя пирушку. На этот раз решил в деревню не ехать и окончательно эмансипироваться от родительского дома.

Здесь я должен сделать небольшое отступление и объясниться с читателем, дабы последний не подумал, что я, увлекшись своим благополучием, окончательно удалился от политики. Несмотря на мой сильный уклон в мещанскую «светскость», зароненная во мне Савиновым искра политического самосознания продолжала тлеть. Выражалось это в том, что в заводе я открыто проповедывал свои неоформленно социалистические взгляды — вступал в споры со стариками, издевался над религией, ругал начальство и т. п. Все эти речи, конечно, не были тайной для мастера. Он слушал через своих шептунов, до поры до времени молчал и мотал себе на ус. Попрежнему я любил читать и искал ответа в книгах на все волновавшие меня вопросы. Любил ходить на Сухаревку и рыться в книжном

хламе — искал, сам не зная чего. Наряду с песенниками, письмовниками и т. п. мне попадались иногда книги с «направлением». Выбирал я их наугад, по заглавию, которое, конечно, не всегда соответствовало содержанию. Таким способом я однажды купил книгу «Черное и белое духовенство», которая не оправдала моих надежд. В другой раз купил толстую старую книгу под заглавием, кажется, «Складчина». Здесь я имел большую удачу: в ней оказались переводное стихотворение об изгнании Данте и басня Франка «Хвостик». Публицистических статей, я, как правило, не читал — они были трудны для моего понимания.

Наступила пасха. Первый день у нас прошел довольно неудачно. С утра между Шерстянниковым и Грушей произошли крупные ссоры на почве религиозного разномыслия: Груша требовала, чтобы Афанасий понес в церковь святить куличи и пасхи. Последний отказался. Произошла бурная сцена. Груша последними словами ругала своего мужа. Кричала, топала ногами, плакала. Однако Шерстянников остался непреклонным. Груша понимала, что причиной богоотступничества Афанасия являюсь я. Все же свой гнев она не решалась распространить и на меня. Весь день прошел в тягостном молчании.

На следующий день, облачившись в праздничные наряды, я пошел после обеда на Москву-реку смотреть ледоход. Погода, помню, стояла весенняя — ясная, солнечная. На набережной царило праздничное оживление: смех, шутки, лущение семечек, а кое-где уже пробивалась пьяная матерщина. Встретил Степку. Пошли бродить вдвоем без определенной цели. Вообще праздники нас как-то выбивали из колеи. Мы бесцельно слонялись по двору, по улицам... А кончалось это пивной или трактиром. То же случилось и тогда. Когда стемнело, мы встретили веселого балагура, старого холостяка, токаря Резвова и все вместе пошли в трактир. Когда я работал на заводе Листа в качестве ученика, Резвов никогда не снисходил до общения со мной. Но теперь я был мастеровой.

В трактире было душно, накурено, шумно. Но все это покрывали мощные, трескучие металлические звуки оркестриона — «машины». Мы заняли столик. Резвов хотел было заказать полбутылки «смирновки», но я гордо заявил, что очищенной водки не пью. Сошлись на рябиновке. Одновременно Резвов заказал две бутылки пива. Когда рябиновка и пиво были выпиты, Резвов снова предложил нам выпить «смирновки». Я снова начал возражать и предлагал пить рябиновку или какую-нибудь другую наливку. Но Резвов так убедительно начал доказывать, что между рябиновкой и очищенной никакой разницы нет и что дело только в крепости: одной нужно выпить больше, а другой меньше, чтобы быть навеселе, — что я не устоял и согласился. Не могу теперь с уверенностью сказать, то ли я утратил вкусовые ощущения или это действительно так было, как говорил Резвов, но я и в самом деле никакой существенной разницы между рябиновкой и очищенной не обнаружил.

Очищенная была выпита. Резвов достал пачку папирос и стал нас угощать. Я в то время еще не курил, но для компании от папиросы не отказался и храбро начал дымить. Вся эта алкогольная смесь в соединении с папиросой произвела на меня, «начинающего» юнца, ошеломляющее действие. Я не помнил, о чем мы говорили за столом, как мы расстались, как я выходил из трактира.

Пришел в себя, когда я очутился на свежем воздухе — на улице, шагая по направлению к своему дому. Как мне потом рассказывали Степка и Резвов, они даже как будто не заметили со мной особой перемены, ибо я все время твердо держался на ногах. Жил я на пятом этаже. Быстро вбежав наверх, я почувствовал головокружение, присел на ступеньку

каменной лестницы. Но едва я закрыл глаза, как меня подхватил такой ужасающий головокружительный вихрь, я почувствовал, что дом, лестница, на которой я сижу, все завертелось, закружилось — и я с быстротой лечу в какую-то пропасть. Крепко держусь за перила... Внутри у меня что-то завозилось, заворочалось, как будто в моем чреве угнездилась огромная, омерзительная змея, которая теперь подступала к горлу и силилась из меня вылезть... На некоторое время я не то засыпаю, не то теряю сознание. Очнулся с сильной головной болью и мучительным угрызением совести... Стучу в дверь и стараюсь придать себе трезвый вид. Прохожу к себе в угол. Груша, открывшая мне дверь, повидимому ничего не заметила. У меня отлегло от сердца. Мне особенно не хотелось ронять свой авторитет перед ней, которая за мой трезвый образ жизни называла меня «зеркальцем», прощала мне мое вольнодумство и всегда ставила меня в пример своему Афанасию, у которого по части выпивки бывали срывы. И вдруг это «зеркальце» она может увидеть в доску пьяного. При одной мысли я сгорал от стыда. Дело, однако обошлось благополучно.

Проснувшись рано утром с невыносимым треском в голове, я привел в порядок свой загаженный костюм, уничтожил следы моего преступления на лестнице и только после этого, значительно смягчив, рассказал историю моего первого грехопадения Шерстянниковым. После этой встряски я дал себе клятвенное обещание — никогда больше не прикасаться к водке. Разумеется, целиком и полностью я этого обещания не выполнил, но во всяком случае в подобном состоянии я уж больше никогда не находился.

Праздники для меня закончились так же неудачно и в другом отношении. На заводе «Старый Бромлей» ежегодно происходила чистка от «неподходящих», «неблагонадежных» и вообще от «нежелательных» элементов. Проделывалась эта операция довольно просто. На пасхальные праздники всем рабочим выдавался полный расчет. А после праздника мастера различных цехов заново набирали рабочих. Таким образом все неугодные мастеру рабочие оставались за воротами. В эту последнюю категорию попал и я. Положение при этом было настолько глупое, что ты даже не мог узнать причину твоего увольнения. Да этим, впрочем, мало кто интересовался.

Однако на этот раз я уже не горевал так, как прежде. Во-первых, потому что я уже знал себе цену, во-вторых, потому, что была весна, а летом, как у нас говорили, «каждый кустик ночевать пустит», и, в-третьих, потому, что был расцвет промышленности — всюду строились новые заводы и рабочие были нарасхват. В то время, как известно, никаких бирж труда не было, но несмотря на это мы были великолепно осведомлены о том, где и куда требуются рабочие.

На этот раз я, взяв с собой традиционный ящик с инструментами, сел на поезд и направился в только что отстроенный Мытищенский вагоностроительный завод. С утра «подшагнул» к мастеру и был принят на работу.

(Продолжение следует.)

Аляска.

А. Серебровский.

На самом дальнем конце нашего необъятного Союза лежит Чукотский полуостров.

О нем известно только, что по бассейну реки Анадыри раскинуты золотые россыпи, что такие же богатые россыпи лежат по реке Волчьей, а что находится дальше, в точности неизвестно. Этот край определенно заглох за последние две сотни лет, и об нем имеется больше сведений из американских, чем из русских источников [1]). А между тем река Анадырь была открыта Семеном Дежневым в 1648 г. В 1650 г. пешком из Колыми пришла туда партия Михаила Стадухина и Семена Моторы. Была основана Анадырская крепость около того места, где теперь существует селение Марково. Казаки проходили тогда до самого восточного конца Чукотского полуострова, где находится мыс Баранова, за ним — Берингов пролив, остров Лаврентия и крайняя западная оконечность Северной Америки — Аляска.

Русские исследователи прошли на лодках расстояние 160 километров, отделяющее Азию от Америки, и на американской стороне основали Михайловскую крепость за много лет до того времени, когда Беринг в 1741 г. прошел на своем корабле между Сибирью и Аляской по проливу, названному его именем. Чириков, его помощник, обследовал тихоокеанское побережье Аляски и на острове Кодиаке нашел русское поселение, основанное выходцами из Сибири, дошедшими до Аляски другим путем, — по длинной ленточке Алеутских островов.

Американские источники указывают, что русские поселения продвигались на восток по тихоокеанскому побережью Аляски в течение всего XVIII столетия и что старый город Ситка был основан намного раньше, чем царские корабли пришли туда в 1778 г. Поселенцы, которые шли в Америку в первой половине XVIII столетия, принадлежали главным образом к эмигрантам, которые из-за религиозных и политических преследований двигались на восток, проходили по Алеутским островам на Аляску и обосновывались там, главным образом по южному ее побережью, где занимались охотой и рыбным промыслом. Первые русские поселения были зачастую сектантскими и старообрядческими, и только после того, как в 80-х годах XVIII столетия императорские фрегаты прошли до бухты Трех Святителей, состав русского населения резко изменился. В городе Ситке в 1784 г. построили крепость, поставили пушки, поселили 300 человек казаков и несколько сот поселенцев, затем прибыл батальон солдат, который был размещен по побережью и держал гарнизоны во много-

[1]) В конце августа на Чукотку выехала первая советская экспедиция.

численных русских поселениях, разбросанных по тихоокеанскому побережью.

Тогда началась «торговля с Аляской», т. е. иначе говоря безжалостная эксплоатация туземцев царским правительством и безрассудное хищничество в смысле уничтожения пушного зверя, рыбы и прочих богатств. Отношения с туземцами сильно испортились. Американские источники указывают на то, что первые русские поселенцы жили с индейцами («индианами», как пишется в старых русских книгах) очень хорошо, практиковались смешанные браки, и метисы были очень нередким явлением. Только старообрядцы не допускали смешанных браков, но они также жили в большом согласии с индианами. Регулярных сношений с царской Россией не было, и до прихода первых царских кораблей не было «торговли», вернее говоря — не было массового грабежа, спаивания туземцев и убийств — всего того, что царские опричники проделывали в Сибири. Таким образом в Аляске к приходу официальных царских чиновников и войсковых команд были уже русские поселения, состоящие из беглецов и эмигрантов, а сами индиане находились под многолетним влиянием русских выходцев, сплошь пропитанных ненавистью к царскому режиму. Поэтому императорские десанты не встретили радушного приема среди местного населения, где, к их удивлению, оказалась организованная власть и даже туземные войска, вооруженные не так уж плохо. Открытые империалистические попытки «зажать» Аляску кончились неудачно, и город Ситка с его острогом (крепостью) был взят восставшим населением в 1792 г. Лаврентьев, который предводительствовал восстанием, убедил казаков, составлявших большую часть ситкинского гарнизона, перейти на сторону «мятежников», и ситкинская крепость была взята сравнительно легко. Офицеры, чиновники и часть «верных солдат», вернее унтер-офицеров, были расстреляны, как свидетельствуют исторические материалы, хранящиеся в музее города Жюно на Аляске.

Туземное население действовало в этом восстании в полном контакте с Лаврентьевым и старыми русскими поселенцами; индиане настояли на том, чтобы старый город Ситка был уничтожен, крепость, как символ власти угнетателей, была срыта и поселенцы перешли на новое место, где и основали новый мирный город — уже без крепости и без тюрьмы.

Но в 1800 г. снова появилась царская эскадра, и после бомбардировки и упорных боев новая Ситка была взята, а русские повстанцы вместе с индианами ушли частью вглубь страны, частью продвинулись далее на запад и на юг по тихоокеанскому побережью вплоть до самой Калифорнии.

Императорское правительство изменило форму управления Аляской и создало так называемую Русско-американскую компанию для эксплоатации аляскинских богатств. Директор этой компании Баранов, хотя официально был штатским и торговым человеком, на самом деле являлся генерал-губернатором Аляски, и в его дворце в Новой Ситке под охраной батарей новой крепости были заведены порядки маленького сатрапа, — точная копия Петербургского двора. Об этом свидетельствуют показания известного кругосветного путешественника Лисянского [1]), который на корабле «Нева» заходил в Ситку в 1806 г. и был поражен существующими там порядками. К этому времени туда подвезено было уже более двух тысяч новых поселенцев, несколько сот верных правительству казаков и почти полк пехоты.

[1]) Cap. U. Lisiansky. «Voyage round the World in the ship Neva 1803—1806».

Город Ситка быстро застраивался, и под кнутом царских опричников там были созданы поселения каторжного типа, где туземцы и русские поселенцы были обречены на принудительные работы. Были построены церковь, тюрьма, новая крепость, дворец Баранова (он сгорел в 1885 г.), торговые склады и помещения и т. д. Остатки крепости, одна из казарм и один из торговых складов, срубленный из огромных лиственичных деревьев, существуют до сих пор, и посещающие Ситку американские туристы снимают своими кодаками старые пушки, которые носят еще дату отливки 1723 г.

Русско-американская компания в эпоху Баранова — человека очень энергичного, но совершенно не разбиравшегося в средствах достижения своих целей, — сильно расширила свои операции. В состав главного правления, находившегося в Петербурге, вошли очень высокопоставленные лица, и сам царь Александр I имел большое отношение к этому делу. Средства отпускались крупные в предвидении больших дивидендов. В первой четверти XIX столетия ряд новых поселений был заложен по тихоокеанскому побережью, и некоторые колонии продвинулись даже вверх по течению рек — Юкона, Змеиной и других.

Старая Михайловская крепость, построенная очевидно еще в конце XVII столетия (есть документальные данные в историческом музее в Жюно, что она уже существовала в 1712 г.), служила крайним северным форпостом для торговых и колонизаторских экспедиций компании. Крепость эта — она теперь еще существует и зовется городом Сан-Майкель — имела население в 1800 чел., и на расстоянии тысячи километров от нее к востоку находились русские торговые конторы [1]).

Туземное население, которое в значительной степени смешалось со старыми русскими переселенцами, находилось все время в беспощадной борьбе с агентами и войсками Русско-американской компании, а ни для кого не было тайной, что компания является простым отделением управления так называемых кабинетских земель его величества императора всей подъяремной Руси и в том числе Аляски. Может быть благодаря примеси русской бунтарской крови аляскинские туземцы оказались очень стойким народом, единственным во всей Северной Америке индейским племенем, которое нашло в себе силы сопротивляться эксплоатации европейцев. В то время как во всей Северной Америке индейцы гибли под напором англо-саксов и теперь они совершенно почти уничтожены, в Аляске туземное население не уменьшалось, а росло — и это несмотря на бесчеловечную эксплоатацию, жестокость русского царского правительства, на экзекуции, следовавшие за бесчисленными восстаниями. Исследователи этого периода жизни Аляски (A. Kashevaroff, James Wickerham etc.) говорят, что причина такой устойчивости лежит в недоступности Аляски. Все побережье Тихого океана окаймлено горными хребтами, куда проникать очень трудно и где в лесах находили себе спокойный приют как туземные племена и потомки старых русских поселенцев, так и новые беглецы, которые постоянно пополнялись дезертирами, бежавшими из воинских и казацких частей, расположенных по побережью. Кроме того правительство перебросило в Аляску несколько тысяч поселенцев, часть из которых бежала в горы, зная, что там они найдут приют у старых русских обитателей полуострова Аляски.

Многие старые русские поселенцы, смешавшись с туземцами, забыли в течение двух столетий свой язык, но — вещь очень странная —

[1]) Russian Trading Posts of the Russian-American company. См. Alaska-Magasine, Vol. I 1927.

сохранили веру, и в самых глухих углах Аляски даже и теперь вы можете встретить молельни, где служба идет на одном из индейских наречий, но весь ритуал и вся обрядность — чисто старообрядческие.

Тип аляскинского индейца совсем не такой, как во всей остальной части Северной Америки. Несомненно, когда-то он был чистым монгольским типом, потому что по последним исследованиям видно, что предки аляскинцев пришли из Китая и принесли с собою китайскую посуду, монеты IX века и даже письменность, которая потом была забыта, но следы которой находят в старых раскопках. Затем русская колонизация с половины XVII века изменила этот тип, и часто вы встречаете туземцев с голубыми глазами, с лицом полуякутского-полуказацкого типа. Очевидно, русские сильно ассимилировались с населением и, потеряв язык, пронесли через два столетия некоторые русские черты и передали туземцам русскую устойчивость. Не надо забывать, что первые русские поселенцы бежавшие в эпоху начала раскола, а затем в эпоху Петровских новшеств, были чрезвычайно энергичными и крепкими людьми. Они сплошь все были старообрядцами, ненавидели Никона и царскую власть, и этот дух протеста гнал их на восток через страшную Сибирь, пока они не достигали тихоокеанского побережья Аляски, где климат гораздо мягче и условия жизни много лучше, чем в северной и восточной Сибири. Несомненно, тяга на Аляску была сильной в эпоху религиозных преследований, так что на Аляске было несколько тысяч русских поселенцев еще задолго до того, как императорские гербы были официально водружены в бухте Трех Святителей и Аляска сделалась одною из губерний Российской империи. В историческом музее Аляски я видел оружие, найденное в старых русских поселках, с датою 1732 г., видел домашнюю утварь — чашки и кастрюли, изготовленные еще в допетровскую эпоху.

Этим и объясняется, почему аляскинские туземцы получили такую способность сопротивления, сделались таким устойчивым народом, способным организовать отпор официальным российским колонизаторам, явившимся в конце XVIII и в начале XIX столетия. Ни пушки Баранова, ни штыки аракчеевских батальонов не могли ничего поделать с туземцами, которые в своих неприступных горах смеялись над царской властью и никогда не были покорены силою оружия.

Мне пришлось в этом году быть на Аляске, и я беседовал со старыми русскими поселенцами, потомками знаменитого Ларионова и Понаркова, которые играли роль аляскинского Пугачева с тою разницею, что не были разбиты царскими войсками, а ушли в горы после того, как Ситка была взята штурмом и повстанцы частью оттеснены с побережья. Мне пришлось побывать в Ситкинском горном округе, где находятся золотые рудники и где все фамилии и имена сплошь русские — Демидовы, Соколовы, Дежневы, Пономаревы и т. д. Там до сих пор девушки водят хороводы по старому русскому обычаю и поют старые русские песни, смысла которых совершенно не понимают, а заучивают слова и мотив из поколения в поколение по памяти.

На острове Кодиаке, где сохранились старые русские поселения, вы встретите туземцев с русскими именами и фамилиями, ни слова не знающих по-русски, но всех сплошь старообрядцев. Русское правительство насильно насаждало православие при помощи широко раскинутой миссионерской сети, подчиненной епископу Аляски и Алеутских островов. И до сих пор в Аляске остались православные церкви и имеется православный епископ. Но уж во всяком случае царские миссионеры не могли заниматься насаждением раскола. Наоборот, имеются документальные данные о том, что православные миссионеры тщательно вытравляли

раскольничий дух из туземцев и обращали насильственно не только идолопоклонников в православие, но и старообрядцев в единоверчество. Последняя попытка имела мало успеха, тогда как обращение идолопоклонников в православие дало сравнительно хорошие, с точки зрения миссионеров, результаты, и в настоящее время среди туземцев Аляски имеется около 15 000 православных. Это все плоды работы Иннокентия (Вениаминова, аляскинского миссионера и епископа, впоследствии московского и коломенского митрополита.) Иван Вениаминов — он же Иннокентий в монашестве — умел подойти к туземцам и «где лаской, где таской» заставлял переменить веру.

Обращенные в православие получали льготы в отношении различных повинностей, им разрешалось заниматься рыбной ловлей и пушным промыслом в районе операций Русско-американской компании. Эти обращенные носили название «мирных», но, как видно из исторических документов, они никогда не порывали связи со своими единоплеменниками-туземцами, исповедовавшими поклонение силам природы (так называемыми идолопоклонниками), или старообрядцами. «Мирные» при случае брались за оружие так же, как и не мирные туземцы, и в истории многочисленных восстаний и связанных с ними экзекуций «мирные» являются более страдательным элементом, так как на них легче всего и скорее всего обрушивался гнев завоевателей.

Как бы то ни было, но царскому правительству удалось захватить в свои руки тихоокеанское побережье Аляски и держать его в своем подчинении при помощи штыков своих гарнизонов. От Александровского архипелага до залива капитана Кука до сих пор видны остатки прежних фортов, укреплений и поселков.

Мне удалось побывать в этих местах и проехать по побережью на небольшом моторном баркасе. Командир или капитан носил громкую фамилию Чичагова, но происходил не от знаменитого графа, а от русских поселенцев, живших на острове Чичагова. Он, конечно, был american citizan (американский гражданин) и ни слова не понимал и не знал по-русски, кроме некоторых ругательных слов, почему-то оставшихся в Аляске со времен царского владычества. Но зато когда наш капитан выпивал самогонки, он пел «Снежки белые пушисты» на русском диалекте, а затем обязательно рассказывал про смерть своего отца, который недавно помер. Перед смертью старик Чичагов будто он сказал — Samara, Samara, Dear Russian River (Самара, Самара, милая русская река).

Предки Чичагова были из Самары после пугачевщины сосланы в Аляску, где их переименовали в Чичаговых, но кожаная ладонка с самарской землей сохранилась у Чичагова, и он до сих пор держал ее под образами. Капитан был славный малый и отчаянный руссофил. Он находил, что предки его были настоящими большевиками, что все коренное аляскинское население происходит от старых русских бунтарей, бежавших в Аляску в доцарский период ее истории или сосланных туда позднее в XVIII и XIX столетиях. Он говорил мне вполне серьезно даже и в трезвом виде, что Аляску надо присоединить к теперешней большевистской России, так как коренное ее население никогда не было покорено царскими войсками, а продажа Аляски американскому правительству не имеет никакой юридической силы.

Потомок бунтарей и ссыльных был, может быть, прав, со своей точки зрения, но едва ли с этим могло согласиться правительство в Вашингтоне.

Аляска была продана царем в 1878 г. именно потому, что не было никакого слада с населением. Была она продана за 7 200 000 долларов, т. е. за 15 миллионов рублей, а с тех пор американцы одного чистого золота

выкачали на миллиард слишком рублей, не говоря о медных рудниках, угольных шахтах, пушнине, рыбе и т. д.

Однако возвращаюсь к истории Аляски.

Русские поселения, или вернее торговые посты, были раскиданы также по западному побережью Аляски, по Берингову морю. Когда мне пришлось проехать по тихоокеанскому побережью и я просматривал лоцманские карты, я был поражен тем, что все названия были русские: Поворотный мыс, бухта Погибельная, залив Успенский и многое другое.

По реке Медной также сохранились остатки русских форпостов, так же, как вверх по Юкону, Танане и Прокопиной реке (очевидно реке Прокофьева). Но вглубь страны дальше от рек царские колонизаторы не проникали и торговля совершалась в расположенных по побережью или по рекам форпостах.

Климат Аляски значительно мягче, чем климат Сибири. Зимою на побережьи не бывает сильных холодов, но зато выпадает очень много осадков; лето бывает такое сырое, что хлеб вызревает только в центральной Аляске, где сухое, напоминающее наше забайкальское, лето. Туда не достигали царские колонизаторы, но есть исторические документы, что старые русские поселенцы в XVIII столетии с успехом сеяли там хлеб и собирали хорошую жатву. На основании этих исследований американцы построили ферму в Фербенксе и получили пять лет тому назад первую жатву.

Как я уже говорил, царские опричники, захватившие побережье Аляски, занимались эксплоатацией пушного и рыбного промысла, безудержно расхищали природные богатства страны, но не обращали внимания ни на рудное богатство, ни на земледелие. Попытки сеять хлеб на побережьи окончились неудачей, дальше вглубь страны вечная мерзлота отпугивала земледельцев, и Баранов принужден был искать хлеб южнее по направлению к Калифорнии. Несомненно он знал о том, что часть старинных русских поселенцев спустилась на юг по тихоокеанскому побережью, пользуясь для продвижения своих баркасов японским течением, которое из Японии идет к Аляске и значительно согревает ее, играя роль американского Гольфштрема, а затем идет вниз к югу по всему тихоокеанскому побережью вплоть до Мексики. Русские поселения еще с конца XVIII столетия были кое-где раскинуты по берегу Канады, Орегона и Северной Калифорнии.

Баранов организовал экспедицию, которая прошла вдоль всего побережья до бухты теперешнего Сан-Франциско и основала там крепость недалеко от впадения Русской реки в Сан-Францискскую бухту. Мне удалось в этом году посетить остатки этой крепости, основанной в 1817 г. От этой крепости — называемой ныне Fort Ross (русский форт) — осталось очень мало — два-три бастиона, старая казарма для солдат и старая русская церковь. В этом поселке живет теперь очень мало народа — всего тридцать-сорок человек, но сто лет тому назад это был центр русских поселений в Калифорнии. Вверх по течению Русской реки (Russian River) жило тогда около 400 русских семейств, привезенных из Аляски и из земледельческих губерний России. Они все имели большие наделы и занимались земледелием, сдавая хлеб представителям Русско-американской компании, которые отвозили его в Аляску.

Таким образом русские поселения в Калифорнии и в Орегоне снабжали хлебом Аляску, а Новая крепость около Сан-Франциско защищала царские интересы на Тихом океане. Русские сношения с Калифорнией, которая принадлежала тогда испанцам, а также с Мексикой были очень оживленные.

По побережью Тихого океана от Аляски до Мексики не ходило тогда иных судов, кроме русских шхун, которые совершали правильные рейсы и везли хлеб и скот на север в Аляску, а металлические изделия на юг. Вещь очень странная, но единственные тогда на побережьи литейные заводы находились в Аляске в городе Ситке, и до сих пор в старинных испанских миссиях в Калифорнии можно найти колокола, отлитые в Ситке. В Сан-Франциско в музее хранится якорь, изготовленный в Ситке на русском заводе в 1832 г.

Русские поселенцы, жившие в районе Русской реки от впадения ее в Тихий океан и испанской крепости Santa Rosa, занимались в этом благодатном климате земледелием с большим успехом.

Когда в 1837 г. под давлением испанской дипломатии царские генералы принуждены были убрать гарнизон из крепости, русские поселенцы не захотели возвращаться в Россию — тем более, что тогда в Калифорнии не было в сущности никакого правительства, а испанского губернатора русские поселенцы не признавали. Из хранящихся в Сакраменто старых документов видно, что русские поселенцы вели постоянную борьбу с испанцами и что испанцы приглашали колонистов из Америки, селили их на границе района Русской реки, чтобы таким образом задержать распространение русской колонизации, которая двигалась самотеком и неудержимо. Но испанцы ошиблись в своих расчетах, потому что русские дрались с испанцами попрежнему, а с американскими колонистами жили очень хорошо. По документам, сохранившимся в калифорнийских музеях, видно, что русские и американские выходцы часто при поддержке индейцев весьма успешно дрались с испанцами, пока не образовали полусамостоятельную республику под знаменем «медведя и звезды», находящуюся в зависимости от республики Мексики, которая в это примерно время свергла испанское иго. В калифорнийской революции русские поселенцы сыграли очень большую роль, и центром движения была именно Сонома, в районе которой они жили; а затем, когда в 1846 г. открыли золото в Калифорнии и масса американцев и разноплеменных авантюристов кинулась в Калифорнию, роль русских стала значительно меньше, особенно после того как в 1850 г. Калифорния присоединилась к Соединенным штатам Северной Америки. В прошлом году, объезжая калифорнийские золотые прииски, я посетил музей города Сакраменто, и мне попались в руки документы, описывающие историю калифорнийской революции и участие в ней русских поселенцев. Я поехал на Русскую реку, посетил так называемую русскую крепость Fort Ross — от которой, как я говорил, осталось очень мало, — и достал историческое исследование по этому вопросу.

Мне пришлось побывать в одной ферме около города Петалумы в районе Сономы, где жили потомки русских поселенцев и где был центр первой революции. Никто там не говорил по-русски, но все гордились своим происхождением и охотно рассказывали о прежних временах. Одна старушка, которая до сих пор носила платочек на голове и повязывала его по-нашему, по-российски, рассказала историю борьбы ее дедушки — русского переселенца — с испанцами за участок земли, на которой стояла их ферма. Дедушка прогнал испанцев, как маленьких собак, — говорила она, — а они пошли жаловаться в Монтерри и сказали судье: «Как можем мы с ними (с русскими) бороться, когда при всяком случае берутся за оружие, объясняя это тем, что не понимают по-испански?». Вот каковы были тогда наши, — говорила старуха и очень была довольна, когда я заверил ее, что у нас, в Советской России, тоже винтовка из рук не валится, и мы тоже умеем как следует защищаться.

Когда Gringo (насмешливое прозвище американцев) утвердились в Калифорнии и там было открыто золото, Калифорния не могла больше быть житницей для Аляски.

Население Калифорнии, если и занималось хлебопашеством, то хлеба нехватало и для самого штата, так как десятки тысяч заняты были добычей золота. Эта золотая болезнь увеличила население Калифорнии в 20 раз в течение такого же количества лет, — выросли такие сказочные города, как Сан-Франциско, Сакраменто и другие.

Аляска отходила на задний план, и для нее хлеба достать уже было почти невозможно. К тому же хищническая политика царской власти привела к тому, что пушные и рыбные богатства шли к концу и Русско-американская компания не могла уже приносить прежних сказочных дивидендов, а о залежах золота, меди, и угля она не имела представления.

Крепостное право, которое было отменено в России в 1861 г., еще оставалось в Аляске, что продолжало служить причиною волнений и восстаний. Необходимость держать сильные гарнизоны стоила очень дорого, и в конце концов царские генералы решили отделаться от бездоходной, по их мнению, и к тому же бунтарской окраины и продали ее в 1878 г. за 15 млн. рублей.

Это была непроходимая глупость, но население с восторгом приняло новую американскую власть, в то время демократическую по сравнению с царским держимордовским режимом. Уже то обстоятельство, что царских полицейских сменило выборное начальство, ходившее в штатском платье, и что даже губернатор был тогда выборным (теперь он назначается из Вашингтона), — все это нравилось населению и заставляло с восторгом принимать новых владык. Но года шли и вместо открытой и бесцеремонной эксплоатации под императорским орлом население получило не менее беспощадную зависимость от американского капитала — променяло двуглавого орла на одноглавого.

В Аляске выросли гигантские золотые рудники, фабрики, заводы, открыли медь, уголь, построили лесопильные заводы, железные дороги, открыли рыбные промыслы, пароходное сообщение по рекам, но население коренное, полурусское — полутуземное население нимало не выиграло от этого.

Покидая Аляску, я посетил последний из русских городов —город Врангеля [1]. Там стоят еще до сих пор остатки грозных когда-то русских редутов в крепости Врангеля. Николай С. — потомок старых русских поселенцев с большею примесью индейской крови — смотрел на старые бастионы и говорил:

— Эти крепости держали наш народ в страхе. Ушли царские сатрапы. До сих пор вспоминаем мы Баранова, его тюрьмы, кандалы и нагайки. А теперь? Вы думаете, много лучше жить народу? Вы думаете, Гугенгеймы лучше Барановых? Ничуть не бывало. Народ так же задавлен, народ так же работает, может быть хуже, может быть еще тяжелее эта работа на проклятых золотых рудниках и фабриках, в угольных и медных копях.

— А что делать? — спросил я.

— И вы еще спрашиваете? — возмутился старик. — А что вы делали у вас в старой России в 1917 году,—вы забыли?— И он сердито пошел на пароход, не оборачиваясь на суровые валы старой русской крепости.

---

[1]) Врангель был путешественником, открывшим много новых земель и островов. В его честь один из городов в Аляске назван его именем.

ЗА РУБЕЖОМ

Стамбул и Турция.

П. Павленко.

Турция в Стамбуле.

Без Стамбула нет Турции. Надо писать о Стамбуле, чтобы рассказать о Турции. К слову сказать, мы почти его не знаем, как очень дурно знаем все другие великие города своих восточных соседей, но даже и в том случае, когда мы их знаем, то чаще всего только в плане историко-экзотическом или гео-архитектурном. В то время как Риму, Венеции или младшим городам итальянского возрождения посвящены многие томы прекрасных исследований, в то время как изучены и выучены напамять все улицы и площади старого Парижа, описаны все его древние камни, люди, жившие на этих камнях, и события, имевшие место среди этих людей, — в то же самое время Стамбул уходит из жизни с биографией, в которой положительно недостает очень многих важнейших данных историко-художественного порядка.

Стамбул — не Рим, не Париж, не Венеция эпохи Ренессанса, к которым мы попрежнему сохраняем горячую привязанность, трогательную любовь и почтительное уважение за эпоху Возрождения, от которой к нам проложены действенные пути. Стамбул есть Стамбул, одиночка и пасынок в европейской жизни, начиная с XV века, с того дня, когда пушки венецианца Урбана помогли Магомету Второму занять и надолго изолировать от Запада Париж средних веков, столицу мира — Византию.

История запоминается в сказаниях, делается в романах и передается в потомство в песнях, и вот этих «человеческих» сказаний и анекдотов, канвы для исторических романов и песен, где бы отразились настроения минувших дней, не знает история того Стамбула, который нам представлен в книгах, доселе о нем написанных. Стамбул — пейзаж, Стамбул — экзотика, и наряду с этим ни одного исторического имени, как будто камни старых мечетей да развалины византийских дворцов были его единственными обитателями.

Его история сделана людьми, имен которых мы не знаем, не слышали и не встречали на страницах своей и общей истории. Его улицы строили и заливали кровью герои чужих и неизвестных нам эпопей; в домах его жили люди, о которых не рассказали нам ничего ни Лоти, ни Фаррер, так будничны и незанятны были они, эти люди, на взгляд поэтов.

Но героизм есть везде, где есть борьба. Стамбул же знал тяжелые и шумные борения, он видел широкие кровавые реки, и призрак социальных восстаний не раз потрясал холодный мрамор его «парадизов».

Когда впервые подъезжаешь к Стамбулу с северной стороны Босфора, от Черного моря, — замечаешь в себе резкое разочарование.

После экстатических описаний города, сделанных и Теофилем Готье, и Элизе Реклю, и Фаррером, и нашим Буниным, хочется видеть нечто, особенно поражающее разум, непохожее на обыденность. Хочется видеть не просто минареты, а целый лес минаретов. Не обычное зарево заката, а такое, как в аравийских и африканских песнях, — кипящее золотом небо и симфонию розовых и голубых шелков, благоухающих амброй и миррой. Хочется видеть не просто город, а биржу культур, паноптикум многих цивилизаций, ибо все народы оставили следы своего пребывания на этой узкой полоске земли, где завязаны в мертвый узел столбовые дороги мира.

И видишь буднично-обычный город, эту Гоморру сегодняшних дней, где турки-полуевропейцы и европейцы-полуосманы сообща делают шумную жизнь, в одинаковой мере далекую как от классической старины восточных идиллий, так и от новизны сегодняшнего свежего дня.

Пароход медленно волочится по Босфору, степенно подбираясь к гранитной стенке пристани. Стамбул глядит на Босфор коробами железобетонных уродов и дрянью рыжих деревянных домиков витебской или минской архитектуры. Заслоняя внутренний город от моря, железобетонные домища сушат за своими фасадами анемичную экзотику старого Стамбула.

С парохода видно, как бегут по набережной Фундукли трамваи, слышен рев лебедок в порту, у пристаней, рядом с окнами безлюдных дворцов падишаха. Провода телефонных линий протянулись над минаретами и завязали над ними паутину посредственной банальности.

Мрамор дворцов не купает ступеней своих в волнах Босфора, как уверяли нас Фаррер и особенно Бунин. Не мрамор, но дерево. Старое рыжее дерево «конаков» и парадизов в оправе густых садов очень весело брыжжет уютом. Дворцы из мрамора одиноки, их окружают пустыри в гнойниках запустения и бедности. Лишь в Терапии мрамор чаще, здесь в старых добротных садах прячутся виллы князей Ипсиланти и виллы Круппа, а на краю берега, у самой воды, возносится грузный остов Зоммер-Паласа, и от него до Бебека, в дворцы старой хедивши, долетают осколки фокстротов, дробь трамвайных звонков и собачий лай вездесущих фордов, ободранных, как самый последний хаммал [1]).

Река Босфора долго идет крупными кольцами, тасуя азиатский и европейский берега свои, и вдруг широким раструбом вливается в воды Мармары. Сюда же протискивается и водный клин Золотого Рога, несущий пресную желтую муть из артерии Сладких Вод. Вокруг широчайшего озера раскинул гранитные шатры свои триединый Константинополь (Пера — Стамбул — Галата), Цареград, Ворота Мудрости.

На борт поднимается полиция. Рев пристани охватывает пароход. Густой запах карболки из отхожих, гарь пароходных топок и пряный дух нечистот на воде, соединяясь вместе, образуют воздух прибрежной Галаты, встречающей и провожающей корабли, — той Галаты, которая здесь делает дела, как самый настоящий Марсель.

Узкие смрадные улицы, запах грязи и бедности. Автомобиль, дергаясь по всем своим суставам непонятной икотой, ковыряет улицу за улицей, стремясь врезаться в человеко-машинную кашу на площади Кара-Кей, где связаны улицы всей Галаты и пути к Пера и куда приткнулся новый мост через Золотой Рог, ведущий в здешнее Замоскворечье — в Стамбул, в узком значении слова. Собственно Стамбул — один из трех городов-кварталов, составляющих единое, общее — Константинополь.

[1]) Хаммал — носильщик тяжестей.

Стамбул — город, лежащий на месте древней Византии, Пера, выросшая на развалинах генуэзских колоний, и напротив них, через Босфор, в Азии — Скутари. Эти три квартала, в каждом из которых по 400 000 человек коренного населения, составляют Константинополь. Революция в числе прочих вещей изменила и имя города и вместо греческого присвоила ему имя турецкого (и древнейшего кстати) квартала. Стамбул-квартал теперь называют старым городом — Эски-Стамбулом.

На площади Кара-Кей арбы, телеги, вьючные ослы и медлительные верблюжьи караваны тасуются с автомобилями новейших марок и черными реками пешеходов. Полицейский — кусок узорчатой темной бронзы — величественными мановениями деревянного жезла спокойно распутывает сумбур эпох и направляет капиталистический фордизм к кварталам Перы и посылает караваны в темные проходы Галаты, к амбарам и пакгаузам пароходных компаний.

Площадь Кара-Кей вся усажена лавками сарафов [1]), банкирскими и коммерческими конторками, будками комиссионеров и факторов. Здесь же — биржа (только недавно она перенесена в старый Стамбул). По рю-Войвода — узкому суставчатому каналу, стены которого выложены вывесками разноплеменных банков, в пыли и грохоте, ползет человеческая лавина на холм Перы — в ту европейскую часть города, где живут иностранцы, где расположены их посольства, клубы и рестораны. Во времена византийские на месте нынешней Галаты ютились фактории генуэзских купцов и верфи их мореплавателей. Генуэзцы окружили Галату каменной стеной, холм Перы (Бей-Оглу по-турецки) остался вне стены безлюдным лесом на черствых, каменных уступах. Османы, покорив Византию и генуэзскую Галату, вспахали леса Бей-Оглу заступами могильщиков и вырастили широкие бахчи гранитных памятников с арбузоподобными верхушками и назвали его «Полем мертвых».

Потом, когда исчезли последние крохи галатских стен и в их внутренних кварталах поселились новые люди, разбавившие свою венециански-генуэзскую кровь темными соками цыганских баронов и галицийских евреев, кипарисовые заросли Перы превратились в виноградники галатских трактирщиков. «Поле мертвых», от которого осталось несколько древних кипарисов по рю-Кабристан, где каменеет громада английского посольства, и возле сада Пти-Шан, покрывало своими надгробными камнями пространство от площади Туннеля до дальних кварталов. Французский посланник шевалье де-Жерминьи барон де-Жерноль первый выстроил летнюю виллу в кипарисовом «Поле мертвых».

Еще в 1871 г. Пера не знала другого экипажа, кроме носилок. Теперешняя Гран-рю-де-Пера утыкалась в густой лес сейчас же за площадью Таксим, а в кварталы Шишли христиане, — т. е., проще говоря, греки и армяне — заглядывали только скопом, чтобы уберечь своих жен от турецких солдат. В 1871 г. в столице Блистательной Порты экипаж был курьезом, передвигались пешком, верхом и на носилках. Какой-то француз попытался пустить линейки между Пера (центром нового города) и Киатханэ (предместьем, турецким Версалем XVIII века), но быстро отказался от этой затеи, так как единственная дорога оказалась непроезжей. Лет через пять другая компания пустила омнибус до Шишли — один из самых богатых кварталов сегодняшней Перы, — но тоже прекратила дело, так как левантийцы не решались выходить на прогулку так далеко, турки же были слишком скаредны для автобуса. В те времена

[1]) Сарафы — менялы.

Шишли было покрыто густым лесом, в стену леса упирались последние городские улицы.

Выдравшись из канала рю-Войвода авто, обрызганное водяной пылью из труб станции подземной дороги, сейчас же снова вдирается в еще более узкую щель Гран-рю-де-Пера — в щель самой богатой и красивой улицы всего города, в которую вмазаны витрины чудесных магазинов, фасады особняков и мраморные груды величественных посольских палаццо. Пыль, дрожание воздуха от говора и автомобильных рожков, вспарывание воздуха иглами трамвайных взвизгиваний, звонки сууджи (продавцов воды), примененные как реклама и действующие наоборот — как возбудители водобоязни, щелканье извозчичьих бичей и извозчичьи окрики вместе с запахами чеснока, пота, духов и помоев настолько забивают сознание, что глаза не успевают ничего видеть, сознание не ухитряется ничего запечатлеть. Но вот через час, через два, после ванны, в удобном номере французского по внешности, а по духу армянского отеля, какого-нибудь «Токатлиана» — собственности армянского патриархата — или «Пера-Палас», еще по-старинке гордящегося своей номерной историографией с именами английских лордов, после чашки липкого кофе, замечательно освежающего внутреннее зрение, пыльный угар Гран-рю-де-Пера уже перестает занимать все ваши органы чувств. Вы чувствуете себя в городе из не очень богатых фантастикой сновидений, в городе, улицы которого — простая окрошка из улиц старого Тифлиса с его коврами, шашками, серебром и татарскими харчевнями на Майдане и улиц громкокипящей довоенной Одессы.

Глаз россиянина радуют вывески. Приятно, что портной Ёмтов с сыном говорят предпочтительно по-немецки согласно особому объявлению о том в окне магазина, что Иткин и Блюм культивируют стиль «Матло» и шьют костюмы в течение 24 часов, что ювелир Магарам — сторонник широчайшего индивидуального кредита, а меховщик Джорджио Мандель, хоть и украсивший вывеску эмблемами итальянского фашизма, попрежнему остается внимательным слугою своих российских — о, конечно, советских, — и ни каких других! — клиенток.

Из ресторана «Карпыч» русский язык звучит на добрую половину Гран-рю-де-Пера, до маленькой темной улички Панайя-Сокак, откуда начинается засилье новых русских групп, базирующихся на ресторан одесского баловня Сашки Пурица «Тюркуаз» и кавказский кабачок Тиграна, скромно именующийся «О бон гу».

Русские разделили Перу на княжества и княжат и володеют ею. Русский язык преобладает даже в нерусских областях Перы, сиротливо вклинившихся в славяно-одесскую равнину, — он слышен и в шантанах Максима, и в барах на рю-Кабристан и в веселых домах на рю-Венедик, гнилостной речушкой мелких кофеенок и подозрительных лавочек впадающей в Гран-рю-де-Пера, как раз напротив рю-де-Полонь — улицы французского посольства. Рю-Венедик и рю-де-Полонь, еще хранящие между грязными тушами своих веселых домов куски старых, рассыпающихся в труху строений, были когда-то улицами сиятельных колонизаторов из Венецианской и Польской республик. Церкви св. Марии и св. Антуана, поднимающиеся по бокам французского посольства, выстроенного на месте прежней виллы шевалье де-Жерминьи, само здание посольства и эти две вонючих венецианско-польских улички были когда-то наряднейшим центром всей Перы, и путешественник делла Валле, посетивший Константинополь в начале царствования Людовика XIII, в очень ярких красках описывал красоту и строгость этого латинского квартала в восточной столице.

Сейчас на рю-Венедик торгуют девушками. В пыльных кофейнях развешивают «коко», и коты здесь вслух читают письма из Рио-де-Жанейра о судьбе своего товара. Вечером, когда над пыльной улицей Пера квокчут фокстроты в русских шантанах — в «Ша Нуар», в «Роз Нуар», в «Туранс», когда в чудесных синема, под иллюстрации русских оркестров, развертываются боевики, — на рю-Венедик, очень темной, очень пахнущей гнилью, очень неровной, словно выгнутой в спазме, быстро двигаются фигуры женщин, приглушенно хлопают двери подъездов, перекликаются лающими голосами хозяйки домов. Прохожий встречает здесь дикое и исступленное внимание, из каждого окна ему тихонько посвистывают, прицокивают, поют полураздетые девушки. Иногда рю-Венедик оглашается пронзительным воплем, это безыменный нож, недавно отточенный на булыжнике мостовой, вспарывает хлябь чьей-то неподатливой плоти, — тогда полицейские покидают кофейни и быстро тушат палками и кулаками этот крик, чтобы за углом, в русле большой улицы Перы, могли бы спокойно продолжать плавание корабли обывательских колонн.

— В Константинополе домов разврата гораздо больше, чем жилых,— говорят здешние европейцы.— Это мировая биржа живого товара.

Судя по Лондру с его «Рынком женщин» Константинополь даже в этой старейшей отрасли своего коммунального хозяйства утратил былое и когда-то действительно мировое значение.

В первые дни, когда все еще кажется сумбурным и еще непонятен город, неясны его языки и непонятны нации, его населяющие, в эти первые дни русский человек жмется к местам, где он слышит русский говор или так называемый французский с сильным уклоном к нашему родному жаргону.

Через несколько дней этот чад начинает рассеиваться, и приезжий свежими глазами оглядывает раскинувшийся перед ним мир. Тогда ему начинает казаться, что он еще собственно не в Константинополе, а где-то возле него, и будто живет он на своей Гран-рю-де-Пера, как в каком-нибудь русском городке, граничащем со Стамбулом.

Тогда он начинает экскурсии за рубеж, в улицы, где, как ему кажется, течет самобытнейшая турецкая жизнь. Но, пожалуй, еще раньше действительной жизни внимание занимает старина.

И вот он ищет. Бедекер стоит недорого, в Бедекере около двухсот страниц убористого шрифта, и любознательный путешественник выбирает из него места особой, хрестоматийной значимости.

Занятия стариной.

Конечно в первую голову Айя-София и старый сераль султанов, где в прогорклых и смрадных комнатах отжили целые поколения страстей и трагедий, где можно поглядеть — в гареме — школу «пэри»: две крохотных комнатки, убранные коврами и плетками, с мраморной азиатской уборной; видеть чудесную мозаичную безделку — Багдадский киоск, киоск любви, и перед ним бассейн с грязной зеленой водой, когда-то служивший ареной для сладострастных интриг султанских наложниц. Потом, конечно, музей, — музеев немного, два-три, — за музеями византийские руины или храмы и попутно, между остатками дворца базилевсов и мозаиками Кахрие-Джами, несколько взглядов с птичьего дуазо на картины оттоманского средневековья.

Даже при особом усердии это обычно занимает немного времени, и через три—четыре дня старье Византии и Стамбула кажется узнанным до границ и разгаданным полностью.

Бедекер приучает путешественника шаблонизировать самые свежие восприятия. Чудеснейшая громада Айя-Софии, хранящая на своих стенах, в морщинах своих порфировых колонн, в облупленной мозаике сводов пленительное очарование неумирающего искусства, сразу же перестает привлекать к себе внимание свежего путешественника, заряженного ожиданием какого-то сногсшибательного фокуса и встречающего всего лишь холмоподобный, каменный храм, памятующий за собою каких-нибудь четырнадцать человеческих столетий, отложившихся морщинами и прелью на остатках ее славной мозаики.

Подземный дворец Ере-Батан, обшитый яркими пуговками электрических ламп, это гнилостное, подземное водохранилище Византии, даже в обработке легендоподобных анекдотов Бедекера — о подземных ходах, царских сокровищах, некогда спрятанных здесь, — не способен занять свежих глаз более получаса. Тогда в расстроенном отступлении любознательских настроений путешественник уже нехотя фиксирует остатки ипподрома с обелисками, семибашенный замок — византино-стамбульскую Бастилию, — на миг влетает в развалины Текфур-Сарая, в мечети Баязета, Сулеймана Великолепного, Магомета-Завоевателя; вихрем, разбрасывающим по сторонам никелевую пыль пиастров, проносится по узким проходам крытого рынка — Чарши, где рокот наречий, звон медников, взбивающих воздух в гудение колокола, запах яств и пряностей, краски ситцев, шелковых шалей и ковров, мешаясь в единый калейдоскопический хаос, ткканят лубок восточной действительности.

Несколько большее внимание удерживают на себе мозаики Кахрие-Джами, где лики святых идолоподобны, где Иисус и Мария еще пылают нежным румянцем сквозь пыль и прах разделяющих их от нас восемнадцати столетий.

Венцом туристских достижений почти всегда являются Эйюб в глубине Золотого Рога — и скутарийский город мертвых — на азиатском берегу Босфора.

Белые пальмы минаретов и кудрявая, нежная зелень кладбищ, расположившихся между домами, придают Эйюбу, этой наипочитаемой лавре турецких магометан, святой земле, могиле Магометова знаменосца Эйюб-Ансара, куда еще не так давно не смела ступить нога иноверца, особенный уют и особенную, чисто турецкую старосветскость, всегда подкупающую сумеречно-ласковыми чертами своего неторопливого брожения в жизни. Пьер Лоти начал знакомиться с Турцией отсюда, из Эйюба, его домик на пороге «святой земли» был очень удобным наблюдательным пунктом. Теперь этот домик сгорел, да будь он и цел, — он не понадобился бы сейчас новому бытоисследователю. Как скутарийский Буюк Мезеристан есть город мертвых, так Эйюб — кладбище живых и очень ненужных людей. Краски старого быта, интересовавшие Лоти, сгущены сейчас в других, еще не окончательно отмерших местах.

После Эйюба и многовековых скутарийских кладбищ обычно кончают ознакомление со стариной и тотчас, без всяких историко-социальных модуляций, обращаются к познанию быстротекущего дня, как он есть, — в шантанах на рю-Пти-Шан и в босфорских виллажах, в кофейнях, в конторах и, конечно, в синематографах на Гран-рю-де-Пера.

Турки почти не знают византийских памятников. Когда константинопольский префект вздумал — порядка ради — разрушить старые стены Стамбула, возражения были лишь в том смысле, что эта мера просто невыгодна: она может лишить город туристов и, следовательно, заработков. О сохранении стен взволнованно побеспокоились европейцы и левантийская греко-армянская буржуазия. По пятницам летом, когда город ско-

пом выезжает «на воздух», быстрые «шеркеты» [1]) развозят турецкую публику куда угодно, только не к старине, хотя она и живописна гораздо более, чем новые места отдыха и дремотности.

Я никогда не встречал ученических экскурсий в Айя-София, в Кахрие-Джами, у виадука Валента. Турецкий художник никогда не останавливался на живописании византийской старины. Археологи занимаются ею по необходимости. Потому что ни что другое еще не вбито столетиями в землю. Чудесный журнал «Visantina» издает (собственно перестукивает на ротаторе) монах из Кади-Кея, католик. Его сотрудники — несколько англичан и безработный русский фотограф.

Самое простое объяснение в том, что греко-латинская старина в некотором роде реакционна для турецкого патриота и что не в ней берут свое начало воды исторической Турции.

Но есть старые, грязные, почти не посещаемые туристами кварталы в самом Стамбуле, в Галате, в оврагах Бешикташа и Мачки, в древнем патриаршьем городке Фанаре, близ Эйюба, где сегодняшний быт и камни генуэзцев и французских колонизаторов времен Генриха Третьего все еще живут единой жизнью мощеподобных пережитков с дикой и варварской нелюбовью ко всему, что не вмещается в железный, навеки замкнутый круг их простых жизнеприятий. Сюда нужно ходить не для того, чтобы вдыхать запахи старины и ее истории, ибо люди здесь стерли все запахи каменной давности, но единственно для того, чтобы на примере столкновения множества эпох и разительных эпохиальных нравов, населяющих эти места, и по сю пору действенных, видеть своими глазами и слышать своими ушами путь Стамбула от бивуака кочевых османских орд Магомета Второго до колыбели Блистательной Порты и дальше — до опального аристократа последней республики, дерзко перенесшей свои шатры в Азию.

В закоулках вокруг Юксек-Калдрым — лестничатой улицы из Перы в Галату, — в генуэзских палаццо, офранцуженных лет четыреста тому назад и еще хранящих следы крестов на стенах, — живут и разводят бедность таборы галицийских евреев, странников, беглецов, выселенцев или просто искателей счастья и вечных неудачников. Их крикливые муравейники гнездятся в мрачных домах вокруг Сан-Пьер-Хан — когда-то резиденции французского посла, — они серой коростой сжимают этот багрово-коричневый костяк французского прошлого на Босфоре, и грызут и разламывают твердые корки дома, где родился Анри Шенье — левантиец, умерший французским поэтом. Экзотику левантизма и с нею экзотику страшной жизни довоенного султанского Стамбула следует ловить и отцеживать здесь, где родились цыганские бароны Блистательной Порты, ее сарафы и предки ее финансовых гениев времен султангамидовского кошмара.

Испанские евреи не живут в этих кварталах, они враждебны галицийским и польским, — только румыны да болгары еще пытаются селиться рядом с последними.

Нужно видеть также площадь Баязидиэ, окованную гранитом и мрамором новых зданий и убранную аграфом кокетливого бассейна с пышными хвостами фонтанов. Сюда по пятницам приходят толпы стамбулистов, чаще — женщины, усаживаются на корточки возле бассейна, вдоль стены двора Сераскериата или у двора мечети Баязета, грызут

[1]) Шеркеты — пароходы пригородного сообщения.

засахаренные орешки и подсолнухи и, болтая о пустяках, в приятном ничегонеделании проводят весь долгий праздничный досуг.

Нужно видеть площадь Баязидиэ в праздник, когда она заплескана толпами, и в праздник же пройти в мечеть с уютным мраморным двором, выложенным плитами из Юстиниановых капищ, чтобы поглядеть на неповторимо чудесных стариков, торгующих в будках из тонких дранок снадобьями и ароматическими маслами. В Эйюбе мастера ароматов знаменитей здешних, те действительно знают толк в законах своей хитро-умной науки, но эти — во дворе мечети Баязета — славны другим; они не столько истриаджи, сколько фалджи, не столько мастера ароматов, сколько мастера снотолкований и знахарства. Их будки — гадательные лавочки. Снадобья и ароматические масла — лекарства. Их стоит и нужно поглядеть. В лавочках на дворе мечети родились гениальнейшие из турецких поэтов XVI века, — поэзия выросла из искусства толкования снов и раскладывания пасьянсов на рассыпанном песке.

Эйваз Зати — Карамзин турецкой поэзии, первый критик, лирик и отец романтической поэмы, родился в Малой Азии, в городке Балакиссоре, в семье сапожника. Сначала тачал чувяки, а потом ушел за счастьем в Стамбул. Здесь, поднеся панегирик султану Баязиду, он быстро получил благоволение при дворе. Однако придворным пиитом Зати не удалось сделаться. Был он некрасив и глух, любил частенько выпить и тогда держался действительно «сапожником». Зати открыл гадательную и талисманную лавочку во дворе мечети Баязида. Лавочка быстро сделалась литературным клубом, — сюда приходили со своими стихами начинающие поэты для того, чтобы представить на суд Зати плоды своей юной музы. Зати делал учительские замечания и даже, по просьбе молодых поэтов, поправлял их стихи.

Уважение к авторскому праву было в тот век не очень распространено, и Зати, бывало, не стеснялся поправить чужие стихи, да и пустить их в ход как продукт своего творчества.

Случалось, молодые поэты протестовали.

— Ну кто тебя знает как поэта? — огрызался тогда Зати, — а у меня, — вот, посмотри-ка, — их целый диван [1], которому предстоит бессмертная слава. Радуйся, что твой стишок, попав в мой диван, дождется бессмертия!

К чести Зати следует сказать, что своих лучших учеников он выводил все-таки в люди. В числе начинающих стихотворцев, посещавших лавчонку Зати, были Моххамед Фезли, ставший отличным поэтом, и Хыяли, будущее придворное светило в стиле нашего Тредьяковского, и, наконец, Бакы, Молла-Махмуд-Абдулла Бакы, сын муэдзина при мечети Фатих, седельщик, автор бессмертных касид и газелей, недосягаемый гений лирики, подобно Фузули из Багдада или Гафизу.

У профессора Крымского чудесно рассказан эпизод встречи маститого Зати с еще начинающим, никому неизвестным Бакы. Он принес одну из своих первых газелей в пресловутую гадательную лавочку у Баязидовой мечети. Видавший виды, строгий и к тому еще глухой критик Зати, прочитав газель и взглянув на скромного юношу, который стоял перед ним, безапелляционно решил, что эту превосходную газель тот, конечно, где-нибудь украл, и он заметил юноше, что литературное воровство — самое постыдное дело. Этот разговор впоследствии не помешал Зати кое-какие стихи юного собрата своего внести в свой диван. Когда его уличили в этом, он отвертелся шутливым замечанием, что у такого богатого поэта, как Бакы, не грех и украсть.

[1]) Диван — сборник стихов.

Площадь против другой мечети Сулейманиэ памятна тем, что здесь родилась профессия кофейщика. В XVI веке места вокруг Сулейманиэ были чем-то вроде Латинского квартала, здесь жили студенты и военная молодежь, а конак главы янычаров привлекал сюда все недовольные элементы. В кофейнях на площади Сулейманиэ собирались для бесед молодые реформаторы, там произносились политические речи, вырабатывались пламенные проекты спасения родины.

Эти кофейни, как рассадники вольнодумства, были закрыты султаном Селимом II, но после заявления дервишских старейшин, что потребление кофе само по себе не заключает ничего аморального, они вновь были открыты, и с тех пор вопрос о их закрытии не поднимался. И теперь в них, на самом видном месте, висят в рамках под стеклом каллиграфические арабески, гласящие: «Добродетельный Шазилли — наш покровитель и наш отец». Шазилли — это тот, кто отстоял перед султаном право народа на кофе.

Очень часто, но теперь больше только в провинции, кафеджи и цирюльник — одно лицо. Кофе и чайник горячей воды для бритья кипятятся рядом.

Следующим занятием по старине должно явиться усвоение некоторых основных формул.

Первое: в 1893 г. ни в одном бюро, ни в одной конторе еще не было ни шкапов, ни секретеров, ни этажерок. Дела хранились в кованных сундуках и каждый вечер уносились и запирались в подвал, а утром извлекались опять наверх. Это — инстинкт кочевого народа, готового в любую минуту сняться со своими канцеляриями (для перетаски сундуков при учреждениях состояли целые армии хаммалов).

В 1871 г. культурная Пера кончалась за площадью Таксим в теперешнем центре европейского города, а там, где сейчас квартал лучших особняков — Шищли, — стоял еще густой лес.

Передвигались пешком и на носилках, не имея понятия о существовании экипажей. (Омнибус, пущенный каким-то французом в 1876 г. между Шишли и Киатханэ, прогорел по причине бездорожья, а между тем Киатханэ было в XVI веке своего рода турецким Версалем.)

Второе: Стамбул горел бесчисленное количество раз. Еще и сейчас широчайшие «лысины» пестрят среди моря его домов, это следы ежегодных пожаров, ликвидирующих одним махом 300—500—1000 домов.

Страна «Великого Турка» была деревянной. От дней Блистательной Порты почти не осталось бытовых памятников, — конаки великих визирей и киоски султанов, поражавшие глаза европейцев, либо погорели, либо рассыпались в щепы. Рядом с этим недолговечным великолепием гранитный холм Айя-Софии представляется каким-то доисторическим явлением, непонятным и чуждым в своем упрямом бессмертии. Недолгое бытие турецких исторических памятников быта определяет в свою очередь очень недолгую память о прошлом. Гранитные страницы Текфур-Сарая и Кахрие-Джами выдерживают память множества поколений, в то время как деревянная летопись Бешикташа не переживает и одного человека.

Великая бездна исторической беспамятливости отделяет сегодняшнюю Турцию от старины веков ее расцвета и мощи.

Третье: огонь пожаров, слизывая тысячи домов, выжег все воспоминания и вытравил в быту все следы их о временах допожарных. Над бытом подобно огню в дремучем лесу тридцать три года свирепствовал вихрь султанской тирании.

Все страшные басни дальних лет и все рассказы палаческого жанра от Магомета Второго были повторены в жизни при кровавом последнем султане.

Тридцать три года стирал он порками, налогами, каторгой и провокацией память о некогда бывшей до него жизни, чтобы нельзя было ни с чем сравнить ту, которую страна вела при нем, потому что ничто самое страшное, дикое, нелепейшее до него не могло пойти в счет с переживаемым кошмаром. Людям стало казаться, что в их национальном бытии никогда не было ничего другого кроме «практики» Абдул-Гамида. Льстецы приписывали ему все славные деяния предков. Хулители извергали на его голову проклятия за преступления всех бывших до него деспотов, связуя их в парафразах и вариациях с его именем.

Тридцать три года величайшей, гениальнейшей провокации с престола — такая школа, значением которой для всей страны, для двух по крайней мере молодых поколений, нельзя пренебречь. Царствование Абдул-Гамида дало Пьера Лоти и соблазнило на «добродетельную» экзотику Фаррера, выдвинуло из грязи уголовного дна на самые верхи общеевропейской политической жизни карманных «специалистов» и уголовников, создало балканский, армянский, да и вообще весь восточный, вопросы и привило жизни Турции характернейшие черты того ложного экзотического ориентализма, который при нем культивировался искусственно, как обязательный.

В Илдыз-Киоске царили удивительные нравы. Абдул-Гамид специально изучал химию для того, чтобы исследовать свою пищу, не отравлена ли она. Из кухни обед подавался ему на блюдах, покрытых черным шелковым полотнищем, скрепленным углами под блюдом и запертым печатью главного начальника кухни.

Существовали должности шефов тюфяка и молитвенного коврика, личного кафеджи султана и толкователя снов. Шеф тюфяка ведал султанской периной, он отвечал за ее мягкость и отсутствие в ней отравленных игл или гвоздей. Шеф молитвенного ковра оберегал от дурного глаза намазлик Абдула-Гамида. Снотолкователь расшифровывал сны и являлся негласным советником в государственных делах.

Хорошие шефы перин и ковриков получали под старость лет места губернаторов в Анатолии, а последний из снотолкователей Абдул-Худа закончил свою карьеру в качестве концессионера султанской фабрики искусственного льда в Бейруте, получив концессии за удачное лечение султана от старческого бесплодия. Ибричи (водолей) Кямиль-бей завершил свой жизненный путь посланником, а седжаделжи-баши (шеф молитвенного ковра) Иззет-бей оказался одно время в роли государственного секретаря.

Абдул-Гамид ежедневно прочитывал до 5 000 донесений «журналистов» — шпионов со всех концов своей страны. После него слово «джурналист» стало синонимом нечестности. Выдумав оригинальный способ награждения приближенных женщинами из своего гарема, султан моментально приспособил эту меру к задачам шпионажа. Даря пашам и визирям жен своих, он напутствовал последних утешениями, что если они будут себя хорошо вести на новом месте, будут сообщать в Илдыз о всех мыслях и поступках своих новых супругов, то они могут рассчитывать на возвращение в Илдыз.

Этот порядок порождал болезнь наговоров. Сытая и богатая жизнь султанского гарема влекла к себе женщин. Чтобы вернуться, они выдумывали заговоры, преступления, шли на подлоги. Но награждаемы были не часто.

Три одалиски, — «обслуживавшие» по выбору самого султана дорогого гостя Вильгельма II во время его недолгого визита к Абдул-Гамиду и исправно доносившие во дворец о каждом шорохе в императорских комнатах, — были задушены сейчас же после отъезда германского императора.

В одном Константинополе султан имел до 30 000 шпионов. Великий визирь должен был иметь столько же, чтобы следить за своим господином и за его шпионами. Каждый иностранный посланник и каждый иностранный банк имели собственных шпионов.

Турецкий язык был языком базара и притона. В учреждениях, в салонах, в школах царила французская речь. В школе — будь она английской или шведской, — французский язык был основным, школьники заучивали напамять стихи Виктора Гюго и писали характеристики героев «Собора Парижской богоматери».

Стихи турецких поэтов жили признанной жизнью лишь в старых гаремах да у нянек. Гаремы вообще сыграли большую роль в сохранении национального. Народные песни и стихи турецких поэтов, музыка и танец выжили благодаря гарему. Первыми поэтами и министрами были гаремные евнухи, итальянцы Гуателли-паша и Доницетти-паша — композиторы — первыми учениками имели евнухов. Евнух Хаджи-Аариф — один из первых популярнейших композиторов и поэтов.

Литература и ее люди.

Самый значительный и популярный турецкий писатель — это Поль Бурже. От него все качества. Он, Поль Бурже, — та морская пена, из которой однажды вышла Афродита оттоманского психологического романа.

Как искусство «Карагёза» родилось из Комедиа дель арте, механически перенеся к себе ее старые традиции и персонажи, так литература начала с точных и вольных переводов, толкований, подражаний и переделок французского романа.

Старый редактор очень бедной «субботней» (по-нашему — понедельничной) газеты «Ресюмли-Джума-а», Сулейман-бей, начавший жизненную карьеру свою в качестве шифровальщика при личной канцелярии Абдул-Гамида, сын кормилицы султана Мурада V и его молочный брат, поздним вечером на Мехтаб-Сокак, где иногда собирались у меня газетчики, рассказывал о литературе республиканских дней.

— Литература на распутьи, — говорил он, осторожно подавая французские фразы. — Я — человек старый, но я вижу, что среди наших молодых еще нет того, кто бы знал, что он хочет.

Это очень верно.

Сам почтенный Сулейман-бей, много лет шифровавший телеграммы у Султан-Гамида, вдруг отправился в ссылку. Ему была указана Сирия. Там, будучи предоставлен самому себе, он перевел на турецкий язык Коран и к нему подготовил грандиозный том комментариев. В свое время это был труд смелый и крайний. Духовенство встретило перевод Корана недружелюбными отзывами, и автор перевода и комментариев к переводу был уличен в недопустимом вольнодумстве. Прошли года. Султан умер. Коран на турецком языке стал распространенной книгой, и престарелый Сулейман-бей, весь потертый, в изжеванном пиджаке и в воротничке из целлулоида, сейчас редактирует газетку почти антирелигиозного содержания и дает уроки арабского и турецкого языков любознательным русским.

Отсутствие целеустремленности впрочем давняя болезнь восточных литератур. Турция перживает лишь новый рецидив ее. История ее литературных течений является главным образом историей идеологических кризисов среди писателей. Французская «духовная» пища в нелепом, двойственном, насквозь изолгавшемся быту воспитывает двойственных, всегда половинчатых людей.

Турецкий Мопассан, писатель Ахмет-Хикмет, недавно умерший, считался образованнейшим человеком своего времени. Во всяком случае среди писателей он определенно выделялся своей эрудицией, культурностью, демократизмом.

Ариадна Тыркова записывает такую беседу с ним в 1912 г.:

— Когда мы учились в Галата-Серае, у нас был товарищеский кружок, и все, кто в него входил, поклялись раскрепостить своих жен, — говорил Ахмет-Хикмет. — А когда мы переженились, мы зажили как все. Я незнаком с женами моих друзей и их не знакомлю с моей женой.

— Значит по-старинке, настоящий гаремлик?

— Настоящий, — признался Ахмет-Хикмет и уже без смеха прибавил: — хотя для меня, как для писателя, это ужасно. Как я могу писать, не зная женщин!

Рефик-Халид, — которого русские мусульмане в свое время сравнивали то с Чеховым за мягкость и сердечность красок, за особенную душевность языка, то с Горьким за уклон в сторону демократических тем, за любовь к низинам быта, впервые им показанным, сильнейший из последнего поколения турецких прозаиков, — оказался за рубежом своего отечества, и его имя красуется в списке тех 150, которых родина изгнала от себя навсегда. Между тем, по произведениям своим Рефик-Халид кажется типичным национал-революционером.

А философ Риза-Тефик? Разносторонне-образованный философ, талантливый поэт, публицист, оратор, врач, отличный спортсмен (борец), рассказчик, владеющий семью языками столь же хорошо, как своим родным, яркий шахматист, способный муниципальный деятель и хороший педагог Риза-Тефик сыграл совершенно исключительную роль в эпоху, предшествовавшую последней, кемалистской революции. Его влияние на умы можно внешне сравнить с влиянием на русское общество Льва Толстого. Сходными будут и те непередаваемые уважение и почитание, которые воздавались популярному философу его обширной аудиторией. Его принято описывать любовно и почтительно, как патриарха. Анекдоты о его открытой и прекрасной жизни могут быть сравнены разве с рассказами о Сократе. Народник в поэзии, рационалист в философии и пламенный патриот в публицистике Риза-Тефик в годы революции сделал много шагов назад и опочил на лаврах мистицизма и богоборчества, заняв местечко рядом с Рефик-Халидом в списке 150.

А Халиде-Эдиб-Ханум? Об этом имени у нас одно время говорилось очень много. Ее романы и наиболее нашумевший из них «Огненная рубашка» читались нарасхват и были переведены на многие иностранные языки. Халиде-Эдиб явилась как бы апостолом националистического движения, ее «буревестником». Она лично проделала анатолийскую кампанию, кажется в чине сержанта, и в своих произведениях нашла средства для изображения полной картины быта тех героических лет. Но вот проходит пора борьбы и начинается эпоха внутреннего строительства. Насколько освободительная война явилась средством объединения классов, настолько послевоенные реформы оказались началом, резко диференцирующим и классы и отдельные группы внутри классов. И Халиде-Эдиб, воспевшая национальную революцию и героику анатолийской борьбы

Мустафы-Кемаля против иностранцев, уезжает за границу. Ее имя оказывается связанным с младотурецким подпольным движением против сегодняшней республики.

На одном из консульских чаев в Стамбуле меня представили девушке с карминовыми губами и угольными бровями.

— Мадам Суад-Дервиш, наша безбожница, — сказал товарищ.

Карие глаза Суад-Дервиш скользнули по мне и спрятались за изгородь ресниц.

— Кто она? — спросил я затем у представлявшего товарища.

— Писательница. Едва ли не отсидела две недели за оскорбление религии. Человек интересный.

Так в один вечер я узнал, что эту изящную даму-девушку зовут Суад-Дервиш-Ханум, что она романистка и безбожница и что ею увлекается добрая половина Стамбула. Впрочем характер этих последних увлечений был бесконечно далек и от литературы и от безбожия.

Она действительно очень интересна. Среднего роста, гибкая и сухая, с узенькими детскими плечиками и руками, стилизованными под стебли лилий, она напоминает скорей молодую студентку, чем уже взрослую даму, и меньше всего — известную писательницу. Лицо худенькое. Темно каштановые кудряшки пылают на голове, спускаясь на лоб кокетливым петушком. Она одета по-европейски — в короткое до колен платьице с небольшим декольте, на голове газовый чарчаф, скрепленный блестящей эгреткой.

Она сидела в кругу дам, гораздо более взрослых ее, очень внимательно и вежливо слушала их беседу и иногда даже сама произносила, впрочем не без девического смущения, несколько слов на свободном французском языке.

Когда она заговаривала по-турецки, смущение проходило, и она сейчас же становилась взрослее и содержательнее. Наши туркофилы уверяли меня, что у нее «божественная дикция» и что ее выговор не имеет равных. Может быть. Я турецкий знаю плохо и судить не берусь.

В тот вечер чая было много интересных лиц, и я потерял Суад-Дервиш в шумной толпе гостей, охотясь за фигурой турецкого Державина — Абдул-Хакк-Гамида.

Сухой, изящный старик с седой благородной головой, очень напоминающий Анатоля Франса, он осторожно, как бы боясь внезапно уронить на землю живые мощи своего тела, прохаживался по аллеям консульского сада, жутко и официально поблескивал на всех отлично всаженным в глаз моноклем.

Он был так трогательно стар, этот блестящий олимпиец османов, так архаичен в своем не то сюртуке, не то рединготе, пошитом, должно-быть, еще во времена короля Леопольда в Брюсселе, где поэт был аккредитован в качестве посланника Турции, что ничто сегодняшнее уже не трогало его души, инертно продолжающей жить прошлым — тем роскошным и шумным прошлым, которое принесло ему славу «метра» и авторитет отца литературы при всех режимах, начиная с абдул-гамидовского.

Его искусство старо, как его редингот, и так же, как бельгийский редингот, добротно. Уже много лет он не шьет новых костюмов и не пишет ничего нового.

Поэт шагал по аллее тонкими, несгибающимися ногами, делая крохотные, осторожные шаги. Крупный гравий даже не скрипел под ним, настолько он был легок. Он делал изредка широкие, медленные жесты сморщенной рукой и оглядывал встречных тусклым неживым

взглядом. Маститые поэты, встречаясь с ним, кланялись в пояс и почтительно лобызали его руки.

Отвлекаясь временами от лицезрения торжественно-скорбной фигуры Абдул-Хакк-Гамида, я видел мелькающее в толпе лиловое платьице Суад-Дервиш в окружении почтительных смокингов. В тот же вечер она вела ученые разговоры о русской литературе, смущалась своего незнакомства с вещами советских писателей и под конец, назло всем смокингам, твердо ориентировалась на советские пиджаки.

Долго после этого, однако, я не имел случая с ней встретиться, хотя аккуратно следил издали за ее первыми шагами в обществе некоторых моих друзей. Радовался ее успехам, интересовался ее лекциями о жендвижении по радио, слушал в переводе прямо с листа ее новый, еще не изданный роман, — и постепенно в уме моем стал складываться ее внутренний образ — писательницы и женщины.

И вот моя Суад-Дервиш, кристаллизованная в мыслях. На перепутьи сегодняшнего дня, с его неожиданным республиканским евразийством, литература, воспитанная на младотурецких путанных и сейчас уже отвергнутых заповедях, переболевает притуплением воли. Турецкая литература ничего не может. Ни желать. Ни делать. Ни учиться. Я говорю о стариках литературы. Они творят, — и их творения бывают отмечены сиянием таланта, но все эти турецкие Бунины и Куприны, публика сыгранных комедий, убежавшая от сегодняшней жизни в идеологические «пущи». Когда они говорят о сегодняшней жизни, они плоски и шаблонны; когда они пытаются заглянуть в будущее, они ничего не видят дальше фигуры Мустафа-Кемаля. Они слагают ему славословия, но это неумные и наивные славословия, и за такие «оды» им бы следовало драть каждый день уши, сдирать семь шкур за лесть безграмотную и трусливую.

Может-быть, они организуют общественное самосознание? Оформляют обывательский мозг? Нет, они не делают этого, конечно. Они пишут прочувственные и иногда талантливые фотографии или живописуют человеческие чувства с честной добросовестностью, как некогда это делали у нас Баранцевичи, Гнедичи, Овсеенки.

«Республика ищет парусов
Для тысячи направлений».

Страна выпрямляет спину, в Ангору съезжаются послы великих держав, иттихатисты организуют заговоры, Кемаль-паша сдирает семь шкур с депутатов меджилиса, увлекшихся финансовыми проблемами в их простейшем применении к каждому, обновляется быт, его новые заповеди путают сложившиеся представления о приличиях и морали, регламентируется ритуал общественной обрядности, — вся жизнь закипает ключом, и в ее кипении кости старого быта развариваются в аморфный клей.

Нельзя писать ни о девушках, страдающих в гаремах от примитивизма любви, ни о мистических сказаниях дервишской старины, ибо нет ни гаремов, ни девушек-рабынь, ни таинственных «текке» — монастырей дервишских сект, стерегших нерушимость диких и сумасбродных традиций прошлого.

Жизнь отдана в переделку. Сейчас ее вываривают в кипятке, чтобы смыть древнюю пыль, выварить клоповый дух, — и маленькие люди не умеют еще вообразить, какою же она в конце концов выйдет из революционной чистки.

В такие дни писатель — формовщик. Проектировать контуры завтрашней жизни — его задача. Схватив рукою глаза и чувства страны,

толкать их вперед, вперед. За изгородь сегодняшнего. Но писатели высокого напряжения редки, как розовые бриллианты.

Лучшее, что может делать писатель слепой и безвольной школы, — это рассказывать о вчерашнем плохом, выворачивать наизнанку рубцы покинутого быта, дезавуировать вековые привычки и рассеивать симпатии к архаизмам в быту и сознании.

В числе многих других молодых художников слова эту анатомическую работу делает и Суад-Дервиш. Если хотите, она делает ее даже успешнее многих. И уж во всяком случае успешнее всех женщин-писательниц в Турции, потому что она молода, смела, тонко европеизирована и на ее сознании не лежит груз тех традиций, которые оформляли общественную личность писательниц старшего поколения.

Она родилась в 1903 г., в Стамбуле, когда страна была похожа на взбудораженный муравейник, когда все думали о реформах и читали изысканных французских поэтов, норовя отдохнуть от кошмаров эпохи в приятной, хмельной романтике.

Ее дед, когда-то важный сановник при дворе султана, переживал горькие дни изгнания и, нужно думать, не скупился на отрицательные характеристики режиму, а бабка, бывшая одно время наложницей в султанском гареме и потом подаренная с «царского плеча» отстраненному от дел деду писательницы, рисовала ужас застенков Илдыза, рассказывала жуткие истории и научила внучку песням скорбным и безнадежным — песням невольницы гарема.

Тем временем ее отец колесил по Европе, врачевал подавленный дух свой занятиями медициной и привез домой страсть к «страшной» жестокой литературе — новеллам Эдгарда По и фантастике Гофмана.

Детство Суад-Дервиш прошло через бабкины сказки, через жестокие рассказы По, через европеизм отца и католические настроения французского колледжа, где она завершала свое образование.

Потом — война и революция, путешествие в Европу, Берлин, Париж, Италия, работа в семинариях по востоковедению, неудачное замужество, революционный пафос, скромные феминистические дерзания, и вот родился первый рассказ, отражение настроений детства и идей, когда-то почерпнутых у Бодлера, По или Метерлинка.

Это осталось. Тяготение к жестокому сюжету, и печаль, и странное беспокойство в тоне рассказа, — идет ли речь о человеческих переживаниях или о явлениях природы, — выдают ее как ученицу символической школы.

Впрочем сама она отрицает это. Она считает себя писателем-общественником, который видит вещи так, как он их видит, и для которого всегда важнее ч т о, а не к а к, но лучшие произведения Суад-Дервиш — это как раз те, где наиболее щедро отдана дань стилистическому искусству Бодлера и Метерлинка и симфонии их настроений.

Суад-Дервиш написала около шести романов и две книги небольших новелл.

Манерой письма своего она напоминает отчасти нашего покойного Л. Андреева, с той лишь разницей, что она гораздо ближе, чем Андреев, стоит к литературе социальной и глубже погружается в натурализм, хотя бы он и был временами окрашен пессимистическими настроениями.

Ее герой — женщина. Турецкая средняя женщина в быту и за кулисами общественности, со всеми ее невзгодами, несчастьями, ранами, со всем кошмаром обывательщины и домостроевщины, царящими в дореформенной семье, со всей ложью демократических лозунгов равенства и законности.

Общественно-социальное значение романов Суад-Дервиш весьма значительно именно их страстностью и сюжетностью, построенной на очень смелых попытках вскрыть все язвы старого быта, показать все самые тайные и самые грязные и уродливые черты семейного права.

Этой смелостью Суад-Дервиш делает себе имя писательницы-нигилистки, опасной писательницы, для которой нет решительно ничего святого, которая может все вывернуть наизнанку, все предать общественному суду, если данное явление обращает на себя внимание своей болезненностью, затхлым консерватизмом или глупостью.

Среди турецких писателей послереволюционных дней Суад-Дервиш — фигура самая революционная.

Кажется в прошлом году она написала фантастический рассказ, где было несколько небрежных слов по адресу многоуважаемого аллаха. Рассказ каким-то образом проскочил цензуру и был напечатан, но против молодой безбожницы был возбужден процесс. Суд приговорил ее к трем месяцам тюрьмы за оскорбление религии. Впрочем сидеть ей не пришлось, так как друзья ее отца ухитрились добиться пересмотра дела.

Но вокруг молодой писательницы — по существу, конечно, не революционерки, не разрушительницы религиозных основ и не пропагандистки безбожия — стала сгущаться атмосфера недоверия и настороженности. Ее произведения не находили места в журналах, романы ее перестали издаваться, критика стала пугать ею благонравных литературных подростков.

Травля невольно сделала молодую писательницу другом советских людей и через них — другом советской литературы. Она знакомится во французских переводах с Достоевским, Андреевым, Горьким, потом с книгами молодых — Замятина, Вс. Иванова, Лидина, Пильняка. Несомненно под влиянием прочитанного она начинает новый роман из жизни турецкой женщины сегодняшнего дня.

Этот роман ее («Наимэ») был запрещен цензурой. Суад-Дервиш намерена издать его за границей.

Так закрепляет она за собой большое место в литературе, полушутя занятое вследствие нечаянного оскорбления многоуважаемого божества.

Театр в Турции.

Театра — в нашем широчайшем, утонченном понимании его как кафедры морали, как учреждения воспитательного, органа, конструктирующего общественное сознание, очага эмоциональной культуры, театра, отображающего быт, романтику, символику эпохи, борьбу эпох и классов, — такого театра в Турции нет.

«Турки ходят в театр, чтобы посмеяться, и в кофейню, чтобы поразмыслить о судьбах мира и человечества», — писал лет тридцать тому назад Луи Ламбер, автор очень обстоятельной книги о Турции. Но и театр для развлечений не всегда существовал как постоянное учреждение: что-то, напоминающее театр, было лишь в султанском гареме, в Илдыз-Киоске, где среди обитателей гарема всегда подбирались драматурги, художники и актерское ядро. Первыми турецкими актерами нужно считать гаремных евнухов. Классический турецкий композитор Хаджи Аариф-бей, автор популярнейших в стране песен, начал свою карьеру в Илдызе в качестве хориста при султанском театре, — ему было в то время лет двадцать семь, и пел он дискантом. Фракия же и Анатолия не знали вообще — кроме, быть может, Смирны — о существовании другого театра кроме «Карагез» («Карагез» в точном переводе — черный глаз, но понимается иносказа-

тельно — как хитрый, лукавый, насмешливый). Детище итальянской оперы, перенесенной на азийскую почву со всеми своими старыми традициями и всем классическим репертуаром, «Карагез», чрезвычайно напоминающий нашего Петрушку, стал театром масс. Мольер и Сарду отлично привились в нем на азийской почве, и их герои, несмотря на свое галльское происхождение, ныне являются типичнейшими выразителями турецкого народного юмора и сатиры. Помимо переделок из Мольера «Карагез» культивирует и доморощенные инсценировки на злободневные темы. Нет села в Анатолии, где бы не был известен и любим «Карагез». Ни одно народное празднество не обходится без него. Культурно-общественные организации, любезно организуя коллективные обрезания мальчиков из бедных семей, обязательно приглашают «Карагез».

Но в городах театра не существовало. Константинополь не имел даже помещения для театра. В восьмидесятых годах какой-то немец, открыв на рю-Кабристан летний сад-ресторан «Винтергарден», соорудил в саду летнюю сцену и выписал венскую оперетту. Оперетта имела невероятный успех, и следующий владелец сада — француз — сооружает зимнюю сцену и привозит французскую оперетту. Сад этот, впоследствии «Пти-Шан», добрых полвека является единственным местом театральных действ. Он имеет самую большую залу, человек на шестьсот — семьсот. Серьезные же театры заезжали сюда случайно. Не было помещения, не было электричества (еще в 1906 г. оно было повсеместно запрещено султаном как нечто имеющее в существе своем — динамо? — что-то родственное с динамитом).

Публика не обеспечивала сборов, ибо средние классы если даже и понимали язык, то не выражали особого желания знакомиться с чуждым и непонятным репертуаром французской комедии. Оперетта, фарс, легкая комедия окончательно укрепились на единственной сцене «Пти-Шана», из года в год пленяя стамбулистов своими непритязательными радостями. Лишь незадолго до свержения Абдул-Гамида появляются первые произведения для сцены, написанные турками, а в Смирне создается первый национальный театр. В нем долгое время женские роли исполняются юношами, а потом в труппу входят актрисы, гречанки, армянки, остающиеся до сих пор лучшими актрисами турецкой сцены.

Молодой театр смело берется за Ибсена, Метерлинка, Толстого и Андреева. Спешно приготовляется свой национальный репертуар. При помощи ножниц и хорошего переводчика французские классические пьесы легко меняют названия и имена героев, место действия из Парижа переносится в Трапезунд, эпоха передвигается соответственно местным условиям, и вот получается отличная, боевая, притом совершенно турецкая пьеса. Несмотря на хорошее, многообещающее начало, смирнский театр прогорел. Возник второй в Константинополе, но также продержался недолго, и после Толстого и Метерлинка общие симпатии надолго закрепили за собой парижские «ревю» и театры-варьетэ с полуголыми танцовщицами и «настоящими» парижскими куплетами об анатомии хорошеньких женщин.

Года за два, за три до войны течение в пользу национального театра вновь как будто приобретает некоторый успех, и группе молодых и способных актеров, во главе с Ортогрулом Мухсином, удается собрать средства для поездки в Европу. Мировая война для Турции кончается для того, чтобы вновь начаться в Анатолии. Анатолийская эпопея кончается провозглашением республики. Начинается эпоха национального строительства. Создается общество «Тюрк-Очагы» — что-то вроде коллектива рев-

нителей турецкой культуры, клубы кемалистской партии и женской Лиги прав. Одновременно с этим работники сцены создают молодую организацию «Дар-уль-Бедаи» — ядро будущего национального театра. Во главе театра «Дар-уль-Бедаи» становится все тот же Ортогрул Мухсин, культурнейший турецкий актер, отличный организатор и энергичнейший пропагандист свежего дела. Мастерам сцены предстоит пересмотреть все старые архивы домашнего и западного материала для сцены, чтобы извлечь из него что-нибудь наиболее созвучное времени. Героизм эпохи требует героического материала, из пыли забвения извлекаются полузабытые трагедии Абдул-Хакк-Гамида, турецкого Державина, как, например, его знаменитая, весь мусульманский Восток обошедшая «Тарик, или Покорение Испании маврами», и шовинистические пьесы Ахмед-Митхата, в свое время написанные на темы из триполитанской войны.

Но революция требовала большего, она ждала от театра углубленного психологизма, толкования новых социальных отношений, живописания развала старых порядков и рожденных революцией новых нравов. Выдвигаются два имени: Решад-Нури и Ведад-Неддим, пытающиеся стать родоначальниками социальной драмы. Внутренне они еще в цепях мистики и символизма, на Решада-Нури оказывает сильнейшее влияние наш Блок. Ведад-Неддим беспомощно путается в решении половых проблем под Стриндберга, но внешне это все-таки самые левые представители турецкой драматургии. Театр Ортогрула Мухсина — этого турецкого Станиславского — становится театром Решада-Нури и Ведада. Первые выступления «Дар-уль-Бедаи», насчитывающего человек сорок актеров, прошли с шумным успехом. Театр предпринимает турне по всей стране. Всюду создаются маленькие ячейки друзей родного театра. Актеры-любители ставят «Власть тьмы», «К звездам», «Брандта», «Коварство и любовь» и пьесы Ведада-Неддима. В это самое время отец турецкого театра, Ортогрул Мухсин, уезжает в Москву. С его отъездом труппа разваливается, и фактически «Дар-уль-Бедаи» перестает существовать. Так продолжается до возвращения его из СССР, где он успел многому поучиться у художественников и Мейерхольда.

Настали лучшие дни славы молодого театра, когда Ортогрул, восторженно встреченный турецкой печатью, показывает Стамбулу «Гамлета» в приемах Мейерхольда, «На дне» и «Вишневый сад» по Станиславскому. Театр оживает, актеры «Дар-уль-Бедаи» позволяют себе роскошь снять общую дачку на одном из Принцевых островов и живут там коммуной скромных тружеников. Но в то время как ободренный успехом режиссер собирается удивить покоренный им Стамбул новыми оригинальными постановками, ревю из «Муллэн-Ружа» и негритянская оперетта расхватывают его публику.

В «Пти-Шане» после трех часов ночи танцуют в костюмах Евы. Столы занимаются с вечера, в променуарах тесно уже с 9 часов; рядом кинематографы ежедневно выбрасывают захватывающие боевики, и коммуне на Принцевых островах скоро будет нечем жить.

Истекшая зима была критическая для актеров, — вопрос о том, быть или не быть турецкому театру, должен был как-то решиться раз и навсегда. Впрочем префект Стамбула, побывавший у нас в гостях и видевший одесский театр, уже определенно решил построить здание муниципального театра. Может быть, когда его выстроят, что-нибудь определится к лучшему. Беда только в том, что префект — любитель европейской оперы и едва ли пустит актеров «Дар-уль-Бедаи» на сцену своего нового театра.

Кино в Турции.

Кинопрокатчики считают Турцию худшим из ближневосточных рынков, но в то же самое время в Стамбуле постоянно идут самые новые и дорогие фильмы. Благодаря тому, что ввоз фильм из Франции, Германии и Америки совершенно свободен и ни одна из стран не имеет в этом отношении никаких преимуществ перед другой, Стамбул имеет возможность видеть французские боевики раньше Берлина, а американские — одновременно с Парижем.

В самом Константинополе (Пера, Стамбул, Скутари) существует не более двух десятков кино, но отличных, по-европейски обставленных — 4—5. Они конкурируют между собой изысканностью оркестров и серьезностью программ, а также «номерами» живой программы, заполняющей антракты. Если в «Сине-Опера» маэстро угощает публику Чайковским, то в соседнем «Мелеке» обязательно подадут Стравинского или Ипполитова-Иванова, который прямо-таки вошел в моду на всем Востоке. В антрактах — сольные танцы, акробатика в стиле «Мулэн-Ружа», исполняемые бывшими нашими интендантскими чиновниками, игры в чарльстон или «русские народные песни».

Остальные кино — второго и третьего экрана — бедны.

В о в с е й А н а т о л и и н а с ч и т ы в а е т с я п о л т о р а д е с я т к а к и н о. Все они влачат самое жалкое существование. За прокат фильмы они платят лир 5—6 в месяц. Фильмы идут месяцами каждая и бродят по Анатолии 2—3 года. Чтобы найти материал для этих кино, кинопрокатные конторы либо подбирают старую, многолетнюю заваль, брак, либо монтируют специальные картины из обрезков нескольких разных фильм. Такая «сборная» фильма рекламируется как боевик. В ней можно за один присест увидеть Чарли Чаплина и Менжу, Лилиан Гиш и еще раз Лилиан Гиш, но из другой фильмы, и всякое множество любопытных вещей.

Утверждают, что провинция предъявляет особый спрос именно на эти «боевики»: дешево и многообразно. Масса действующих лиц, преизбыток громких имен и всегда приятная неизвестность, как, где и чем закончится драма, начатая, скажем, во Франции одними персонажами и развертывающаяся в Индии при участии совершенно других. Есть даже специальные монтажные студии по выработке «сборных» фильм.

Кино больших провинциальных городов — места встречи всего бомонда. На премьеры съезжается вся знать. В фанерных ложах дамы искрятся бриллиантами, мужчины щеголяют в черных костюмах.

Столица — Константинополь — живет, конечно, европейскими киномодами. Трудно сказать, что здесь принимается горячее — акробатизм ли Фербенкса или трагическая игра Чаплина последних лет? Все, что богато, идет отлично.

Что касается провинции, даже побогаче, то для нее уже необходим отбор, но так как популярными фильмами на Западе не богаты, то провинция питается преимущественно детективной американской фильмой.

Совершенную революцию внесли в мирное кинобытие Турции первые попавшие туда советские фильмы.

Автору этих строк пришлось иметь касательство к устройству наших фильм в Турции, начиная с «Броненосца Потемкина». Он был получен из Берлина, и о том, что он будет в скорости получен, таможня и цензура знали едва ли не раньше торгпредства. Цензура, которой был показан «Потемкин», почти, однако, не сделала в нем купюр, и вопрос о получении разрешения был уже почти решен. Глубокой ночью фильму потребовали

к префекту полиции. У него собрался внушительный «редакционный совет». Фильма шла под громкие «ахи» и «охи», аплодисменты и взрывы хохота. Почти светало.

— Отличная фильма, — сказал префект полиции. — Я такой еще никогда не видел.

— Можно надеяться, что...

— Нет, нет, что вы! Ни в каком случае!

Вопрос был перенесен в Ангору. Там «Потемкина» показывали депутатам и членам правительства, но получить разрешение на публичную демонстрацию так и не удалось.

Следующая фильма была «Под властью Адата». Она шла под названием «Кавказская кровь», под аккомпанимент азиатской музыки и с «кровавыми» ремарками. Публика ревела от удовольствия, особенно галерка. В самом деле, это была ведь едва ли не первая фильма из живой восточной жизни, сделанная просто и натурально, без ложной и смешной экзотики. Успех «Под властью Адата» показал относительную приемлемость наших ориентфильм для Турции, и торгпредство получило заказы на «Абрек Заура» и «Намус», на фильмы армянской и грузинской фабрик.

Следующей после «Под властью Адата» шла невинная и серенькая «Крест и маузер», и она едва ли не испортила всего дела. Покупателем этой фильмы оказался владелец гаража «Бюик» — человек, познавший все блага рекламы. Он украсил весь город плакатами, изображающими чуть ли не самый акт насилия девушки рассвирепевшим ксендзом, с дикими глазами, в изодранной сутане, с руками, судорожно сжимающими четки с крестом. Эти плакаты неизвестным путем были как-то цензурой пропущены, только крест оказался залеплен гербовой маркой.

В день демонстрации фильмы в кино творилось что-то невероятное; толпа запрудила улицу, у кассы шел настоящий бой за места, и тут же, рядом с кассой, сестры-кармелитки, в высоких, сложных, как оснастка трехмачтовой шхуны, головных уборах, уговаривали народ не ходить на богомерзкую картину, не брать на душу лишних грехов. За четверть часа до начала сеанса картина была снята. Она пошла позднее, но с такими извращенными подписями, что ни один чорт не мог понять, о чем идет речь.

Демонстрация «Креста и маузера» совпала с моментом очень резкого ухудшения турецко-еврейских отношений. Поговаривали о том, что правительственный антисемитизм окажется неотъемлемой частью внутренней политики. Перед евреями финансистами-коммерсантами стоял вопрос о перемене арены действий. И фильма была встречена болезненно-внимательно. Она шла в атмосфере совершенно необычной для турецкого кино тишины и поразительного напряжения — вздохи заменяли аплодисменты, а отряды жандармов усиливали тяжесть обстановки.

В те дни, когда первые советские фильмы стали только проникать в Турцию, Ангора выдвинула проект введения монополии на ввоз кинофильм. Трудно сказать, какими соображениями руководилось правительство, но при той исключительной моде на монополии, которая сейчас царит в Турции, когда монополизируется даже ввоз фетровых шляп или чая в пачках, — это не было особенно удивительным. Монопольные права оспаривали друг перед другом Общество красного полумесяца и Лига авиации, с тем чтобы потом передать полученные права за известное вознаграждение какой-нибудь коммерческой организации.

(Окончание следует.)

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ.

Зарисовки.

Р. Акульшин.

Ярмарка.

Ярмарку на Покров называют капустной.

Канун ярмарки был солнечным и теплым. Девки и парни сговорились с вечера: выходить завтра чуть свет.

Село Павловка на горе. Сахарный завод (теперь приспособляемый под маслобойный и мыловаренный), большой элеватор, ползущие по крутому подъему поезда, белая церковь на горе, извилистая речка Самарка, дубовые леса и черноземные поля во все стороны — все это привлекает внимание прохожего, впервые попавшего в нашу местность.

— Сегодня на ярмарке будут все невесты и женихи, — говорит сестра, — на этой неделе, наверно, начнутся свадьбы.

Нас перегоняют нарядные парни в кремовых, бирюзовых и розовых рубашках. Почти все обуты в штиблеты. Картузы кокетливо наклонены в левую сторону.

— Только бы дождик не пошел, — вздыхают поравнявшиеся с нами девицы.

На них юбки в складку. Из-под платков выглядывают кудри. Девицы нарумянились и набелились.

В лесу пахнет сыростью, увяданием, деревенской баней. Высокие сухие травины по обеим сторонам дорожной колеи испачканы дегтем тележных колес. В лощинах — багровые заросли ежевики. Листья на дубах съежились, засохли. Кое-где встречается калинник; пурпурные ягодки словно капли крови. Синичка оделась по-зимнему. Не боясь проходящих, она вылетает на дорогу в поисках растерянных с телег зерен. По лугам со стороны степи тянется много подвод. У моста, возле самой Павловки, собирается несколько телег.

Мы входим на гору, и — вот оно, капустное царство! Два длинных ряда возов с белыми крупными, целомудренно-тугими вилками. Покупатели — степняки. Они сначала прицениваются, медленно проходя весь ряд. С них запрашивают девять и восемь рублей за сотню. Они дают восем и семь.

Вижу многих соседей и знакомых. Вот кума Авдотья. Она уже успела продать весь воз по девяти с половиной.

— Хорошо, — говорю ей.

— А вилки-то у меня, куманек, неподъемные... Изо всей ярманки первые.

Двоюродный брат Андрей сожалеет:

— Давали по восьми, не отдал. А теперь чтой-то никто не подходит.

За церковью вертится ободранная карусель. Видно всех ребят, вертящих ее. Они упираются грудью в деревянные брусья. До того момента, как начнет пиликать гармошка, слышно, как ребята-вертельщики кряхтят. Гармошка плаксивая. И вся карусель убогая. Сквозь драную синюю материю виден скелет остова. Здесь больше всего народу. Сначала карусельщик назначил пять копеек за один круг, но вскоре сообразил, что даже гривенник не разрядит толпу желающих покататься.

Рядом с каруселью «пятиминутный» фотограф. Возле него громадная очередь. Здесь не только молодежь, но и вдовушки, матери семейств, старухи.

— Пустите, ради бога, — умоляет одна, невысокого роста, в клетчатой шали на плечах, — за тринадцать верст приехала, сроду на патрет не снималась. Умру, никакой вспоминочки не останется. Шесть человек у меня: четыре сына да две дочери.

— Эт для тебя, значит, шесть потретов нужно! Не пустим, задержишь всех.

— Куда шесть, одного хватит. Старшей дочери отдам: к ней будут приходить. Поглядят и скажут: «Вот какая у нас была мама, царство ей небесное!»

Над старухой посмеиваются:

— Рано умирать собралась. Может, ты всех детей переживешь? Это в частом бываньи. Вон какая, в час молвить...

— Ну... Куда там... Не приведи господь. Да и не будет того. Не к младости бегут денечки. Перед ненастьем в костях мозжит, а когда ем, то как словно камень-самородень сидит у меня на сердце.

Девицы растроганы желаньем старухи.

— Товарищ снимальщик! Вот бабушку без очереди нельзя ли снять?

— Для меня безразлично, если отсутствует протест, — с готовностью отчеканивает молодой фотограф с прилепившейся к вспотевшему лбу рыжей прядью.

Старуху пропускают вперед. Она озирается во все стороны круглым лицом. Она не знает, что ей делать, и потому добродушно улыбается.

— На стулу садись и не моргай, — предлагают ей со всех сторон.

Старухе кажется, что неприлично занимать все сиденье стула, и она, подвинувшись на кончик, беспомощно разводит ладонями, не зная, куда их деть.

— Ну, бабка, спокойно, — говорит фотограф.

Толпа замирает. Через минуту раздается громкое чиханье. Потом чих повторяется еще два раза, сопровождаясь растянутым покряхтываньем.

Когда из ящичка с водой вынимается карточка, все зрители и ожидающие очереди сгруживаются тесным кольцом вокруг аппарата.

— Кажись, ничего, — говорит старуха, отставив от себя карточку на расстояние вытянутой руки.

Начинается критика:

— Глаза очень узкие вышли.

— А нос кверху загнулся.

Старуха оправдывается:

— Мне бы надо пораньше чхнуть-то, до снятья, — а он говорит: «спокойно»... И то кой-как утерпела.

— Наша очередь, — заявляет молодой парень в розовой рубашке.

Он снимается с тремя девицами. Одна из них — его невеста. Жених садится на стул, невеста кладет ему на плечо левую руку, а в правой дер-

жит за кончик носовой платок, на котором вышито какое-то любовное изречение. Подруги, обнявшись, становятся по другую сторону жениха. Девицы сняли платки. На всех белые кофточки и темные юбки. Одна из подруг перетащила со спины заплетенную косу, украшенную зеленым бантом. Розовая рубашка жениха заправлена под брюки.

В галантерейном ряду крохотные палатки. Это прибывшие из других мест частники. Когда-то в Павловке было много богатых торговцев. Теперь остался один кооперативный магазин. Большие налоги стерли с лица павловского базара частника. Мужики и бабы удивлены появлением на ярмарке лавочек с красным товаром: шапками, лентами, кружевами, игрушками.

— Оказывается, еще не все задушены...

— Эт, наверно, природные торговцы.

— Такие живущи!

В кооперативном магазине немыслимая давка. Больше всего спрашивают черного сукна: на дипломаты, саки и японки женихам и невестам. Обувь расхватили в один момент.

— Головушка горькая, — сокрушается пожилая баба, — в пятницу венчаться уговорились, а ботинки прозевали.

— Связалась со своей капустой, — говорит, чуть не плача, невеста, — говорила тебе: не успеем, вот и вышло по-моему.

— Ну в старых перевенчаешься... Чего ж делать?

— Как раз! В старых... Чтоб славу пустили! Лучше Филатке хромому заказать.

— А ты знаешь сколько теперь сдерет Филатка?

— Сколько б ни содрал, а в старых я венчаться не буду.

Все отделы в магазине торгуют очень бойко. Покупаются рюмки «фанфоровые», чашки и тарелки. Шелестят ситца, быстро тают на полках калоши, мыло. Для осенних долгих вечером нужны лампы, керосин, для свадебных поездов — колокольчики, для свадебных пиров — жамки, крендели, колбаса. Каждый протискивается вперед, почти из рук друг у другу вырываются фабрикаты, выдающиеся по кооперативным книжкам.

Много тут горячей ругани, злой иронии.

— Спасибо; приготовили товару для крестьян.

— Прежде покупателя заманивали, а теперь не знают, куда от него спрятаться.

— Ни до чего «додеру» нет, вот как разбогатели!

— Богачи, а надеть нечего!

— Это уж не от нашей «притчины».

Тихо в хлебном ряду. Пузатые мешки с оттопыренными краями, словно толстогубые купцы, уселись в ряд на влажной земле. Белая мука, приглаженная ладонями в куполá, не соблазняет крестьян; у каждого свои лари и закрома с добротной новиной. Здесь служащие почты, элеватора, больницы. Женщины бесцеремонно берут двумя пальцами щепотку муки, осторожно слюнявят ее, мнут. Потом комочек теста пробуют рвать: так узнается качество.

— Мука без обману, на вальцах в Аверьяновке молол. Врать не буду. Окончательно два восемьдесят пуд, — говорит крестьянин.

— Берите. Слухи нехорошие ходят, будто запретят на вальцах молоть. Вон в других губерниях ржаная по пяти и шести. Односелец из Рязани пишет — плохо там. А у нас пока, слава богу, можно жить.

Подхожу к телеге где продаются кленовые гребни для льняной и конопляной кудели. Хороший стоит полтора рубля. Но девкам и бабам хочется выторговать хоть гривенник, хоть пятак.

— Дяденька, а этот вот с трещинкой... Этот подешевле можно.

— Без трещинки выбирай.

Бабы отходят, думают, потом, вспоминая о прежнем времени, когда на ярмарках был не один гребенщик, когда не у того так у другого можно было выбрать, — возвращаются, проводят пальцами по сухим звенящим зубьям, слушают, покупают.

Другой конец ярмарки занят скотом: лошадьми, коровами, овцами. Продавцов-мужиков и баб больше, чем покупателей. Они сидят на грядушках телег, свесив ноги, и жуют от скуки пшеничный хлеб. Кто-нибудь подойдет, посмотрит небрежно на корову и, сразу определив ее достоинства, зашагает дальше, не поинтересовавшись, «сколько стоит?» Продавцам скучно, скучно и скотине. Она ложится на свой помет. Тощая, некрасивая, жалкая, после этого она делается еще страшнее. Хозяева скоблят соломой вдавившиеся бока Буренки, сердятся: «У, лярва, изгваздалась»!

Плохую продают с намерением купить более справную и породистую. Это одна из причин, почему так заполнен скотный ряд. Но важнее — другая, название которой: недостаток корма. Урожай этого года, обильный зерном, дал очень мало соломы. Крестьяне предвидят трудности в конце зимы и весною. Намучившись из-за бескормья в двадцать восьмом, они не желают мучиться в двадцать девятом.

Ярмарочный день, теплый и пасмурный, утомился от трезвого шума. Тучи приближают вечер. Карусель еще кружится. Но накрапывающий дождь разрежает очередь у фотоаппарата. По дороге начинают греметь телеги.

Вот они плюсы последнего шестилетия: нужно простоять с полчаса в длинной очереди подвод, вытянувшихся по склону горы. Сколько лошадей. Бесконечная лента обоза. Деревня оперилась, обзавелась скотом. А самый большой плюс, достижение к одиннадцатому году революции, — трезвые базары и ярмарки.

В базарные дни на дверях Центроспирта висит большой замок. Бабы его благословляют, мужики на него неприязненно косятся. А в общем и в конце концов — все довольны. Вся выручка от капусты, муки, яиц, шерсти остается в кармане. Нет скандалов, драк, поножовщины.

Терпеливо ждут очереди у моста возвращающиеся домой, дружелюбно отмечают факты смягчения нравов.

— Смирный стал народ...

— В прежнее время да у моста!.. Сплошная бы свалка получилась.

— А все потому, что е е нет.

— Дай бог здоровья тому, кто такую штуку удумал.

Кто-нибудь из мужикв возразит:

— Ну... какая это ярманка? И на ярманку не похожа: с у х а я.

Бабы хором ему:

— Вот и слава богу, что сухая!

Земля.

В окружении полей — заброшенный фруктовый сад. Когда-то здесь была ферма иностранца Форместа, безродного и бездетного. Человек трудился без радостной надежды — оставить близким результат всей своей жизни. Его помнят старики. А дети окрестных деревень жили мечтой: летом, как только завяжутся яблоки, побежать к Форместу и, досыта наевшись горьковатой зелени, наполнить ею карманы и пазухи. Дети не знали о трудах умершего иностранца. Небрежно ломая ветки, они не

задумывались над тем, что губят деревья. Проходило лето, осень, зима. Весною снова зацветал сиротливый сад. Прохожие отдыхали под ароматным кружевом бело-розового цветения. Проезжие думали: «сад живет без хозяина, почему никто не хочет здесь поселиться?» И только теперь, через сорок лет после смерти Форместа, нашлись хозяева: здесь будет колхоз «Красный сад». Вспаханные поля — это участок, отведенный для двадцати трех домохозяев села Виловатова. Осенью они приготовили землю, весной они переселятся на новые места. Под ветвями старых яблонь они будут хоронить покойников. Новый большой сад они разобьют в другом месте, там, где предполагается построить школу.

Я знаю инициатора колхоза. Я слышал от него рассказы о трудностях организации нового вида хозяйства. Затеей Кузьмы недовольны многие односельчане. Такие голоса раздаются по селу:

— Они хотят захватить самую лучшую землю. А что останется нам, если мы сорганизуемся в коллектив? У них будут все угодья: поле, луга, вода, а для нас останется голая степь.

Хитрые соседи стараются смутить жен коллективщиков:

— Пропадете вы, на удочку подцепил вас Кузьма, из-за своего интереса хлопочет. Выпишитесь, пока не поздно.

Напуганные жены не дают покоя мужьям. Мужья вечерними сумерками идут к организатору:

— Выпиши меня, Кузьма Анисимыч. Паскуда баба загрызла, никак не хочет в коллектив.

В пятый, в десятый раз начинает доказывать Кузьма выгоды коллективного хозяйства, говорит час и два. У сомневающегося нет слов для возражения. Уходя от Кузьмы, он просит:

— Приди к нам, поговори с моей бабой. Может, тебя послушает.

С восьми лет до призыва на военную службу Кузьма Саблин жил в батраках. Теперь, не соблюдая праздников, он работает без разгиба в поле, в саду, на дворе. У него для скота построены датские кормушки. Он ведет учет своему хозяйству. В прошлом году он расширил фруктовый сад. Соседи спрашивали:

— Для чего ж сажаешь? Ведь все равно на будущий год в коллектив придется уходить.

— Когда буду уходить, пересажу, — отвечал Кузьма.

Раз весной перед вечером, после теплого дождя, когда у завалинки на бревнах сидело много мужиков, к воротам подъехал молодой крестьянин. Он ездил в дальнее поле смотреть посевы.

— Ну, как? — почти в один голос обратились к нему мужики.

— Пшеница хорошая, а рожь пропала.

— У всех пропала?

— У Кузьмы не пропала. Выше колена.

— Опять получит приз на сельскохозяйственной выставке, — сказал я, — за то, что в обработку землю вкладывает всю душу, за то, что дорожит временем, а не лежит целыми днями у завалинки.

Сельхозбанк предлагает молодому колхозу взять ссуду в пятьдесят тысяч рублей.

— Но мы не желаем, — говорит Кузьма, — нет и нет. Мы знаем из опыта других коммун, как опасно залезать в долги. Все члены артели решили: «Будем работать, пока есть возможность, без кредита. Дальше видно будет».

Помолчав немного, он с восторгом говорит:

— Поглядели бы вы, как шли мимо Форместа тракторы.

— Куда?

— В совхоз, на зерновую фабрику.

— А знаю, читал.

— Читать про это не так интересно, нужно увидать своими глазами. Пятьдесят три трактора растянулись на полторы версты. Народ сбежался из Головатого и Андреевки. День был хороший. На переднем тракторе для торжества — красная лента. Трактористы — почти все молодые. Насмешила всех Авдотья Коршунова. Она горевала, что до своей смерти не увидит трактора. А тут сразу пятьдесят три штуки. Потешная старуха заманивала каждого тракториста: «Товарищ, сверни с дороги, заезжай в нашу деревню, помоги старушкам и безродным вдовам. Куда вас шут несет? Гляди, им и конца не будет». Ребятишки приставали: «Дяденька, посади»... Многих сажали. Теперь все в нашем селе видали трактор. Остается одно — свой завести.

Слушая рассказ Кузьмы, я вспоминаю об одном разговоре у заваланки: было это года два назад. Старик Кондратий спросил тогда:

— Залезут когда-нибудь лапотники на машину? Или не стоит ждать того времени?

В ответ все засмеялись, шутками ответили Кондратию:

— Тогда они в штиблеты обуются и галифе наденут.

Вывод мужики сделали такой: дети, не взрослые женатые дети, а такие, у которых еще под носом мокро, дождутся машинности, а старики пусть об этом не думают.

— «Нам не доведется»... Эти слова слышишь всегда, когда заводишь речь об индустриализации деревни, об электрификации, мелиорации — обо всем новом, что вносит облегчение в жизнь. Но пессимисты, как видно, утратили дар пророчества. Сопляки-ребятишки уже посидели на машине, когда тракторы бежали невиданными смирными чудовищами в их молодой совхоз — зерновую фабрику нашего района.

Минувшим летом и седобородым довелось усладить постоянную печаль: в неделю обороны гостивший в нашей местности аэроплан (землемеры с аэроплана снимали план местности) покатал по поднебесью многих стариков. Потом всех их сфотографировали на фоне аэроплана, среди зеленого луга, и каждому дали по карточке. Портреты висят в рамках на стене — у кого под зеркалом, у кого поближе к иконам — и всякому гостю, свату, соседу, подругам дочери, товарищам сына каждый старик, показывая на дорогую памятку в рамке, говорит:

— Страшно было только сначала, а потом ничего. Да когда «брушерки» из окошка бросал, вниз не глядел: боялся — голова закружится.

Настроения.

По вечерам у колодца собираются бабы. Их сердце не узнает покоя, до тех пор пока парни не женятся, все девки не повыйдут замуж. Чутко прислушиваются они к песням на улице. Величальные, прозвенев двумя-тремя словами, гаснут; величать еще некого. Пока только слухи, намеки, сплетни волнуют село. Никто не осмеливается первым засылать сватов. Лизка Мошкова два года «играла» с Колькой Матасовым. Но Колькина мать сказала:

— Мне задаром не надо эдакой снохи.

— Слышь, — передали невестину отцу Андрею, — женихова мать великанится, Лизку хает.

Стукнул Андрей кулаком по столу:

— Я их, чертей, близко к воротам не подпущу. — И дочери: Выкинь из головы Кольку.

Лизка в слезы:

— Кабы мама была жива, заступилась бы...

На одном «патрете» Лизка с Колькой на ярмарке снялись, не думая, что из-за стариков придет конец надеждам.

Подруги Лизку уговаривают:

— Чем тебе Колька нравится? У него один брат чего стоит — чистый разбойник. Исаевы о тебе поговаривают. За Петьку хотят. Жених — не к Кольке применить.

Свое горе у Петьки: ни с одной он девкой не водился. Родители спрашивают: «Какую невесту сватать»?

А он и сам не знает. Многие по нраву, а пойдешь к ним — скажут: «Мы других сватов ждем». Не больно хорошо ни с чем из невестина дома уйти.

Уехал Колька землю пахать на хутор. Вечером подходит Петька к Лизке;

— Ты чего ж, не будешь слушать отца, за Матасова пойдешь?

— Мне все равно, — вздохнула Лизка.

— Ну, значит, завтра сватов пришлю.

— Что ж, присылай.

И просватали Лизку не за того, с кем она два года играла, а за несмелого Петьку — красивого русого парня, с большими голубыми глазами.

Пошел жених на запой, на улице кто-то дерг его за рукав:

— Постой!

Оглянулся — Колькина мать. Как услыхала она, что просватали Лизку, хватилась, что славу про нее распускала, сразу она ей по нраву пришлась. Остановила жениха, и ну стыдить:

— Колька на неделю уехал, а ты и рад. Приготовили для тебя невесту. Сам-то губами прошлепал, не мог найти. Погоди вот: Колька приедет, будет тебе взбучка.

Не поддался жених:

— Не знаю, сколько вас в земле, а снаружи всех видать.

Теперь уж смело девки величальную завели:

Как на пролуби два голубя сидят,
Про между ли себя речи говорят,
Все про доброго молодца,
Про Петра-то свет Федоровича;

Слушают бабы и мужики разливную песню, улыбаются.

— Начин сделан. Теперь один перед другим торопиться станут.

— В этом году только гулять: половина налога уж уплачена, — половина горы свалена с плеч долой.

Слово «налог» отвлекает на время от свадебной темы в сторону общегосударственных вопросов; начинаются разговоры о колхозах, школе, займах.

Из шестисот пятидесяти трех хозяйств нашего села в этом году совершенно освобождено от налога сто девяносто шесть. Двенадцати хозяйствам предстояло выплатить индивидуальное обложение. Потом, после разъяснительной директивы правительства, оказалось, что в селе Виловатове нет хозяйств, подлежащих такому обложению.

Много поволновались мужики этой осенью из-за школы. Шестьдесят учеников «как д е т и с е р е д н я к о в» были за неимением мест отосланы домой. Учащие разъяснили, что не может одна учительница посадить в свой класс сто тридцать человек первой группы, что дети отсы-

лаются домой не потому, что их родители — середняки, а потому, что Рик не назначает лишнюю учительницу. Уговоры не могли успокоить обиженных, и по селу поползли такие слухи:

— Советской власти надоело воевать с одним кулаком, теперь она середняку войну объявила. «На свои, — говорят, — деньги учительницу нанимайте». Значит, и фершала на свои, и дороги чинить на свои, и все — на свои. А зачем налог берут? Налог, значит, — не «свои» деньги? А чьи же?

Через месяц Рик изыскал средства на лишнюю учительницу. Ребятишки побежали в школу. Разговоры о войне с середняком прекратились.

На вечерние занятия записалось двести человек взрослых. Все они разбиты на две группы. Каждая будет заниматься три раза в неделю. Молодой учительнице предстоит большая работа.

Читальню, в которую ходили в течение десяти лет плевать подсолнухи и танцовать «полечку со сдвигом» и «валис», теперь взял под свое покровительство кооператив (отпустил триста рублей на оборудование и дал на семьдесять рублей литературы).

— Теперь хулиганству капут, — сказал председатель кооператива — Василий Тюнин, — в читальне не будет ни одного окурка, ни одного семечка.

В этом году среди прочей молодежи в Красную армию были призваны четыре комсомольца. Как-то я спросил у них шутя:

— Ходили по селу собирать яйца?

Прежде всегда рекрута приходили в каждый дом за яйцами, а по вечерам воровали кур. Это никем не осуждалось, а считалось признаком молодечества.

— Что вы, теперь этого и слыхом не слыхать. Прежде ведь некрута сразу можно было узнать: каждый день пьяный, буйный почем зря. А теперь все спрашивают: «Кто в этом году призван? Почему призывников не слыхать?» Потому и не слыхать, что теперь призывник — не хулиган, а сознательный человек.

— Подольше погости в деревне, — говорили мне соседи, — на свадьбах погуляешь.

Но я видел только «малый запой» и «большой запой»: я был на вечерках, где девки пляшут и величают парней. За три и за четыре песни парни дают девкам — то копейку, то семишник.

— А песни-то какие хорошие, разве две копейки стоят?

Как у сокола, как у ясного, болят крылушки,
Нельзя соколу, нельзя ясному по садам летать.
Как у молодца разудалого голова болит,
Нельзя молодцу разудалому в хоровод ходить,
А чем голову, а чем буйную полечить ему?
Свяжем голову, свяжем буйную голубым платком,
Голубым ли платком канифасовым.
Не с платка ли кудри, не с платка ли русы завивалися?
Красоте ли его, уму-разуму дивовалися.

Кто же является пролетарским писателем?

(Записки публициста.)

Валерьян Полянский.

Пишутся этюды и очерки о пролетарской литературе, издаются антологии, всякие справочники, намечаются издания и уже есть первые попытки дать, хотя бы в общих, основных линиях и зарисовках, историю пролетарской литературы. Но до настоящего времени, как ни странно, нет ясного научного ответа на вопрос: кто же является пролетарским писателем, каково по своей сущности пролетарское художественное произведение?

Писатель Я. Коробов рекомендуется как талантливый пролетарский писатель, — и не только в торговых рекламах Гиза и «Прибоя», но и в ответственных изданиях, в «Книге и революции», в статьях серьезных литературных критиков, например, у Г. Горбачева, хотя писатель по происхождению крестьянин, тематика его творчества всецело связана с деревней, а по мировоззрению он был всегда народником, до мучительного конца своей тяжелой жизни, и в первые годы пролетарской революции, когда занимался общественной деятельностью, держал за свое народничество ответ перед советской властью.

Сочинения Р. Акульшина выходят в «Библиотеке пролетарских писателей» издательства «Круг», а ведь работы этого автора по своему материалу и классовой обработке не свидетельствуют о его пролетарских взглядах, — наоборот, временами он идет в совершенно другую сторону, скептически и досадливо посматривая на строителей нового общества.

В это же время коммунист А. Аросев печатается тем же издательством «Круг» вместе с буржуазно-реакционным Е. Замятиным в серии «Новости современной литературы», хотя за ним все права на звание пролетарского писателя, даже и при строгом учете в его произведениях некоторых идеологических туманностей.

Много говорят и спорят о крестьянской литературе. Рост ее неизбежен, влияние безусловно. В Госиздате, во время обсуждения пятилетнего плана издания классиков художественной литературы, М. Горький убежденно заявил: «я хочу сказать, что нам нужно помнить то обстоятельство, что мы накануне создания двух литератур — крестьянской литературы и рабочей литературы. Этот процесс начался, и идет совершенно определенно крестьянское течение и городское, рабочее пролетарское течение».

У нас имеется Всероссийское объединение крестьянских писателей, а между тем многие не умеют отличить крестьянского писателя от пролетарского. Кто был А. Неверов? Одни утверждают — крестьянский писатель, другие — пролетарский, третьи — рабоче-крестьянский. В опре-

делении социальной сущности объединения путаются сами члены ВОКПа. Они пишут в своей платформе: «Крестьянскими нужно считать таких писателей, которые на основе пролетарской идеологии, но при помощи свойственных им крестьянских образов в своих художественных произведениях организуют чувство и сознание трудовых слоев крестьянства и всех трудящихся в сторону... бесклассового коммунистического общества». Крестьянские писатели отрекаются от кулачества, народничества, патриархальной жизни, религии, собственности, национализма, отмежевываются они и от «попутчиков». Одновременно платформа указывает, что «в массе своей крестьянские писатели... законченного мировоззрения еще не имеют. На них... сказываются пережитки мелкобуржуазной революционности, анархизма и народничества в разных его видах и разветвлениях. В психике крестьянского писателя еще глубоко гнездятся пережитки индивидуализма и собственности».

Выходит, что имеется два вида крестьянских писателей: идеальный, с пролетарским коммунистическим мировоззрением, — и старый, с пережитками индивидуализма и собственности. Одни в сознании своего превосходства организуют и ведут за собой других, а эти идут за ними, покорные, покаянные, не успевшие сбросить с себя старые одежды. Какая социальная идиллия!

Неограниченно господствует теоретическая путаница, социологическая неразбериха, весьма опасная, вредная. Необходимо из нее скорее выбраться. Надо вопрос ставить и обсуждать, чтобы, наконец, понять классовую природу отдельных группировок писателей и не делить крестьянскую группу на высших и низших представителей.

Сейчас наша художественная литература без различия направлений, пролетарская и «попутническая», захлестывается широкой волной мещанства. Нащупываются подозрительные в классовом отношении спайки и сращивания по линии психологизма, конфликты биологических начал с общественными требованиями, самокритики и неверия в наше строительство. В недалеком будущем несомненно произойдет перегруппировка в писательских рядах, идеологическая переоценка их творчества. Неизбежны неожиданности: писатели, которые приемлют Октябрьскую революцию, славословят индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, могут оказаться в тине мещанства, хотя бы и советского. Писатель — на крутом берегу, прибой мещанства шумит, классовая борьба в литературе все больше и больше привлекает общественное внимание. Писатель колеблется, устоит ли он? Если не устоит, то кого и куда снесет мутная волна? — Вот вопросы литературного сегодня.

Такое положение требует научного социологического анализа природы писателя, изучения истории его творчества. Писатель требует сейчас внимательного, острого глаза, тонкого понимания и глубокой проникновенности. Не на всех правильно наклеены ярлыки. Делали это наспех и не всегда достаточно авторитетные люди. Ходит писатель с ярлыком «пролетарский», например И. Уткин, а изучи его, — возьмет большое сомнение. С меркой на-глаз, в общем и целом, к писателю уже нельзя подходить.

За последнее десятилетие установился шаблон делить писателей на пролетарских, крестьянских, «попутчиков» и новобуржуазных. Эта классификация сложилась стихийно, случайно, она ненаучна. Если в основу классификации положить классовый принцип, то, естественно, будет только две основных группы: писатели пролетарские и писатели буржуазные.

В группу буржуазных писателей попадут крестьянские писатели, если мы не забудем, что крестьянство в строго научном смысле не является классом, если современные экономисты не докажут, что наше советское крестьянство стало классом. Как выразители определенной части мелкой буржуазии, сюда же войдут и интеллигентские писатели. В этой группе найдут свое место и «попутчики», поскольку они не в силах порвать своей мелкобуржуазной пуповины. |

Группа пролетарских писателей может иметь сектор писателей, — художественное внимание которых сосредоточено на городской жизни, на промышленности, на рабочем классе, и другой сектор, — который свой труд и свое вдохновение отдает деревне, крестьянству. Так сейчас и намечается. Входит в употребление термин «крестьянский сектор пролетарских писателей». Термин с марксистской точки зрения вполне верный. Он указывает, что эта группа писателей по своей классовой сущности, по своей идеологической установке принадлежит целиком к пролетарскому объединению; тематика же их, образы и речь связаны с деревней, с сельским хозяйством.

Многие полагают, что пролетарские писатели должны писать о фабрике, рабочем классе, труде, жизни города, в этой же обстановке они должны брать и свои образы, сравнения, эпитеты и т. д. Часто пролетарскому писателю ставят в упрек его художественные приемы, обусловленные жизнью деревни; рассматривают это как остаток, пережиток крестьянского мировоззрения. Вопрос этот необходимо пересмотреть и уточнить. Сейчас он решается поверхностно, по внешнему признаку. Важно не то, что образ берется из крестьянской жизни, а то, как он трактуется, какое в него вкладывается социальное содержание. Если мы утверждаем, что писатель может брать для художественного воплощения материал и из чуждых ему общественных групп, что дело не столько в материале, сколько в методе его обработки, то те же самые теоретические рассуждения мы обязаны применить и в вопросе об элементах формы произведения. Пролетарский писатель может свободно, не боясь нарушить идеологической чистоты и канонов своей поэтики, пользоваться материалом деревенского бытия. Когда-то рабочий бежал от полей и сельских равнин, видел в них узы, помеху своему освободительному движению, — теперь он с ними устанавливает тесный союз, поднимает их на свою высоту, наполняет своей классовой сущностью.

Такова диалектика исторического процесса, живой действительности.

* * *

Ясно, что мы не можем причислять писателя к той или только другой классовой группировке, основываясь на его происхождении или только на его классовом положении в обществе. Л. Леонов — крестьянин по происхождению, но он не идеолог деревни, типичный «попутчик», за последнее время с явным уклоном вправо. А. Безыменский — интеллигент по происхождению и положению, и все же мы все считаем его пролетарским поэтом. Вопрос разрешается в зависимости от идеологии писателя. Писатель-рабочий может быть мещанином, может быть выразителем враждебных рабочему классу настроений. Выходец из другого класса может быть выразителем, и притом максимально, передовых настроений рабочего класса. В живой жизни очень часто бывают положения, когда писатель, несмотря даже на политическую грамотность и свое образование, соединяет в своем творчестве разнообразные элементы и влияния. Задача критика, историка литературы — суметь вскрыть у писателя его

основной стержень, показать его основную классовую сущность, сумевши отбросить второстепенное, хотя, быть может, видное, довольно яркое. Такой термин, как «рабоче-крестьянский писатель», наука принять не может. Он не выдерживает никакой критики. Если принять за основу классификации отвергнутый принцип происхождения, получается несуразица; если же принять идеологический признак, то нельзя одновременно быть идеологом пролетариата и крестьянства и защищать классовые интересы двух различных общественных сил. Остается предположить, что писатель занимает какое-то промежуточное положение, что он не оформился. Это обязывает к тщательности анализа, к большему изучению творчества, чтобы не отделываться бессмысленными группировками. Придерживаясь термина «рабоче-крестьянской писатель», придется членов ВОКПа, поскольку там есть «чистые» и «нечистые» элементы и промежуточные слои, зачислить по этой категории, как в некоторое чистилище, в котором должна определиться классовая установка.

Пролетарский писатель, независимо от своего происхождения и социального положения, максимально выражает пролетарскую точку зрения. Этот тезис в основном правилен, но он требует развития и уточнения, договоренности и ясности. Встает вопрос, — будет ли писатель пролетарским, когда он выражает настроения отсталых слоев пролетариата, хотя бы и значительных численно, или групп, в политической жизни предающих интересы рабочего класса, — мы не говорим здесь о сознательных предателях пролетариата внутри класса. Некоторые думают: да, раз эти настроения в рабочем классе имеются, значит они пролетарские, значит и писатель, выражающий их, пролетарский. Логично, но абсолютно неверно. Возражают: среди рабочих есть антисемиты. Что же это—пролетарское настроение? Конечно нет, отвечают. Зачем такие глупости говорить! Ну, а меньшевизм, западно-европейский социал-демократизм наших дней, обусловленная им психология рабочего класса — является пролетарской в высоком смысле слова? Да, является. Антисемитизм — одно, меньшевизм — другое. Мы полагаем иное. Психоидеология, которая тормозит развитие рабочего движения, задерживает пролетарскую революцию, не может быть пролетарской, хотя бы за нее и держались численно значительные пролетарские ряды. Пролетарский писатель выражает передовую пролетарскую точку зрения. В наше время, после Октябрьской революции, пролетарский писатель должен выражать коммунистические настроения и идеалы рабочего класса. Лучше, конечно, когда писатель — член коммунистической партии, но это все же не обязательно, как не обязательно и то, чтобы он творил, справляясь с тем или другим пунктом резолюции партийной конференции или съезда. Естественно, рабочий класс хочет, чтобы его писатель выражал максимально его передовые устремления, —в наше время коммунистические, — но он, понятно, не выбросит из своих рядов и тех писателей, которые не имеют этой максимальности, раз нет психологического разрыва в основной линии.

Если мы требуем сейчас от пролетарского писателя коммунистического миропонимания и говорим о его чистоте, то с этой меркой нельзя подходить к рабочим писателям тех этапов рабочего движения, которые уже стали достоянием историко-архивного изучения. Было бы весьма наивно, ненаучно, не по-марксистски, если бы мы стали расценивать, например, творчество Е. Нечаева, подходя к его «Песням гуты» с коммунистической идеологией. Надо расценивать писателя исторически. Надо знать хорошо историю рабочего движения — и не только в его политико-экономических формах, но и в бытовом, психоидеологическом разрезе.

Это даст возможность проанализировать тематику писателя, определить широту захвата, глубину его проникновенности. Е. Нечаев начал писать в девяностых годах прошлого столетия. Тогда в широких массах пролетариата классовое сознание было мало развито. Оно далеко еще не достигало уровня социал-демократических требований. Только одиночки и незначительные группы поднимались до уровня западно-европейской социал-демократии. Естественно, что к творчеству Е. Нечаева надо подходить с учетом конкретных условий того времени. Его демократические тенденции — его плюс, а не минус; жалобы на судьбу, иногда граничащие с отчаянием, проклятия заводу и труду законны, понятны, неизбежны, характерны для того времени. Не мог же Е. Нечаев воспевать завод и труд так, как М. Герасимов, А. Гастев и некоторые другие. Если мы спустимся еще дальше вглубь времени, то увидим, что пролетарские поэты жили крестьянскими настроениями, собственническими инстинктами. Этого нельзя выкинуть из истории рабочего движения, не выкинешь этого из истории пролетарской литературы. Учет конкретной исторической обстановки, знание истории рабочего движения — непременное условие при оценке художественного произведения в целях определения классовой принадлежности писателя.

Если мы обратимся к пролетарской поэзии революции пятого года, мы найдем в ней много революционно-демократических формулировок. Поскольку в те годы шла борьба с самодержавием, поскольку борьба за гражданские свободы, за демократию, за Учредительное собрание была очередной задачей и неизбежным переходным этапом к развертыванию революции до диктатуры пролетариата и власти советов, поэзия этих лет была несомненно пролетарской, — она отражала определенную историческую ступень развития рабочего класса, когда он еще разрешал демократические проблемы, стоящие перед всей Россией.

У нас стало модой иронически относиться к пролетарской поэзии первых лет Октябрьской революции, периода военного коммуунизма. Все уверенно и как будто со знанием дела пишут: поэзия этих лет витает в межпланетных пространствах, носит космический характер, она беспочвенна, отвлеченна, никакого особенного значения не имеет, агитка романтическая и больше ничего. Величайшее заблуждение. Полное непонимание дела. Постановка вопроса явно не марксистская. Кем-то из «напостовцев» в пылу полемики было брошено непродуманное заявление, — подхватили, записали, другие приняли на веру и начали повторять. Для посрамления противника, может быть, это было удобно. Нужно было прижать в угол всех тех, которые сопротивлялись историческому перелому в пролетарской поэзии; в момент, когда она начинала наполняться пафосом мирного строительства, пафосом революционных буден, черной и подчас скучной работой, отдельные пролетарские поэты продолжали жить революционным романтизмом периода военного коммунизма. Некоторые до сих пор не осознали роли и значения нэпа и даже покинули ряды коммунистической партии, покинули с грустью, с горечью, но без злобы, честно. За это мы нападали, и правильно нападали, на М. Герасимова и В. Кириллова. Но отсюда совершенно не вытекает, что поэзия тех лет абстрактна и не имеет нужного эффекта. Что такое военный коммунизм? Разве мы в те годы не жили глубоким убеждением в неизбежности немедленного взрыва мировой пролетарской революции? Разве мы об этом не говорили на митингах и собраниях и не писали в прессе? Разве мы не уничтожали деньги? Разве мы не распускали налогового управления? Разве мы не вводили бесплатности почтовых услуг? Разве мы в эти годы тяжелой, кровавой борьбы с контрреволюцией, — но в то же

время и праздничной борьбы, борьбы, проникнутой революционным романтизмом, — много думали о развитии промышленности, о поднятии сельского хозяйства, о производительности труда, о нашей торговле? Все мы жили в обстановке революционного романтизма, усталые, измученные, но радостные, праздничные, непричесанные, неумытые, нестриженные и не бритые, но ясные и чистые мыслью и сердцем. Поэзия периода пролеткульта все это и отражала, — отражала ярко, огненно, киноварью, и ультрамарином, серых тонов и полутонов она не знала. В те дни не до малых было дел, решалась судьба пролетарской революции в России, а вместе с тем и решалась судьба мирового рабочего движения. Поэзия пересмотрела свое прежнее отношение к труду, фабрике, заводу, коллективу, к городу, она нашла новые образы, новые сравнения, эпитеты, новую речь, на освобожденном революцией заводе она подслушала новые песни, новую музыку, новый ритм; через закоптелые окна она увидела новые краски, яркие, дразнящие, зовущие в битву. Было полное отражение революции, полное по идеологии, психике и размаху. И не только отражение. Поэзия того времени играла огромную, исключительную роль в деле организации революционных масс и революционных настроений. Кто жил сознательною жизнью в те дни, тот должен был это видеть и чувствовать.

В. Брюсов, пришедший к советской власти и революции от символизма через ряд мучительнейших преодолений, колебаний и страданий, воспел и Ленина, и мировую революцию, и межпланетный совнарком. В его сердце еще жил червь прошлого, терзал его до бреда, когда он наедине с собою отказывался понимать происходившее, и все же и этот трезвый человек, подошедши к нам, был захвачен очищающим огнем революции, был увлечен высоким бушующим шквалом революционного романтизма.

На смену дням военного коммунизма пришли дни мирного, гигантского, но и кропотливого строительства. Поэзия от пафоса мировой революции перешла к пафосу партбилета, шапки, купленной по карточке, ежедневного строительства. Комсомольская поэзия, естественно, с величайшей устремленностью и свежестью молодого чувства проникла в психику строительства, заразилась ей и с задорным, смелым видом, бравурным тоном запела свои новые песни, отражая новые настроения, которых не было в предыдущие годы.

Если бы мы подошли к поэзии военного коммунизма с требованиями текущего момента, когда мы уже прошли период восстановления народного хозяйства и вступили в полосу его реконструкции, когда мы имеем новые факты и явления экономического, политического, культурного порядка, когда произошли какие-то изменения в сознании и психике народных масс, когда и жизнь далеко ушла вперед, мы утеряли бы исторические перспективы, мы не были бы марксистами, мы не поняли бы и не почувствовали бы полноты и силы этой поэзии. К поэзии нэповского периода мы естественно предъявим большие идеологические требования. Демократические настроения поэта, — поскольку он нейдет дальше их, не видит, не чувствует и не отображает сознания и психики, оформляемых развитием революции и диктатуры пролетариата, — мешают ему быть выразителем передовых слоев рабочего класса, лишают его звания пролетарского поэта. Если эти революционно-демократические устремления органически слиты с его коммунистической идеологией, поэт — передовой боец своего класса, его идеолог. Если нет, — поэт оторвался от класса, отстал от него, застрял на пройденном историческом этапе и через это потерял великое звание певца пролетариата.

Последние годы нашей революции, — когда мы проводим индустриализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства, когда отдельные элементы, путаясь в этой политике, впадают в неверие, в пессимизм, тянут пролетариат назад, поддаваясь мелкобуржуазным влияниям, социал-демократическим тенденциям, — требуют от пролетарского писателя особенно четкой и выдержанной коммунистической идеологии. Не только революционный демократизм, допустимый в предыдущие периоды, но и социал-демократизм писателя уже ставят его вне передового сознания, передовых настроений, передовой воли класса. Поэт не только не выражает, но и мешает движению своего класса к его конечной цели, ибо он расходится с классом в понимании основных задач класса. Он перестает быть пролетарским поэтом.

Какие выводы из всего сказанного? Если мы станем писать историю пролетарской литературы с момента ее зарождения в XIX столетии до последних дней, будем выяснять, какой писатель является пролетарским писателем, какова его классовая установка, в чем сказалось и как отложилось влияние других классов, — словом, будем определять, как теперь любят говорить, стиль пролетарской литературы, нам придется наметить ряд этапов, эпох. Извиняюсь перед теми, для которых этот термин методологически отдает чем-то старым, отжившим, даже не марксистским, как заявляют отдельные смелые, пылкие, но недостаточно углубленные и ориентирующиеся умы. В каждую эпоху пролетарский писатель должен выражать максимально передовые настроения рабочего класса на данном этапе развития. Это приведет к принятию в нем целого ряда наслоений мелкобуржуазных, либеральных, демократических, социалдемократических и т. д., но для каждого этапа определенных и законных, поскольку они на данной исторической стадии развития рабочего класса были неизбежны в самом рабочем классе, в его авангарде. Пролетарский писатель выявляет классовую позицию в связи с развитием и ростом самого класса. Вместе с классом он проходит все стадии развития и отражает все основные, исторически неизбежные черты класса. Как отдельный человек, как все человечество, вместе с своим ростом меняет свой облик, так и класс, сохраняя свои основные черты, — растет, мужает, берет в свои руки власть, из раба становится руководителем и строителем нового общества, он меняет свой внутренний облик. К оценке пролетарского писателя, к анализу его художественного творчества можно подходить только исторически, диалектически, с учетом всего конкретного бытия, а не только из требований отвлеченной теории. Абстрактная теория, лишенная живого содержания, становится мертвой, бесполезной.

Во многих случаях перед историком пролетарской литературы еще в процессе подготовительной работы станет вопрос, не является ли данный писатель, несмотря на то, что он уже причислен к ВАППу, «Кузнице», «Перевалу» и т. д., крестьянским или выразителем какой-либо другой общественной группы в наши дни, например «попутнической» и новобуржуазной? Ему придется пересмотреть понятие «крестьянский писатель», придав ему определенный классовый характер. Отдельные нынешние крестьянские писатели несомненно должны считаться пролетарскими. Почему, например, коренной пролетарский писатель, поэт и беллетрист, коммунист по всему своему складу, революционер-подпольщик, А. Богданов, отразивший в своем творчестве длинную полосу рабочего движения, считается крестьянским? Да потому, что платформа ВОКПа теоретически эклектична и несостоятельна, потому что в этом объединении есть «чистые» и «нечистые», «высшие» и «низшие»

в идеологическом отношении. Есть коллективисты, коммунисты, а есть и больные индивидуализмом, собственническим инстинктом.

Историку пролетарской литературы не раз придется констатировать, что тот или другой пролетарской писатель, яркий и признанный певец класса на одной стадии его развития, на другом этапе теряет свой голос, порывает с классом и перестает быть его выразителем, становясь классу ненужным и даже чуждым. Эта печальная драма развернулась на наших глазах. Для пролетариата погибли В. Кириллов и М. Герасимов, а в прошлом их роль и значение в пролетарском творчестве колоссальны. Они были самыми популярными и любимыми поэтами. Потерял свой голос Е. Тарасов, а в период революции пятого года он брал высокие ноты, его голос звучал чисто, а теперь его знают лишь одиночки,—да и то некоторые из этих одиночек знают по слухам.

Каждый этап рабочего движения имеет своих пролетарских писателей. Каждый этап имеет свои характерные особенности. Поэт их отражает. Эти особенности в один исторический момент характерны, неизбежны для класса, обусловливают его движение вперед, — в другой момент эти же особенности случайны, являются пережитками, говорят об отсталости отдельных групп класса. Так и писатель — идеолог и певец класса в одни годы, — в другие годы он нередко отстает от класса. Пролетарский же писатель должен итти впереди класса, должен с максимальной ясностью и силой отражать основное, органическое движущее класс от победы к победе, переходя с ним от этапа к этапу.

Если в прошлом мы можем принять пролетарского писателя с его мелкобуржуазным, крестьянским или демократическим содержанием, поскольку последнее было составной частью жизни класса, то теперь мы требуем от пролетарского писателя максимальной коммунистической чистоты, не запачканной мещанством, мелкобуржуазными и социал-демократическими влияниями. Авангард класса поднялся на определенную высоту, и писатель класса должен отражать настоящее класса, его тенденции будущего, а не пережитки, не балласт, который тянет класс назад, мешая итти вперед.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

(Н. Богданов, — Первая девушка, романическая повесть, изд. «Молодой гвардии», 1928), ц. 1 р. 20 к.

I.

Художественная пролетарская литература, охудожествление пролетарской литературной продукции — вот лозунг, щий на очереди дня перед деятелями современной литературы. Вопросы мастерства, творческого оформления, преображения прозаической действительности недаром занимали последний пленум пролетарских писателей — в искусстве без правильного решения этих вопросов далеко не уйдешь. Идеологическая насыщенность современного материала, революционная тематика ждут творческого преодоления, ждут поэтического выражения в пределах художественной формы, чтобы стать действительно произведениями искусства. «Почему до сих пор в пролетарской литературе преобладала схема?» — спрашивает один из лучших пролетарских писателей, автор «Разгрома» Фадеев. — Пот му что она «настолько еще художественно слаба, что в очень большой степени подходит к изображению человека от политической книги, а не от окружающей художника конкретной действительности» («Октябрь», 1928, № 12). И писатель призывает увидеть мир «таким, каков он есть», уйти от «искаженных представлений о мире», составляющих, как известно, удел не только произведений художественно-слабых, но, главным образом, дидактических и так называемых «тенденциозных».

«Здесь намечается и поэзия и марксизм — явление редкостное...» — замечает об одном произведении редактор стенгазеты в повести Н. Богданова, о которой мы дальше поведем речь, — и вот этот синтез идеологии с художеством, формы и содержания есть тот идеал, об осуществлении которого мечтает современность. Вот почему с пристальным вниманием мы встречаем каждую новую, выделяющуюся над средним уровнем, книгу нашей молодой литературы, ища в ней ответов на поставленные выше вопросы.

II.

В последнее время стал выдвигаться в поле читательского внимания молодой пролетарский писатель Н. Богданов. Лучшая вещь его, изданная теперь «Молодой гвардией», — «Первая девушка» читается с несомненным интересом; несмотря на целый ряд существенных недостатков, в ней есть искренность, какая-то мягкость и теплота наивности, — что всегда в литературе волнует. В повести есть и попытки чисто-художественного разрешения поставленных проблемных вопросов, изображения конкретной действительности, «как она есть»; все это объясняет тот интерес, который вызывает эта книга среди многочисленных образцов стандартизованного литературного сочинительства. Но главное значение повести — все же в ее видимой документальности. Это — как будто книга о днях жизни нашей молодежи.

Книга Богданова — повесть не только о «первой девушке» комсомольской ячейки, но и о первых юношах ее, о первых людях комсомола; как автор сам комментирует повесть, это «запись роста» личности героя, «нового человека», который «сквозь нелепости, случайности из хаоса упорно прет», — и вот он, выросший, «весь трепещущий, устремленный вперед»... Перед нами рассказ деревенского комсомольца,

«стилизованный» в духе повести Н. Огнева, — в сущности, дневник Кости Рябцева, перенесенного в обстановку деревенской ячейки, с его своеобразным восприятием мира, подхода к сложным психологическим явлениям, проблемам, выдвигаемым жизнью, с его своеобразным «стилизованным» языком неграмотного парня, столкнувшегося с рядом новых понятий, с новой сложной терминологией. Автору, в общем, хорошо удалось воссоздать этот «косте-рябцевский» язык своего героя, в котором смесь натуралистической речи с высокими книжными оборотами, с речевыми трафаретами современности, в его устах приобретающими своеобразно-юмористический оттенок. Хаотичности стиля соответствует и известная хаотичность идейных представлений. Сначала кажется, что герой Н. Богданова живет только во-вне, «пожелтелыми брошюрками» скудной библиотеки; его язык — не свежий, парадный, самобытный, а газетно-вычурный, ставший уже штампом, комический язык новейшего писарского «письмовника»... Приглашение учительницы к участию в спектакле он воспринимает, как «новое, и, прямо сказать, унижение перед гнилой интеллигенцией», как «влияние мелкобуржуазной интеллигенции». «Подошедшие события памятного дня застали меня на-чеку», — записывает он. Но хотя Алехин (так зовут нашего Костю Рябцева) и живет скудным обиходом готовых речений, — но при более внимательном всматривании в существо повести читатель призван увидеть за этой банальной поверхностью несомненно оригинальный процесс собственного мышления, роста идей, понятий, роста духовной жизни. Такова задача автора, как мы уже говорили, — к сожалению, оказавшаяся не выполненной художественно; динамики личности автору не удалось показать; о событиях, развивающих эту личность, он только рассказывает, но не показывает, как они отразились в развитии психики героя. Алехин — статичен. Каков он в начале повести, таков и в конце. Вот он на собрании ячейки читает «поразительно антирелигиозную книгу» — «Декамерон» Боккачио, попавшую из разгромленной помещичьей библиотеки. «Правда, название не русское, но и Маркс немец».

В «протокол» собрания заносится: по пункту 4: «Слушали: политграмота. По антирелигиозному вопросу слово Боккачио. Постановили: одобрить, и желательно, чтоб составил он также про наших попов и монахов...» И таков же он на агитпредставлении в маскараде в конце повести.

К сожалению, события, свидетельствующие о росте комсомольца Алехина и всей ячейки, повторяю, не оделись еще в художественную плоть, не сделаны художественно-убедительными и правдивыми, остались на ступени первоначальной художественно-беспомощной «схемы», о которой, как мы знаем, говорил Фадеев. Автор лишен дара изобразительности; поэтому образов «живого человека», «нового человека» у него не получается, хотя бы он всячески и отмечал детали, вроде развевающегося «локона», который всегда выплывает на сцену, когда действует его героиня Саня. Самой Сани все-таки не видишь, не ощущаешь ее живого лица. За схемой политической борьбы в деревне не видишь живого художественно-правдивого лица этой деревни, а между тем, как много интересного можно было бы тут показать читателю: борьба ячейки за новый строй в деревне, борьба с кулаками, с представителями власти — предвиками, оказавшимися на стороне кулаков, наконец с «дезертирами» — это ведь сочная картина деревни того периода... Жуткой правдой вот повеяло от нескольких строк, где рассказывается о диком насилии «дезертиров» над героиней повести, но и тут непременная надуманность, «литературщина» штампованная («нежная родинка на пушистом белом животе»), разбивает впечатление. А все сцены борьбы с «антоновцами» звучат совсем фальшиво: положение напряженное, опасность смертельная, а автор описывает «задорный смех» и «развлечения» девчат; кто-то из исполкомовцев трагически и с цыганским привкусом восклицает по адресу девушки: «О, похитительница моего счастья!», а другой философствует о «вечности материи»: словно дело происходит на пикнике!.. А если автор хочет описать борьбу серьезнее, то получается совсем как в спектакле, устроенном героями Богданова в деревне, где раненый воин упал и провозгласил, испуская дух: «умираю за идею!».

Вместо художественной правды о деревенских отношениях и комсомольской работе — перед нами трафаретная идеализация героев, наделенных «добродетелями», воплощающих пафос революции и победоносно разрушающих все козни врагов...

III.

Богданов повесть свою назвал «романтической повестью». Этим указанием на характер жанровой стилизации он желал заранее оправдать и утвердить свой прием идеализации. В пределах жанра это оправдание возможно, но оно не освобождает автора от требований, предъявляемых читателем ко всякому современному произведению: требованию художественной правды. Сейчас «романтика» в своем чистом и серьезном виде не может подаваться: она будет отвергнута мало-мальски вдумчивым читателем со вкусом. Как прием, можно использовать романтику только в условно-ироническом, «стилизованном», пародийном виде, контрастно оттеняющем изображаемую реальную действительность. Герой-юноша может романтически идеализировать мир постигаемый и в соответствующих тонах рассказать нам об этом, но природа данного литературного приема требует, чтобы читатель видел сбоку тонкую добродушно-ироническую усмешечку самого автора, его скептический корректив к картине: тогда прием оправдает себя... У нашего автора «стилизационная» условность приема только местами подчеркивается; зато в остальном рассказ переходит в серьезный тон подлинного жанра — жанра, как я уже сказал, архаического и потому звучащего фальшиво для читателя наших дней. Читатель не верит в то, что у Богданова только литературный прием романтической пародийности, он не видит преодоления этого приема, он даже больше: ясно ощущает, как, — может быть, задуманная — «пародия» переходит в подлинный жанр. Перед нами — в фигурах, в описании событий, изображении действительности — определенная установка на романтическую мелодраму со всеми ее эффектами, на идеализацию, на героический сказ. Но романтизм — ввиду художественной слабости автора — схематический, какой-то прозаический, лишенный подлинного дыхания романтических эмоций, крыльев подлинного вдохновения.

В таком исключительно-романтическом, героическом и схематическом показе сделан весь образ девушки Сани, стержневой образ повести, напоминающий отдаленно — как и вся композиция повести — романтическую Горьковскую повесть о «Двадцати шести и одной». Таковым воспринимается читателем этот образ не только через преломление несомненного романтика Алехина, но и в разрезе авторского замысла: Саня, «первая девушка», должна явиться выражением героической романтики революции этих лет, противопоставлением романтического начала прозаической обыденности «самой обыкновенной, незаметной ячейки». В том-то и художественный дефект повести, что не чувствуется грани между психикой комсомольца Алехина, глядящего на девушку восхищенными глазами идеализации, — и неприкрашенной правдой реальности; рассказ Алехина приписывается читателем самому автору.

«Она сказала здравствуйте и ничего особенного», но все это необычайно в действительности, ибо она — Саня — «первая девушка», которая «осчастливила» своим вступлением ячейку. Высокопарная риторика сопровождает героиню по всей повести: она — «наша краса и гордость», она — не «обыкновенная сельская девушка», а ни более ни менее, как «сама революция, каких (!) рисуют в красной мантии, только уездного масштаба, чудесно явившаяся к нам». Она — изобилие всех добродетелей, она — все видит, все знает, все понимает. Благодаря ей члены ячейки приобретают учебник настоящей политграмоты (вместо Боккачио) и скоро узнают, что такое «Третий Интернационал и хитрая механика капиталистического мира с его прибавочным трудом и кризисами». Она им всем — и вроде матери, и от ее взглядов хочется «прямо сейчас же подвигов». Не девушка деревенская, а чудо, сказочная фея сусальной фабрикации!

Умирающий комсомолец Усачкин, находясь в агонии, от ее ласки «посветлел» и «улыбнулся», а ее лицо стало «строгое и стройное (!)»; она поцеловала его тихо

и долго, и он «потихоньку стал вытягиваться» с улыбкой; а убивающаяся над телом сына мать Усачкина тут же тоже начинает «улыбаться», увидав, что «сама Саня» убирает ее сына цветами...

Конечно «поблескивая своими серыми большими глазами», Саня говорит речи: «Не вы одни готовы плакать, а вся Россия, наша темная, неразумная, непонимающая себя...» и т. д., как по-писанному, но она же и поэтична, она же ночью гуляет непременно при «луне» и поет трогательно непременно «Белеет парус одинокий» и любит «нежные полевые цветы»... И, конечно, она призывает крестьянок к «какой-то другой жизни»; и в городе в укоме «вся она, стройная, светлая», возбуждает «восхищение», а раненая в бою — она «молодцевато тряхнула головой» и «крылатая буденовка озарила бледное лицо»... Словом, не девушка, а мечта... Весь ассортимент художественной пошлости и романтической халтуры, цыганских романсов, перепетых на новый лад Иосифа Уткина, — здесь на палитре нашего «романтика». И хуже всего, повторяю, что читатель относит ее не на счет восторженной психики рассказчика-комсомольца, а самого авторского восприятия. Автор лишен того тонкого чувства юмористической критики, которой требует, как мы сказали, жанр «стилизованной» романтики...

IV.

Во второй части повести автор, однако, выпадает из своего жанра, сталкиваясь с новым фабульным материалом. На описании любовных похождений героини, — казалось бы, самой природой вещей отмеченных печатью сугубого романтизма, — автор сталкивается с необходимостью реалистического постижения фактов; здесь романтика сводится на землю прозаическую и здесь автор пытается отойти от героических штампов стандартизованной литературы, чтобы разрешить в какой-либо степени волнующий его вопрос. Здесь автор порывает с романтизмом, но впадает в самый подлинный натурализм,— опять-таки схематический, лишенный элементов художественной образности, слишком прозаический. Опять не «живые» люди, а мертвые схемы романтики ли, натурализма ли — вот литературные черты повести, лишающие ее художественной убедительности. Но в этой части книги, даже в самом безрадостно-натуралистическом изложении событий, уже чувствуется некая правда жизненных отношений, действительно, мучительных и трагических для молодежи, здесь автор подходит— пусть и схематично—к «живому» человеку наших дней, и эта часть повести приобретает интерес если не художественный, то остро-документальный, «проблемный»— живого человеческого документа эпохи.

С разрешением проблем половой жизни нашей молодежью мы знакомы уже по многим произведениям современных писателей. Вопроса, в какой степени действительно молодежь так живет, как это описывают П. Романов, Малашкин и другие авторы, мы здесь не будем обсуждать, но Н. Богданов в этой части своей повести в сущности подтверждает пессимистические уверения названных писателей.

Любовь — человечна. Трагедия «первой девушки», по мысли автора, должна поднять вопрос о повышении «цены на человека»; она протестует против «наплевательского» отношения к человеку; дидактический смысл повести автор определяет так: «чтоб ребята осторожней и внимательней относились к девушкам, а девушки — сами к себе». Эта пропись, суживающая вопрос, характеризует весь публицистический, чисто-проблемный подход автора к своим задачам писателя. Мы бы предпочитали отсутствие всяких moralités, в искусстве только творческие образы имеют силу действенности. Художник мыслит не «силлогизмами», а «образами». В непонимании этого — угроза молодому писателю, и он должен учесть ее и осознать во всей серьезности ее.

Не будучи явлением художественным в настоящем смысле этого слова, но написанная искренно и свежо, «романтическая повесть» Н. Богданова, как мы уже сказали, несет на себе печать проблемной значительности, как человеческий документ, документ эпохи, серьезно подымающий не новый для нас, но все еще мучительный и волнующий нашу молодежь вопрос. «Разве тысячи девушек не переживают эти «неувязки»? — спрашивает автор. И он прав.

Д. Тальников.

А. Пестюхин, Тундра, стихи, изд. «Федерация» 1929, стр. 104, тир. 2000, ц. 1 р. 25 к.

Книгу стихов открывают сразу два(!) эпиграфа — из Кольриджа и Гумилева. Они, видимо, заменяют предисловие и потому звучат как поэтическая декларация, как обещание.

Но, прочтя несколько стихотворений, убеждаешься, что «заявление» автора о своей причастности к мужественно-романтическому направлению в поэзии сделано ошибочно, без достаточного знания самого себя: своих сил и, главное, характера своего дарования.

Вместо героической романтики в сборнике самая обыкновенная лирика, элегические раздумья, реалистические картины... Это совсем не значит, что мы романтике, хотя бы и героической, отдаем предпочтение перед другими литературными школами. Дело не в этом.

А. Пестюхин старательно «тащит» себя к гумилевско-кольриджевской печке, от которой ему почему-то больше всего хочется танцовать, тогда как помимо его воли он лучше танцует от печки другой. В этой неверной творческой установке, в этой явно творческой неосознанности и кроется вся беда молодого автора. Отсюда ритмическая, частью тематическая несамостоятельность и пестрота влияний, которым подвержены почти все стихи.

Например в стихотворении «Самоед» видно одновременно влияние и Гумилева и Есенина:

Самоеда прозвали Туйким, —
Был он маленький, словно гриб,
Смуглолицый и длиннорукий,
Знавший ветер, зверей и рыб.
Часто, часто, когда холодело
И поземка крутила снег...
и т. д.

В других стихах сильно заметно влияние Бунина, а иногда даже и Бальмонта: «Утро в гавани», «Северное сияние». Из современных поэтов на Пестюхина влияли слегка Багрицкий («Галера»), Наседкин («Рыбачье детство») и Санников (поэма «Смерть Боливии»).

К недостаткам стихов следует также отнести их чрезвычайно примитивную композицию и небрежную рифмовку,—например шара — пожаре, качнулась — пуля,— это там, где рифмы и без того крайне стары и небогаты.

И все же в сборнике есть стихотворения, которые прочитываются с большой легкостью, оставляя радостное ощущение какой-то большой свежести. Это в первую очередь стихи: «Взморье», «Ледовитый океан», в меньшей мере «Полярное лето», «Гостьба».

Уже в предчувствии мороза
Подшерстком обрастает лис.
Здесь каждый куст впадает в детство,
И, буйным гулом обуян,
Свое великое соседство
Напоминает океан.
А там вдали, где стынут чумы
И оловянеет река,—
Нордвест широкий и угрюмый
Проносит дым издалека.

Свидетельствуя о глубоком и здоровом поэтическом мироощущении, стихи эти в то же время говорят, что Пестюхин именно здесь находит свой голос, немного глуховатый, как бы придушенный, но все же свой иногда величавый и реалистически мужественный.

Автору «Тундры» пора прислушиваться к самому себе и петь только о том, что близко, отметая чужое, случайное. А чужим для поэта можно считать и все туркестанские мотивы. Книга внешне издана хорошо.

Р. А—н.

Иван Катаев, Сердце, повести, изд. «Федерация» 1929, стр. 199, тир. 5000 экз., ц. 1 р. 70 к.

Ивану Катаеву, автору «Сердца», доступно тонкое обыгрывание людей и вещей — обыгрывание, вкладывающее в них душу живу и показывающее их читателю с неожиданной стороны. До повести Катаева «Сердце» мы не знали, что «если Гущин опирается руками на край стола и склоняет голову — будто в ухо ему попала вода, — это означает внимание». Точно так же мы не замечали «нежных, как дыхание, уголков — между глазом и переносицей», а ведь «каждого кто-нибудь любит целовать в эти уголки». Мир образов и сравнений Катаева широк и оригинален, рядом с образами, опирающимися на зрительные и слуховые ассоциации, культивируются образы литературные, по-новому использовывающие

традиционные аналогии («Сюда войдут, как ослепительные латники, никкелированные самовары, громыхнут шпорами и замрут на полках, ожидая прекрасную даму — каждый свою единственную»).

Из трех вещей, включенных в сборник («Сердце», «Поэт» и «Жена»), со стороны идейной наиболее значительно «Сердце». Повесть с примитивным развитием сюжета (автор, очевидно, не додумал некоторых моментов композиции — в сказ Журавлева нельзя было включить описание им же самим своих предсмертных мгновений), но очень рельефным показом тех элементов человека современности, которым присваивается название — элементы нового человека. Катаеву удалось значительно расширить список этих элементов; кроме привычки ко дням, насыщенным доотказа службой и нагрузками, кроме категорического сращения личных интересов с выгодами общественного дела, его герой (председатель районного кооперативного объединения) обладает еще сердцем, чутко прислушивающимся к человеческим горестям. Правда, он как будто считает слабостью характера свое желание помочь Толоконцевым, сам автор также готов просить извинения за поведение своего героя (отсюда некоторая ретушировка его сентиментализма), но лишь Володе Макарову («Зависть» Олеши) человек коммунистического общества представляется «человеком-машиной». «Сердце» Катаева голосует за культуру «большевистской фракции чувств» в человеке современности; в этом призыве к классовой гуманитарности — значение повести.

Катаев извиняется за присущие кооператору Журавлеву человеческие слабости (между прочим, все они выдержат строгую критику «большевистской фракции чувств»: в заботах о предоставлении Толоконцевой причитающейся ей по закону пенсии столько же предосудительного, как в помощи человеку, вывихнувшему ногу на скользком тротуаре). Вместе со своим героем он готов считать внимание наших лет — революции — к вопросам искусства также слабостью. «Сначала это — вдосталь, по горло, всем, потом — остальное. Доброта, изящество мысли, искусство вырастут сами, расцветут. Я понимаю — они еще важнее, но для них нужно изобилие, — чтобы человек не заглядывал другому в рот и не думал: сукин сын, ты проглатываешь, лучше бы мне проглотить» (интересно, что те же мысли в несколько иной редакции высказывает и поэт Гулевич в повести «Поэт». Он делит свои произведения на «настоящие» и «ненастоящие»). Искусство — роскошь, чуть ли не накладные расходы, возможные при изобилии эпохи. Ясно, что эти выводы, минующие вопрос об организаторской роли искусства, не аналогичны марксистским. И очень грустно, что автор выразил их в столь категорической форме. За них, как за изъян марксистского мироощущения, действительно мог просить извинения герой повести «Сердце» — кооператор Журавлев.

Наименее интересен рассказ «Жена», — очевидно, одно из первых произведений Катаева. Вопрос, разрешаемый рассказом, больно ощущается современностью (разница культур в семье), но поставлен он без права на синтетические обобщения.

Виктор Красильников.

Яков Коробов, Н а о с т р и е н о ж а, воспоминания, том второй, Гиз 1928, стр. 255, тир. 4 000 экз., ц. 2 р. 50 к.

Второй том воспоминаний Якова Коробова, вышедший уже после смерти автора, посвящен главным образом эпохе 1905 г. Писатель (точнее поэт, ибо над прозаическим жанром Коробов стал работать лишь в советские годы), служивший тогда во Владимирской губернии продавцом деревенской винной лавки, имел возможность и желание «вглядываться в корни крестьянской жизни», а соседство с городом Владимиром позволяло заводить связи с губернской интеллигенцией. Политические убеждения мемуариста прекрасно характеризуются признаниями: «В городе (Владимире. *В К.*) было две организации: социал-демократов и социалистов-революцивонеров. И та и другая были мне крайне симпатичны, и в той и другой я пользовался доверием самых видных членов, но сам остался беспартийным — и меньше всего из осторожности. Может быть, просто самолюбие до некоторой степени не позволяло мне

итти «на поводу» у известной мне молодежи, где я по своей неопытности не мог занять видного положения, или же просто потому, что я не мог сделать надлежащего вывода: которая же из двух больше соответствует моим убеждениям». Неопределенность политических верований автора не помешала ему в дальнейшем стать внимательным учеником по марксизму у П. И. Лебедева (П. И. Лебедева-Полянского), сосланного во Владимир, активно помогать партийным организациям в сношениях с политзаключенными и настойчиво обрабатывать крестьянское мнение в сторону «Учредительного собрания» и «республики с президентом». В воспоминаниях много ярких сцен, рисующих трудности работы с собственнически настроенным крестьянством; вопрос о том, как поступать с барской землей — забрать ли в пользу ближней деревни или делить поровну, — даже в теоретических разговорах «стариков» казался неразрешимой задачей. Попутно с характеристикой настроений деревни изображается рабочее движение в тех его участках, которые мог наблюдать автор (разгон рабочих митингов на Талке в Иваново-Вознесенске).

Воспоминания Коробова не блещут обилием встреч и знакомств с историческими людьми 1905 г., не поражают количеством разработанного материала, они — провинциальны (Владимирская губерния). Но в них читатель найдет много прекрасных зарисовок типичных представителей губернской России, поймет настроения и стремления крестьянства, интеллигенции, городского мещанства. В нашу мемуарную литературу посмертные воспоминания Якова Коробова внесут нужный вклад.

Виктор Красильников.

Николай Борисов, Укразия, кинороман, Зиф, стр. 192, тир. 5 000, ц. 1 р. 25 к.

Оценить «Укразию» как метариал для киносценария — дело соответствующих специалистов (в свое время в газетной прессе оценки были даны). Мое дело — характеристика «кинороманa» (подзаголовок автора) как литературно-художественного произведения. К сожалению, начинать рецензию приходится категорическим заявлением: ценность «Укразии» равна нулю, она вне литературы. Автор использовал худшие приемы авантюрного романа: красные (в годы гражданской войны на Украине) не только в воде не тонут и в огне не горят, — они просто награждены бессмертием и могут позволить себе втроем-вшестером итти походом для освобождения арестованных, каковой (поход), конечно, обязан для них кончиться удачей. Характеристики всех без исключения героев даны плакатом— от белых офицеров за версту пахнет разложением (как от городских свалок), члены ревкома могут соперничать в бесстрашии с рыцарями романов Вальтер-Скотта. Автор агитирует неустанно, слова «старый и новый мир» употребляются на каждых десяти страницах, революционеры «пламенно чеканят слова», «любовно поглаживают маузер, ласково улыбаясь мыслям, от которых стало бы жутко белым», и уверены: «наш час придет». Белые же соответственно «любовно опускаются около трупов (красных) и, с удовольствием жмурясь, накидывают петли на шею». Безграмотность кинороманa удивительна, автор должен быть награжден первой премией за издевательство над «великим русским языком». Достаточно четырех примеров: «смех, ругань прерывались клокотанием в горле самогона» (стр. 17); «унтеру удалось вывернуть ей руки назад и тем самым лишить ее возможности протеста» (стр. 44); «генерал остановился от своего бега» (стр. 60); «пьяный туман заструился из шампанского» (стр. 89).

Моя рецензия могла бы быть меньше размером, но были к этому вынуждающие обстоятельства: на последней странице в сноске напечатано: «В кинороманe «Четверги мистера Дройда» читатель познакомится с дальнейшей судьбой героев». Неужели Зиф согласился издать еще одну халтуру?

Виктор Красильников.

Андрэ Моруа, Путешествие в страну эстетов, изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 64, ц. 30 к.

Повесть Моруа представляет немалый общественный интерес как свидетельство того духовного тупика, в который зашла

буржуазная литература современной Франции.

История литературы знает многочисленные образцы социальных утопий: Платон, Томас Мор, Кампанелла, Кабэ, Беллами и др. В разные эпохи разные классы пользовались этим жанром для воплощения своей социальной мечты, не находившей реализации в окружающей действительности их эпохи.

Но если класс молодой, полный нерастраченных, накапливаемых сил создавал преимущественно утопию оптимистическую и социально-прогрессивную,— то класс, уходящий со сцены истории, проявлял здесь полную противоположность. Его утопия всегда оказывалась реакционной, обращенной к воскрешению ветхих, отживших форм, и притом — пессимистической, так как у такого класса не было и не могло быть ни внутренней уверенности ни материальных сил для возможности осуществления его мечты.

Мопассан, писатель дворянства — класса вымирающего — оставил своеобразную утопию. Это его новелла «Усыпительница». Речь идет здесь о том, что в государстве будущего человеку будет облегчен уход от жизни. Ему не нужно будет мучительно вешаться, травиться, стреляться; в специальном, благоустроенном заведении он вдохнет чудесный аромат ядовитых цветов и спокойно, незаметно, очарованно перейдет в небытие. Класс, видящий неизбежность смерти, живущий единственной мыслью о ней, мечтает уже только о том, чтобы самая-то смерть была по возможности комфортабельна...

Андрэ Моруа, представитель одной из правых групп французской буржуазной интеллигенции, писатель-фабрикант, тоже взялся за этот жанр. Остро сознавая всю силу, всю неразрешимость социальных противоречий, предчувствуя грядущую гибель своего класса, Моруа до сих пор находил спасение от неприятной действительности, прячась в искусство, в эстетизм. Ныне он строит на этой основе свою утопию, где мечтает о том, чтобы социальная власть попала в руки художников. Он рассказывает об острове эстетов.

Как и во всяком благоустроенном государстве, — полагает Моруа, — здесь должно быть социальное неравенство. Два класса: класс господ, эстетов, художников, освобожденных от всякой жизненной прозы, и класс рабов, беотов, занятых обслуживанием господ. Если верить Моруа, в этом государстве царит безмятежный социальный мир, ибо цементом, скрепляющим классовые противоречия, является общая для всех любовь к искусству. Беот, не любящий искусства, становится отверженным, парией. Поэтому, — утверждает Моруа, — для беота и нет большего удовольствия, как накормить эстета.

Интересная деталь: стремясь разгрузить эстетов от житейских обуз, Моруа поручает заботы о политическом и общественном управлении беотам. Но эстеты — все же класс командующий. И они сохраняют в своих руках публичные зрелища, печать. Замечательно это обнажение классовой гегемонии в искусстве! Ведь буржуазные писатели типа Моруа всегда так упорно утверждают, колотя себя в грудь, что искусство аполитично.

Как будто остров эстетов — подлинный рай для художника. Только бы сидеть да «творить». Но... рай этот оказывается никуда негодным. Ибо Моруа не может не констатировать процесса вырождения избранной касты. Физического: эстеты хрупки и болезненны. Культурного: оторванные от жизни они становятся невежественными. Творческого: жизнь без деятельности не дает топлива творчеству, а «искусство для искусства» — печальная, холодная пустота... Моруа не может не замечать и того, что среди беотов появились некие вредные юнцы с антиэстетским лозунгом «жизнь выше искусства».

Так государство эстетов, реакционно опирающееся на старые формы классового неравенства, терпит неизбежный крах. Утопия буржуазного класса, обреченного логикой истории, оказывается пессимистической. Моруа еще не дошел до забот о благоустройстве смерти, как Мопассан, но он охвачен тоскливым безверием. И счастливый конец, присочиненный к повести, тщетно пытается уравновесить тон горьких эмоций, рождаемых крушением мечты...

Ю. Данилин.

И. И. Рубин, Очерки по теории стоимости Маркса. Третье издание, переработанное и дополненное, с приложением статьи «Ответ критикам». Гиз 1928, стр. 371, ц. 2 р. 75 к., переплет 35 к.

Известная книжка И. И. Рубина вышла третьим изданием. Три издания на протяжении пяти лет для труда, посвященного столь отвлеченному и сугубо теоретическому вопросу, — факт, красноречиво свидетельствующий о несомненном успехе книги. В самом деле, книжка Рубина, если судить по внешнему эффекту, — не обыкновенная книга. О первых двух ее изданиях было написано несколько журнальных статей, ряд рецензий, принадлежащих перу наших лучших экономистов. Наконец она вызвала даже ответную книгу, известное исследование С. С. Шабса «Проблемы общественного труда в экономической системе Маркса» (Критика «Очерков etc» И. Рубина). В «Курсе политической экономии» Александра Кона ей посвящено немало страниц.

На чем же основан столь явный и шумный успех автора? В чем секрет того повышенного настроения, какое создалось опубликованием его взглядов и возобновляется при всякой новой их манифестации? Мы не ошибемся, если скажем, что этот «успех» объясняется прежде всего предметом исследования. Тем, что автор «Очерков по теории стоимости Маркса» посягнул на основную сущность марксистского миросозерцания — что он без особой благоговейности затронул в них основную проблему, основной принцип марксизма.

В основании марксистского миросозерцания, — этого грандиозного здания, представляющего собою систему экономических, политических, исторических и философских взглядов, — лежит, как известно, теория стоимости; теория о том, что стоимость создается абстрактным человеческим трудом. Своеобразное истолкование того, что такое представляет собой абстрактный труд, и составляет основное содержание книжки Рубина. Вызванный ею интерес — интерес последователей Маркса к основному стержню своего мировоззрения.

Рубин дает этому коренному принципу, этой базе новое истолкование. Укрепляет ли он ее? Или, наоборот, привносит своими рассуждениями нечто чуждое, сообщает ей своим толкованием иной смысл, иное значение, чем это имел в виду гениальный творец научного социализма? Толкование Рубина, несомненно, отличается от того, какое понятию абстрактного труда дает Маркс и какое вытекало бы из сущности марксизма. Но это не сразу очевидно вследствие несомненной эрудиции автора «Очерков» и вследствие тех — более или менее сознательных — усилий, какие он употребляет для того, чтобы затушевать разницу между концепцией марксизма и своей собственной.

Маркс, как известно, полагает, что «анатомию человеческого общества надо искать в политической экономии». Что это значит? Это значит, что для науки о человеческом обществе политическая экономия имеет то же самое значение, какое для науки о человеческом индивидууме имеет анатомия. Что же такое анатомия? Это та наука, которая вскрывает материальную структуру человеческого организма, на почве которой развиваются происходящие в нем материальные процессы. Дальнейшее развитие этих процессов рождает иные, более сложные жизненные явления, психологию и логику, сознание и волю. Анатомия есть наука о материальной базе того, что человеческая личность представляет собой вообще. Следовательно и политическая экономия, в понимании Маркса, есть наука о материальной базе того, что представляет собою человеческое общество. Следовательно, поскольку стоимость создается абстрактным трудом,— и стоимость и абстрактный труд представляют из собя нечто объективно существующее, человеческим сознанием не создаваемое, а лишь с большей или меньшей ясностью познаваемое.

Абстрактный труд есть объективный факт. Но абстрактный труд никогда не существует вне конкретного труда. «Лишенный качества» труд в процессе работы всегда слит воедино с индивидуальным определенного качества трудом. Индивидуальный же, конкретный, определенного качества труд — есть затрата индивидуальной энергии, — он представляется

поэтому явлением, целиком укладывающимся в цикл индивидуальной личной жизни человека. И в то же самое время этот же конкретный труд, в каждый момент его осуществления, в каждой мельчайшей его доле есть абстрактный труд, есть труд, лишенный индивидуальности, есть то, количеством чего определяется стоимость созданного трудом товара, — что составляет основной элемент общественного хозяйства и является поэтому основным понятием политической экономии, науки об общественном хозяйстве, «анатомии человеческого общества». Явление труда, создающего ценность, целиком укладывается, следовательно, и в цикл жизни общественной.

Одно и то же явление оказывается, таким образом, всецело входящим в жизнь индивидуальную и в жизнь общественную. Что же это значит? Это не может означать ничего иного, как только то, что именно в этом явлении, в этом моменте человеческого труда жизнь индивидуальная и общественная сливаются воедино, что в нем заключается та связь, которая объединяет индивидуальное и общественное вообще. И этот факт ближе, чем что-либо другое, вскрывает все значение, всю глубину марксова учения о «двойственном» характере человеческого труда. В труде сливаются не только абстрактное и конкретное, но и общественное и индивидуальное. Труд — явление, связывающее жизнь общественную и индивидуальную, следовательно, учение о двойственном характере труда есть учение о связи науки об обществе с наукой об индивидууме, наук «гуманитарных» с науками точными, ибо наука об индивидууме, об организме является лишь логически связанной частью точного знания вообще. Человеческий труд — подобно атому, объединяющему две области исследования, физику и химию, — объединяет две основных группы наук, является тем единым объективным фактом внешнего мира, который связывает обществоведение с естествознанием. Никто иной, следовательно, как Маркс — указал путь объединения всего человеческого знания единым монистическим принципом — тем принципом, который как объективный факт всю человеческую историю связывает с историей происхождения и существования мира вообще. Как скромно звучат по сравнению с этой титанической заслугой слова: «Самое лучшее в моей книге — это... двойственный характер труда»... (письмо Маркса к Энгельсу от 24 августа 1867 г.).

Вся система марксизма покоится на учении о двойственном характере явления человеческого труда: объективно единого факта. Основным же положением Рубина, с большой последовательностью развитым им в первых двух изданиях «Очерков», было то, что абстрактный труд не существует в процессе труда, а «создается обменом» («Очерки», изд. 2-е, стр. 103), «рождается только в обмене» («Очерки», изд. 1-е, стр. 81; изд. 2-е, стр. 103), что «без акта обмена и всестороннего приравнивания продуктов самых различных видов труда не существует абстрактного труда» («Очерки», изд. 1-е, стр. 81—82; изд. 2-е, стр. 103. Курсив повсюду мой. *К. В.)* и т. д. и т. п. Рубин исходит, следовательно, из того, что абстрактный труд не является другой стороной, другим аспектом, другою сущностью конкретного труда, вместе с которым он образует объективно единое явление человеческого труда. Для Рубина существует не «единый труд, обладающий двойственным характером», как для Маркса, а два труда, из которых каждый может быть отделен от другого по месту и по времени. Глубоко монистическое миросозерцание Маркса превращается таким образом в дуалистическое. Конкретный и абстрактный труд попадают каждый в обособленный причинный ряд, в самостоятельный цикл причин и следствий. Исчезает не только единство объективного явления человеческого труда, но исчезает также и всякая причинная связь между абстрактным и конкретным трудом, которые, по Рубину, так же мало сливаются один с другим, как масло и вода. В этой концепции самым грубым и непозволительным образом нарушен один из основных принципов марксова учения, его глубокий философский и научный монизм. Она отказывает, кроме того, Марксу в признании одной из величайших научных заслуг его: в открытии связующего звена между обществоведением и точным знанием.

В ряде статей, книг и рецензий неправильность устанавливаемого Рубиным для объяснения понятия «абстрактный труд» примата обмена была в общем выявлена. Как же отнесся к этому Рубин? Отказался ли он от своей концепции или, напротив того, поддерживает ее?

В рецензируемом 3-м издании «Очерков» Рубин пишет: «Абстрактный труд — это труд, который только в качестве обезличенного и однородного становится общественным трудом. Понятие абстрактного труда предполагает, что процесс обезличения или уравнения труда есть единственный процесс, благодаря которому труд «обобществляется» (курсив автора. *К. В.)*, т. е. включается в совокупную массу общественного труда» (стр. 158). Но процесс «обезличения или уравнения труда», по Рубину, есть процесс обмена. Таким образом здесь говорится то же самое, что и в только что приведенных цитатах из 1-го и 2-го изданий «Очерков», но в замаскированной форме. Дальше Рубин делает будто бы некоторую уступку, но — увы! — лишь по форме, отнюдь не по содержанию. Он пишет: «Это уравнение труда может происходить (но лишь мысленно и предварительно) еще в процессе непосредственного производства, но лишь через посредство (курсив мой. *К. В.)* процесса обмена, т. е. не иначе как посредством приравнения (хотя бы мысленного и предварительного) продукта данного труда известной сумме денег. Поскольку это приравнение лишь предвосхитило обмен, оно подлежит еще осуществлению или реализации в действительном процессе обмена. Та же стр. (Курсив мой. *К. В.)* Значит абстрактный труд в процессе труда присутствует лишь «мысленно и предварительно», — «осуществляется» или «реализуется» он лишь в «действительном процессе обмена». Другими словами, в процессе труда, как объективном явлении, объективного явления абстрактного труда, по Рубину, нет. «Труд отдельных лиц не является непосредственно общественным. Он становится общественным лишь благодаря тому, что уравнивается с любым другим трудом, а это уравнение труда происходит посредством обмена, в котором совершается абстрагирование (отвлечение) от конкретных потребительных стоимостей и конкретного вида труда» (стр. 77).

Концепция остается, следовательно, прежней, если на формулировках 3-го издания и отразились явно те нападки на «толкование» Рубиным Маркса, предметом которых были первые два. Еще явственнее верность Рубина своим взглядам сказывается в той части 3-го издания его книги, которая победоносно названа «Ответ критикам» и представляет собой критику взглядов И. Дашковского, С. С. Шабса и А. Кона. Здесь на каждом шагу попадаются мысли и выражения, изобличающие признание Рубиным в объяснении абстрактного труда примата обмена. И странное, отчуждающее впечатление производит после всего этого развязное заявление автора «Очерков» в «предисловии к третьему изданию», что им «устранены формулировки, которые давали нашим критикам повод приписывать нам мысли, ни в малейшей мере (! *К. В.)* нами не разделявшиеся, например о примате обмена над производством, о перенесении абстрактного труда в фазу обмена и т. п.» (! Курсив мой. *К. В.)*. Нет, Рубин не устанавливает примата обмена. Он только утверждает, что абстрактный труд создается в процессе обмена, что «трудовая деятельность производителей в фазе производства является непосредственно частным и конкретным трудом» («Очерки», изд. 3-е, стр. 167), что «производство именно посредством обмена приобретает общественный (курсив автора. *К. В.)* характер» (там же, стр. 322), и т. д. и т. п.

Таким образом Рубин изменяет прежде всего одному основному принципу марксизма — его научному и философскому монизму, являясь ярко выраженным типом дуалиста. Не менее полно отказывается он и от другой основной предпосылки марксизма: от материализма.

В самом деле, по Рубину, в фазе непосредственного производства труд конкретно, реально является частным конкретным

трудом. То, что есть в нем общественного, абстрактного, выражается лишь в том, что он «заранее произведен для обмена и идеально приравнен известной сумме денег». «Товаропроизводители в своих трудовых актах уже в процессе непосредственного производства принимают во внимание состояние рынка и спроса и заранее производят исключительно для того, чтобы превратить свой продукт в деньги, а тем самым свой частный и конкретный труд в общественный и абстрактный труд (курсив мой. *К. В.)*. Но это включение труда отдельного индивида в трудовой механизм всего общества (т. е. превращение индивидуального труда в общественный, конкретного в абстрактный. *К. В.)* является лишь предварительным и гадательным: оно подлежит еще суровой проверке в процессе обмена, — проверке, которая для данного товаропроизводителя может дать положительный или отрицательный результат. Таким образом трудовая деятельность товаропроизводителей в фазе производства является непосредственно частным и конкретным трудом и лишь посредственно, косвенно или скрыто... является трудом общественным» («Очерки», изд. 3-е, стр. 67). В последней строке этой цитаты многоточием я заменил следующие слова: «(Latent), как выражается Маркс». Сделал я это потому, что слово «latent» Маркс употребляет, — но употребляет в совершенно ином смысле, чем это делает Рубин. Для Маркса абстрактный (следовательно, общественный) труд существует в процессе труда и лишь проявляется в процессе обмена. Для Рубина же, как это совершенно ясно вытекает из приведенных цитат, абстрактный труд создается в процессе обмена, а в процессе производства присутствует лишь как бросаемая наперед тень, как намерение, расчет, мысль, идея. И лишь в том случае, если «суровая проверка в процессе обмена» даст для данного товаропроизводителя случайно «положительный результат», эта идея абстрактного труда превратится в действительный абстрактный труд. Можно ли быть красноречивее? По Рубину, в явлении человеческого труда существуют, следовательно, конкретный труд и лишь идея абстрактного труда, которая только в процессе обмена превращается в настоящий абстрактный труд. Не веет ли отсюда чем-то давно оставленным, забытым? Не является ли идеализмом чистейшей воды превращение идеи, формы сознания — в действительность, в форму бытия?

Нас ни в коей мере не должно удивлять то, что Рубин обнаруживает в конце концов как решительный — если и не откровенный — последователь идеалистического мировоззерцания. Ибо отрыв явления абстрактного труда от явления труда конкретного, отрицание единства объективного явления человеческого труда, имеющего двойственный характер, разрыв между областью материального и общественного — по существу является уже признанием существования общественного вне материального или существования идеального. Кто отказывается от материализма в объяснении чего бы то ни было, тот тем самым попадает на наклонную плоскость, неизбежно приводящую к идеализму. Ибо мир, существующий вне материального, есть по существу мир идеальный. Отказ от материалистического объяснения явления и понятия абстрактного труда привел Рубина в лоно идеализма.

Нужно ли говорить о том, как глубоко материалистична в противоположность этому вся система Маркса? Всем известны те классические формулировки, в которых Маркс определяет основную материалистическую сущность своих взглядов. Они резко противоположны взглядам Рубина.

Основными ошибками автора «Очерков по теории ценности Маркса» являются, таким образом, дуализм и идеализм его положений. Не материалистом и не монистом представляется в них Рубин, а «дуалистическим идеалистом» или «идеалистическим дуалистом». Само собою разумеется, что между этим миросозерцанием и марксизмом по существу нет ничего общего. Из основных промахов вытекают и другие, более мелкие. Так, вследствие основной принципиальной ошибки, бесплодными оказываются несомненно обширные познания автора.

К. Вейдемюллер.

Список книг, полученных редакцией на отзыв с 1 по 28 февраля 1929 года.

ГОСИЗДАТ.

Лебедев Д. А., Домик на Секмаре, роман из жизни Башкирии, стр. 246, ц. 1 р. 75 к. 1929.

Его же, Мамбет и Кыдырбай, повесть, стр. 177, ц. 1 р. 25 к., 1929.

Толстой Алексей, Хождение по мукам, Собр. соч., т. XII, стр. 459, ц. 3 р. 75 к., пер. 30 к., 1929.

Его же, Гадюка, Собр. соч., т. XI, стр. 319, ц. 2 р. 40 к., пер. 25 к., 1929.

Его же, Детство Никиты, Собр. соч., т. V, стр. 171, ц. 1 р. 30 к., пер. 25 к., 1929.

Серафимович А. С., Революция, фронт и тыл, Полн. собр. соч. с критикобиблиографическим очерком Зонина А., стр. 293, ц. 1 р. 25 к., 1929.

Его же, Железный поток, роман, стр. 189, ц. 30 к., 1929.

Флойд-Дели, Холостой отец, роман, перевод с английского Барбашевой, В. А., стр. 275, ц. 1 р. 40 к.

Рейзин А., ред., Рассказы и новеллы, перевод с еврейского Готлиб О., стр. 178, ц. 60 к., 1929.

Ширван-Задэ Д. А., Злой дух, повесть, перевод с армянского Терьяна В., стр. 95, ц. 60 к., 1929.

Ефремин А., Громовая поэзия. О творчестве Демьяна Бедного, стр. 244, ц. 2 р.

Гуща Тарас, (Колос Якуб), В глуши Полесья, роман, перевод с белорусского Яковичика К., стр. 210, ц. 1 р. 50 к.

Винниченко В., Талисман, перевод с украинского под редакцией Приходченко Е., стр. 289, ц. 2 р., М. 1929.

Его же, Борьба, перевод с украинского, ред. Приходченко Е., стр. 260, ц. 1 р. 90 к.

Маяковский В., Собр. соч., т. III, Мистерия Буфф, стр. 447, ц. 4 р., пер. 25 к., 1929.

Коробов Яков, На острие ножа (Воспоминания), т. II, стр. 255, ц. 2 р. 50 к. 1928.

Лидин Вл., Обычай ветра, рассказы 1926—28 гг., Собр. соч., том V, стр. 203, ц. 2 р., папка 20 к., 1929.

Грюнберг Карл, Пылающий Рур, роман из времен мятежа Каппа, перевод с немецкого Мининой В., стр. 279, ц. 1 р. 50 к., папка 15 к., 1929.

Коцюбинский Михаил. Избранные произведения, том II, перевод с украинского под редакцией Конгра Ф., стр. 460, ц. 2 р. 50 к., 1929.

Фадеев А., Разгром, роман, стр. 192, ц. 30 к., 1929.

Руднев В. В., Горький-революционер, стр. 125, ц. 75 к., 1929.

Франко Иван, Захар Беркут, перевод с украинского Дуткевича В. Ф., стр. 196, ц. 1 р. 20 к., 1929.

Его же, Борислав смеется, повесть, перевод с украинского Дуткевича В., под редакцией Приходченко Е. С., стр. 287, ц. 1 р. 60 к., 1929.

Гартный Ц., Повести и рассказы, перевод с белорусского Раковской В. Д., со вступительной статьей Городецкого С., стр. 213, ц. 1 р. 50 к., 1929.

Тверской Никита, Караси в сметане, комедия в пяти действиях (клубная сцена), стр. 80, ц. 60 к., 1929.

Фурманов Дм., Чапаев, повесть, стр. 287, ц. 50 к., 1929.

Барбюс Анри, Собр. соч., т. III, Правдивые повести, перевод с французского Парнок С. А., стр. 195, ц. 1 р. 50 к., 1929.

Брюсов Валерий, Мой Пушкин (статьи, исследования, наблюдения), редакция Пиксанова Н. К., стр. 317, ц. 3 р., 1929.

Бедный Демьян, Полн. собр. соч., т. XII, редакция, примеч. и заключительная статья, Ефремина А., стр. 351, ц. 1 р. 75 к., 1929.

Его же, Эпиграммы, шутки, экспромты, редакция и примеч. Ефремина А., стр. 82, ц. 25 к., 1929.

Его же, Утерянный и возвращенный женский рай, стр. 80, ц. 25 к. 1929.

Киреев Д., Грибоедов А. С. (Жизнь и литературная деятельность), стр. 106, ц. 35 к., 1929.

«ПРИБОЙ».

Житков Борис, Виктор Вавич, книга первая, стр. 352, ц. 3 р. 20 к., папка 15 к., 1928.

Такисеки Сейдзи, Гейша Эйко, роман, перевод с японского Лейферта А. А., стр. 219, ц. 1 р. 20 к., 1929.

Сохачевер Ганс, Будни, роман, перевод с немецкого Бернштейна П. и Ивича И. А., стр. 239, ц. 1 р. 20 к., 1929.

Толстой Лев и Стасов В. В., Переписка 1878—1906 гг., редакция и примечания Комаровой В. Д. и Модзалевского Б. Л. (Труды Пушкинского дома Академии наук СССР), стр. 429, ц. 3 р. 30 к., 1929.

Грин А., Джесси и Моргана, роман, стр. 269, ц. 2 р. 1929.

Асеев Н., Дневник поэта, стр. 226, ц. 1 р. 80 к., пер. 45 к., обложка работы Ушина А.

Каверин В., Скандалист или Вечера на Васильевском острове, роман, стр. 297, ц. 2 р. 25 к., 1929.

Четвериков Дм., Солнечные рассказы, стр. 295, ц. 2 р. 25 к., 1929.

Исаков С., 1905 год в сатире и карикатуре, стр. 278, ц. 20 р. 50 к., пер. 75 к., 1929.

Ванек Карл, Приключения бравого солдата Швейка, часть VI, перевод Зуккау, стр. 221, ц. 1 р. 25 к., 1929.

Моруа Андрэ, Путешествие в страну эстетов, перевод Полоцкой А. С., под редакцией Сверчкова Дм., стр. 64, ц. 30 к., 1929.

Альманах латышский, литературно-художественный, «Триумф», стр. 126, ц. 60 к.

Балухатый С., Теория литературы, аннотированная библиография, стр. 248, ц. 2 р. 75 к., 1929.

Грабарь Леонид, Семейная хроника, книга первая, стр. 260, ц. 1 р. 90 к., 1929.

Тынянов Ю., Архаисты и новаторы, сборник статей, стр. 595, ц. 6 р., 1929.

Вассерман Якоб, Дело Маурициуса, роман, перевод с немецкого Бернштейна П. и Ивича А., предисловие Горнфельда А. Г., стр. 436, ц. не обозначена, 1929.

Молчанов Ал., Пылающая земля, роман, стр. 260, ц. 1 р. 90 к., 1929.

Радлов Сергей, 10 лет в театре, стр. 325, ц. 2 р. 20 к., 1929.

Казаков Михаил, Избранные сочинения, том II, Человек, падающий ниц, рассказы, стр. 336, ц. 2 р. 25 к., пер. 27 к., 1929.

Смирнова Нина, Марфа, роман, стр. 191, ц. 1 р., 1929.

ЗИФ.

Верн Жюль, Пятнадцатилетний капитан, роман, Собр. соч., т. III, стр. 395, ц. 2 р. 40 к.,

Его же, Путешествие к центру земли, роман, Плавающий город, роман, Собр. соч., серия I, том IX, стр. 259, ц. 1 р.75 к., 1929.

Борисов Николай, Укразия, кинороман, стр. 190, ц. 1 р. 25 к., 1929.

Нечаев Егор, Гута, Полн. собр. соч. в одном томе под ред. Ляшко Н., Обрадовича С. и Лукашевича Е. с критико-библ. очерком Кубикова И. и портретом автора, стр. 501, ц. 3 р. 75 к., 1929.

Демидов Алексей, Вихрь, роман, Изд. III, стр. 472, ц. 2 р., 1929.

Подьячев, С. Шпитаты, Полн. собр. соч., т. V, под редакцией Касаткина В., с предисловием Горького М., с критико-библ. очерком Кубикова И., стр. 276, ц. 1 р. 50 к., 1929.

Тан В. Г., Собр. соч., том II, Охотничьи рассказы, стр. 315, ц. 2 р. 25 к., 1928.

Борисов Николай, Четверги мистера Дройда, кинороман, стр. 277, ц. 1 р. 88, к. 1929.

Кольцов Михаил, Собр. соч., том III. Поразительные встречи, с предисловием Бухарина Н. И., литературно-критическим очерком Луганского Мих. и

портретом автора, стр. 441, ц. 3 р. 50 к., 1929.

Фадеев А., Разгром, стр. 187, ц. 70 к., 1928.

Аш Шолом, Мать, роман, Собр. соч., т. VII, перевод с еврейского Слонима Я., редакция и примечания Гликмана Д., стр. 295, ц. 2 р., 1929.

Слонимский Мих., Западники, с критико-библ. очерком Штеймана Зел., стр. 143, ц. 1 р. 30 к., 1929.

Ликок Стифен, Сумасшедшие выдумки, перевод с английского Займовского, с предисловием Стерчикова А., стр. 230, ц. 1 р. 60 к., 1929.

Яровой П., Инженер Далматов, роман, стр. 326, ц. 2 р. 50 к., 1929.

Борецкая Мария, Пир народный, роман, предисловие Крупской Н., стр. 371, ц. 1 р. 75 к., 1929.

Свирский А. И., Вечные странники, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 354, ц. 2 р. 50 к., 1929.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

Макаров А., Путь секундной стрелки, рассказ, стр. 178, ц. 1 р. 50 к., папка 10 к.

Замятин Евгений, На куличках, Собр. соч., т. II, повести и рассказы, стр. 284, ц. 1 р. 70 к., пер. 30 к., 1929.

Замойский П., Канитель, повести и рассказы, стр. 203, ц. 1 р. 60 к., папка 15 к., 1929.

Шкловский Виктор, Сентиментальное путешествие, стр. 333, ц. 2 р. 50 к., пер. 25 к., 1929.

Штрайх С. Я., Роман Медокс, похождения русского авантюриста XIX века, стр. 341, ц. 2 р. 75 к., пер. 25 к., 1929.

Чешихин-Ветринский В., Глеб Иванович Успенский, биографический очерк, редакция и вводная статья Сакулина П. Н., стр. 380, ц. 3 р. 75 к., пер. 25 к., 1929.

Бродский Н. Л., Львов-Рогачевский В., Сидоров Н. П., Литературные манифесты, сборник материалов, стр. 298, ц. 1 р. 75 к., пер. 25 к., 1929.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

Синегуб С., Записки чайковца, предисловие Гладнева И., стр. 341, ц. 1 р. 90 к.

Мацкевич С., Днепрострой, предисловие и редакция Горева А. А., стр. 94, ц. 80 к.

Колодная А. И., Интересы рабочего подростка, стр. 104, ц. 90 к.

Теумин, Конгресс Кима в комсомольских кружках. (Библиотека конгресса Ким), стр. 168, ц. 60 к.

Лесаж, История Жиль Блаза де Сентильяна, обработка и предисловие Дермана А., стр. 319, ц. 2 р. 75 к.

«НЕДРА».

Романов Пантелеймон, Заколдованные деревни, рассказы, Собр. соч., т. IV, стр. 207, ц. 1 р. 50 к.

Его же, Хорошие места, Собр. соч., т. III, стр. 179, ц. 1 р. 40 к., пер. 70 к.

Его же, Дружный народ, Собр. соч., т. II, стр. 216, ц. 1 р. 60 к., пер. 70 к.

Вересаев В., Два конца, Полное собр. соч., том III, рассказы, стр. 227, ц. 1 р. 90 к., пер. 70 к.

Его же, Живая жизнь, полн. собр. соч., т. VII, стр. 204, ц. 1 р. 80 к., пер. 70 к.

Бибик А., На черной полосе, роман, полн. собр. соч., т. II, стр. 247, ц. 2 р., папка 25 к.

Недра, Литературно-художественный сборник, книга 15-я, стр. 244, ц. 2 р. 50 к., 1929.

«МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ».

Леонов Николай, Голубые потемки, рассказы, стр. 131, ц. 1 р. 30 к., 1929.

Гольдберг Ис., Тысяча и одна ночь, сказки, стр. 266, ц. 1 р. 90 к., 1929.

Сивачев, М., На переломе, Собр. соч., т. III, стр. 270, ц. 2 р. 25 к., 1929.

Демидов А., Жизнь Ивана, повесть, стр. 282, ц. 2 р. 50 к., 1929.

Большаков Конст., Сгоночь, Собр. соч. т. II, роман, стр. 302, ц. 2 р. 40 к. 1929.

Перегудов Александр, Человечья весна, рассказы, стр. 167, ц. 1 р. 60 к. 1929.

Перегудов А., Темная грива, повести и рассказы, стр. 179, ц. 1 р. 60 к., 1929.

Каманин Ф., Свадьба моей жизни, роман, стр. 152, ц. 1 р. 50 к., 1929.

Белоусов Иван, Литературная Москва, воспоминания 1880—1929 гг., стр. 146, ц. 1 р. 50 к., 1929.

Никандров Н., Весельчаки, рассказы, стр. 229, ц. 1 р. 90 к., 1929.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

Ясинский Бруно, Я жгу Париж, роман, предисловие Ордона Т., стр. 349, ц. 1 р. 85 к., 1929.

Лоуренс Т., Восстание в пустыне, сокращенный перевод с английского Черняка Я., под редакцией и с предисловием Ирандуста, стр. 382, ц. 2 р. 50 к., 1929.

Таэн, Корабль смерти, роман, перевод с немецкого Грейнер Гекк, стр. 326, ц. 1 р. 60 к., 1929.

Коган П. С., А. С. Грибоедов (критический очерк), стр. 103, ц. 55 к., 1929.

«КРАСНАЯ ГАЗЕТА».

Синклер Уптон, Юг и север, роман из эпохи Сев.-америк. гражданской войны, часть I, стр. 162, приложение.

Давыдов (редакция). Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников, стр. 351, ц. 1 р. 50 к.

Кравчинский-Степняк, Андрей Кожухов, роман, т. I, стр. 318, приложение.

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ».

Литературная энциклопедия, том I, стр. 768, 1929.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. | Издатель: Государственное издательство.
Вс. Иванов.
С. Канатчиков.
Ф. Раскольников.
В. Фриче.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.



ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР.

Винниченко, В. Борьба. Перев. с украинского, под ред. Е. Приходченко. Стр. 261. Ц. 1 р. 90 к.

Винниченко, В. Талисман. Перев. с украинского, под ред. Е. Приходченко. Стр. 289. Ц. 2 р.

Коцюбинский, М. Сочинения. Перев. с украинского, под ред. Ф. Конара.
Том. I. Стр. 454. Ц. 2 р. 50 к.
Том. II. Стр. 461. Ц. 2 р. 50 к.

Нечуй-Левицкий, И. Бурлачка. Пер. с украинского П. Опанасенко. Стр. 191. Ц. 1 р. 40 к.

Франко, Ив. Борислав смеется. Повесть. Перев. с украинск. В. Ф. Дудкевича, под ред. Е. Приходченко. Стр. 287. Ц. 1 р. 60 к.

Франко, Ив. Захар Беркут. Картина общественной жизни Карпатской Руси XIII века. Перев. с украинск. В. Ф. Дудкевича. Стр. 196. Ц. 1 р. 20 к.

Гуща, Тарас (Якуб Колас). В глуши Полесья. Перев. с белорусского К. Яковчика. Стр. 211. Ц. 1 р. 50 к.

Цишка Гартный. Щепки на волнах. Рассказы. Перев. с белорусского К. Пушкаревича. Стр. 212. Ц. 1 р. 50 к.

Цишка Гартный. Повести и рассказы. Перев. с белорусского. Стр. 213. Ц. 1 р. 50 к.

Амур-Санан, А. М. Мудрешкин сын. С предисл. Ф. Ф. Раскольникова и И. С. Архинчеева. Изд. 3-е. Стр. 240. Ц. 1 р. 20 к.

Лебедев, Д. А. Домик на Сакмаре. Роман из жизни Башкирии. Стр. 248. Ц. 1 р. 75 к.

Лебедев, Д. А. Мамбет и Кыдырбай. Повесть. Стр. 178. Ц. 1 р. 25 к.

Айкуни, Г. Красный дьявол. Поэмы. Перевод с армянского, предисловие и ред. Г. Якубовского. Стр. 136. Ц. 1 р. 50 к.

Акопян, А. Новое утро. Избранные стихотворения и поэмы. С предисловием А. Луначарского. Вводная статья Гейка Адонца. Стр. 268, 1 портрет. Ц. в пер. 3 р. 22 к.

Ширванзаде, А. М. Злой дух. Перев. с армянского В. Терьян. Повесть. Стр. 95. Ц. 60 к.

Бакунц, Аксель. Горное ущелье. (Печат.)

Джавахишвили, М. Хизаны Джако. Роман. Перев. с грузинского П. Д. Егорашвили. Стр. 173. Ц. 1 р. 25 к.

Джавахишвили, М. Ламбало и Коша. Рассказы. Авторизован. перев. с грузинского К. Чернявского и А. Кулебякина. Стр. 173. Ц. 1 р. 35 к., в пер. 1 р. 50 к.

Сулиашвили, Д. Нагвордали (Горящий уголь). Перев. Госвиани. Предисл. Кавтарадзе. (Печат.)

Глазман, Б. На волоске. Перев. с еврейского М. Киссина. (Печат.)

Годинер, Ш. Человек с винтовкой. Роман. Кн. первая. **Бурный накал.** Авториз. перев. с еврейского. Брук. С предисл. Я. Бронштейна. Стр. 168. Ц. 1 р. 10 к.

Персов, С. Ржаной хлеб. Рассказы. Перев. с еврейского Л. С. Ляховицкой-Рипс. Стр. 178. Ц. 1 р. 30 к.

Рейзин, А. Рассказы и новеллы. Перев. с еврейского О. Готлиба. Стр. 180. Ц. 1 р. 25 к.

СОВЕТСКАЯ СТРАНА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ СССР.

Под общей редакцией М. ГОРЬКОГО.

Подписная цена: на 4 номера в год—4 р. 50 к. Цена номера—1 р. 50 к.

1 р. 75 к.

ГОСИЗДАТ РСФСР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: В. ВАСИЛЬЕВСКОГО, В. ИВАНОВА, С. КАНАТЧИКОВА, Ф. РАСКОЛЬНИКОВА и В. ФРИЧЕ.

КРАСНАЯ НОВЬ

В первых книжках журнала „Красная новь" за 1929 г. печатаются:

Вс. Иванов. Новый роман „Кремль" и „Повесть о неизвестном солдате".
Федор Гладков. Отрывки из нового романа „Энергия".
К. Федин. Рассказ „Старик" и др.

В 1929 г. в журнале „Красная новь" кроме того будут напечатаны.

М. Горький. Отрывки из 3-й части трилогии „Сорок лет" („Жизнь Клима Самгина").
Б. Пильняк. Повесть „Пименовский переулок".
Юрий Олеша. Повесть „Нищие".
В. Катаев. Повесть „Судьба героя".

В 1929 г. в журнале „КРАСНАЯ НОВЬ" предполагаются к напечатанию **новые произведения.**

Глеба Алексеева. ★ А. Аросева. ★ Вл. Бахметьева. ★ Андрея Белого. ★ С. Буданцева. ★ Ивана Вольнова. ★ Ф. Гладкова. ★ В. Дмитриева. ★ С. Заяицкого. ★ Вс. Иванова. ★ В. Каверина. ★ А. Караваевой. ★ В. Катаева. ★ С. Клычкова. ★ М. Кольцова. ★ Б. Лавренева. ★ Леонида Леонова. ★ Ю. Либединского. ★ Вл. Лидина. ★ Н. Ляшко. ★ Х. М. Мугуева. ★ С. Малашкина. ★ Н. Никитина. ★ Г. Никифорова. ★ Л. Никулина. ★ А. Новикова-Прибоя. ★ Ив. Новикова. ★ Ю. Олеши. ★ П. Павленко. ★ Б. Пильняка. ★ А. Платонова. ★ П. Романова. ★ С. Семенова. ★ А. Серафимовича. ★ С. Сергеева-Ценского. ★ М. Слонимского. ★ А. Толстого. ★ Ю. Тынянова. ★ А. Фадеева. ★ К. Федина. ★ А. Яковлева и др.

Поэмы и стихи: Н. Антокольского. ★ Н. Асеева. ★ Э. Багрицкого. ★ А. Безыменского. ★ С. Городецкого. ★ А. Жарова. ★ В. Инбер. ★ В. Ильиной. ★ В. Казина. ★ В. Кириллова. ★ С. Кирсанова. ★ С. Обрадовича. ★ П. Орешина. ★ Б. Пастернака. ★ П. Радимова. ★ Вс. Рождественского. ★ И. Садофьева. ★ Г. Санникова. ★ В. Саянова. ★ М. Светлова. ★ И. Сельвинского. ★ М. Тарловского. ★ Н. Тихонова. ★ Н. Ушакова и др.

В научно-публицистическом и литературно-критическом отделах журнала принимают участие:

И. Анисимов. ★ Д. Аранович. ★ Беспалов. ★ И. Бороздин. ★ А. Бубнов. ★ Н. Бухарин. ★ Вл. Васильевский. ★ Б. Волин. ★ С. Гусев. ★ А. Дивильковский. ★ Ив. Ежов. ★ А. Енукидзе. ★ С. Ингулов. ★ М. Калинин. ★ С. Канатчиков. ★ П. Керженцев. ★ Феликс Кон. ★ Н. Крупская. ★ И. Кубиков. ★ П. Лебедев-Полянский. ★ А. Лозовский. ★ А. Луначарский. ★ Д. Мануильский. ★ И. Маца. ★ В. Молотов. ★ Н. Осинский. ★ Г. Поспелов. ★ Ф. Раскольников. ★ С. Розенталь. ★ Ф. Ротштейн. ★ Д. Рязанов. ★ М. Савельев. ★ А. Свидерский. ★ И. Сталин. ★ Ю. Стеклов. ★ А. Стецкий. ★ Д. Тальников. ★ В. Фриче. ★ А. Халатов. ★ Г. Чичерин. ★ Г. Якубовский. ★ Ем. Ярославский и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—16 р., на 6 мес.—9 р., на 3 м.—4 р. 50 к.
Отдельный номер—1 р. 75 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ: Москва, центр, Ильинка, 3, Периодсектор Госиздата, тел. 4-87-19; Ленинград, пр. 25 Октября, 28, Ленотгиз, тел. 5-48-05; в отделения, магазины и киоски Госиздата, уполномоченным, снабженным специальными удостоверениями, во все киоски Всесоюзного контрагентства печати, во все почтово-телеграфные конторы, а также письмоносцам.